



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
АНТ. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

Съ двумя портретами — при I и XVII томахъ.

ТОМЪ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНИЕ:

Невѣста. — Кто виноватъ. — Новогодніе великомученики. — Бесѣда пьянаго съ трезвымъ чертомъ. — Мой разговоръ съ почтмейстеромъ. — Грачъ. — Предложеніе. — Нить. — О брѣности. — Встрѣча. — Раго! — Казакъ. — Удавъ и кроликъ. — Критикъ. — Обыватели. — Одинъ изъ многихъ. — Неприятная исторія. — Докторъ. — Передъ затмѣніемъ. — Добрый вѣмецъ. — Злоумышленники. — У знакомыхъ. — Новогодняя пытка. — Весной. — Разстройство компенсаціи. — Наброски: 1) У Зеленныхъ 2) Катѣвка. 3) Волкъ (Водобоязнь). — По Сибири. — Вишневый садъ. — Лѣшій.

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
60-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.


<http://rcin.org.pl>



Артистическое заведение Т-ва А. Ф. Марксъ, Измайл. просп., № 29.



24. 113/21



ПОВѢСТИ
И
РАЗСКАЗЫ.

INTRODUCTION

PREFACE

НЕВѢСТА.

I.

Было уже часовъ десять вечера, и надъ садомъ свѣтила полная луна. Въ домѣ Шуминыхъ только-что кончилась всеночная, которую заказывала бабушка Мароа Михайловна, и теперь Иадѣ—она вышла въ садъ на минутку—видно было, какъ въ залѣ накрывали на столъ для закуски, какъ въ своемъ пышномъ шелковомъ платьѣ суетилась бабушка; отецъ Андрей, соборный протоіерей, говорилъ о чемъ-то съ матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернемъ освѣщеніи сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возлѣ стоялъ сынъ отца Андрея, Андрей Андреичъ, и внимательно слушалъ.

Въ саду было тихо, прохладно, и темныя, покойныя тѣни лежали на землѣ. Слышно было, какъ гдѣ-то далеко, очень далеко, должно-быть, за городомъ кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотѣлось думать, что не здѣсь, а гдѣ-то подъ небомъ, надъ деревьями, далеко за городомъ, въ поляхъ и лѣсахъ развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманію слабого, грѣшнаго человѣка. И хотѣлось почему-то плакать.

Ей, Надѣ, было уже 23 года; съ 16 лѣтъ она страстно мечтала о замужествѣ, и теперь наконецъ она была невѣстой Андрея Андреича, того самаго, который стоялъ за окномъ; онъ ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое іюля, а между тѣмъ радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало... Изъ подвального этажа, гдѣ была кухня, въ открытое окно слышно было, какъ тамъ спѣшили, какъ стучали ножами, какъ

хлопали дверью на блокѣ; пахло жареной индѣйкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что такъ теперь будетъ всю жизнь, безъ перемѣны, безъ конца!

Вотъ кто-то вышелъ изъ дома и остановился на крыльцѣ; это Александръ Тимоѣичъ, или, попросту, Саша, гость, пріѣхавшій изъ Москвы дней десять назадъ. Когда-то давно къ бабушкѣ хаживала за подаяньемъ ея дальняя родственница, Марья Петровна, обѣднѣвшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нея былъ сынь Саша. Почему-то про него говорили, что онъ прекрасный художникъ, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасенія души, отправила его въ Москву, въ Комиссаровское училище; года черезъ два перешелъ онъ въ училище живописи, пробылъ здѣсь чуть ли не пятнадцать лѣтъ и кончилъ по архитектурному отдѣленію, съ грѣхомъ пополамъ, но архитектурой все-таки не занимался, а служилъ въ одной изъ московскихъ литографій. Почти каждое лѣто пріѣзжалъ онъ, обыкновенно очень больной, къ бабушкѣ, чтобы отдохнуть и поправиться.

На немъ былъ теперь застегнутый сюртукъ и поношенные парусиновые брюки, стоптанныя внизу. И сорочка была неглаженная, и весь онъ имѣлъ какой-то несвѣжій видъ. Очень худой, съ большими глазами, съ длинными, худыми пальцами, бородачатый, темный и все-таки красивый. Къ Шуминымъ онъ привыкъ, какъ къ роднымъ, и у нихъ чувствовалъ себя какъ дома. И комната, въ которой онъ жилъ здѣсь, называлась уже давно Сашиной комнатой.

Стоя на крыльцѣ, онъ увидѣлъ Надю и пошелъ къ ней.

— Хорошо у васъ здѣсь, — сказалъ онъ.

— Конечно, хорошо. Вамъ бы здѣсь до осени пожить.

— Да, должно, такъ придется. Пожалуй, до сентября у васъ тутъ проживу.

Онъ засмѣялся безъ причины и сѣлъ рядомъ.

— А я вотъ сижу и смотрю отсюда на маму, — сказала Надя. — Она кажется отсюда такой молодой! У моей мамы, конечно, есть слабости, — добавила она, помолчавъ: — но все же она необыкновенная женщина.

— Да, хорошая... — согласился Саша. — Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но... какъ вамъ сказать? Сегодня утромъ рано зашелъ я къ вамъ на кухню, а тамъ четыре прислуги спятъ прямо на полу, кроватей нѣтъ, вмѣсто постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было

двадцать лѣтъ назадъ, никакой перемѣны. Ну, бабушка, Богъ съ ней, па то она и бабушка; а вѣдь мама, небось, по-французски говорить, въ спектакляхъ участвуетъ. Можно бы, кажется, понимать.

Когда Саша говорилъ, то вытягивалъ передъ слушателемъ два длинныхъ, тощихъ пальца.

— Мнѣ все здѣсь какъ-то дико съ непривычки,—продолжалъ онъ. — Чортъ знаетъ, нието ничего не дѣлаетъ. Мамаша цѣлый день только гуляетъ, какъ герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не дѣлаетъ, вы — тоже. И женихъ, Андрей Андреичъ, тоже ничего не дѣлаетъ.

Надя слышала это и въ прошломъ году и, кажется, въ позапрошломъ, и знала, что Саша иначе разсуждать не можетъ, и это прежде смѣшило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.

— Все это старо и давно надоѣло, — сказала она и встала. — Вы бы придумали что-нибудь поновѣе.

Онъ засмѣялся и тоже всталъ, и оба пошли къ дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядомъ съ нимъ очень здоровой и нарядной; она чувствовала это, и ей было жаль его и почему-то неловко.

— И говорите вы много лишняго, — сказала она. — Вотъ вы только-что говорили про моего Андрея, по вѣдь вы его не знаете.

— Моего Андрея... Богъ съ нимъ, съ вашимъ Андреемъ! Мнѣ вотъ молодости вашей жалко.

Когда вошли въ залу, тамъ уже сидѣлись ужинать. Бабушка, или, какъ ее называли въ домѣ, бабуля, очень полная, некрасивая, съ густыми бровями и съ усиками, говорила громко, и уже по ея голосу и манерѣ говорить было замѣтно, что она здѣсь старшая въ домѣ. Ей принадлежали торговые ряды на ярмаркѣ и старинный домъ съ колоннами и садомъ, но она каждое утро молилась, чтобы Богъ спасъ ее отъ разоренія, и при этомъ плакала. И ея невѣстка, мать Нади, Нина Ивановна, бѣлокурая, сильно затянутая, въ ринсе-нез и съ брильянтами на каждомъ пальцѣ; и отецъ Андрей, старикъ, худощавый, беззубый и съ такимъ выраженіемъ, будто собирался разсказать что-то очень смѣшное; и его сынъ Андрей Андреичъ, женихъ Нади, полный и красивый, съ вьющимися волосами, похожій на артиста или художника, — всѣ трое говорили о гипнотизмѣ.

— Ты у меня въ недѣлю поправишься, — сказала бабуля, обращаясь къ Сашѣ: — только вотъ кушай побольше. И на что ты похожъ! — вздохнула она. — Страшный ты сталъ! Вотъ ужъ подлинно, какъ есть, блудный сынъ.

— Отеческаго дара расточивъ богатство, — проговорилъ отецъ Андрей медленно, со смѣющимися глазами: — съ безмысленными скоты пасохся окаянный...

— Люблю я своего батьку, — сказалъ Андрей Андреичъ и потрогалъ отца за плечо. — Славный старикъ. Добрый старикъ.

Всѣ помолчали. Саша вдругъ засмѣялся и прижалъ ко рту салфетку.

— Стало-быть, вы вѣрите въ гипнотизмъ? — спросилъ отецъ Андрей у Нины Ивановны.

— Я не могу, конечно, утверждать, что я вѣрю, — отвѣтила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выраженіе: — но должна сознаться, что въ природѣ есть много таинственнаго и непонятнаго.

— Совершенно съ вами согласенъ, хотя долженъ прибавить отъ себя, что вѣра значительно сокращаетъ намъ область таинственнаго.

Подали большую, очень жирную индѣйку. Отецъ Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговоръ. У Нины Ивановны блестѣли брильянты на пальцахъ, потомъ на глазахъ заблестѣли слезы, она заволновалась.

— Хотя я и не смѣю спорить съ вами, — сказала она: — но, согласитесь, въ жизни такъ много неразрѣшимыхъ загадокъ!

— Ни одной, смѣю васъ увѣрить.

Послѣ ужина Андрей Андреичъ игралъ на скрипкѣ, а Нина Ивановна аккомпанировала на роялѣ. Онъ десять лѣтъ назадъ кончилъ въ университетѣ по филологическому факультету, но нигдѣ не служилъ, опредѣленнаго дѣла не имѣлъ и лишь изрѣдка принималъ участіе въ концертахъ съ благотворительною цѣлью; и въ городѣ называли его артистомъ.

Андрей Андреичъ игралъ; всѣ слушали молча. На столѣ тихо кипѣлъ самоваръ, и только одинъ Саша пилъ чай. Потомъ, когда пробило двѣнадцать, лопнула вдругъ струна на скрипкѣ; всѣ засмѣялись, засуетились и стали прощаться.

Проводивъ жениха, Надя пошла къ себѣ наверхъ, гдѣ жила съ матерью (нижній этажъ занимала бабушка). Внизу, въ залѣ стали тушить огни, а Саша все еще сидѣлъ и пилъ чай. Пилъ онъ чай всегда подолгу, помосковски, стакановъ по семи въ одинъ разъ. Надѣ, когда она раздѣлась и легла въ постель, долго еще было слышно, какъ внизу убирала прислуга, какъ сердилась бабуля. Наконецъ все затихло, и только слышалось изрѣдка, какъ въ своей комнатѣ, внизу покашливалъ басомъ Саша.

II.

Когда Надя проснулась, было, должно-быть, часа два, начинался разсвѣтъ. Гдѣ-то далеко стучалъ сторожъ. Спать не хотѣлось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, какъ и во всѣ прошлыя майскія ночи, сѣла въ постели и стала думать. А мысли были все тѣ же, что въ прошлую ночь, однообразныя, ненужныя, неотвязчивыя, мысли о томъ, какъ Андрей Андреичъ сталъ ухаживать за ней и сдѣлалъ ей предложеніе, какъ она согласилась и потомъ мало-по-малу оцѣнила этого добраго, умнаго человѣка. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше мѣсяца, она стала испытывать страхъ, безпокойство, какъ будто ожидало ее что-то неопредѣленное, тяжелое.

«Тикъ-токъ, тикъ-токъ...—лѣниво стучалъ сторожъ.—Тикъ-токъ...»

Въ большое старое окно виденъ садъ, дальше кусты густо цвѣтущей сирени, сонной и вялой отъ холода; и туманъ, бѣлый, густой, тихо подплываетъ къ сирени, хочетъ закрыть ее. На далекихъ деревьяхъ кричатъ сонныя грачи.

Быть-можетъ, то же самое испытываетъ передъ свадьбой каждая невѣста. Кто знаетъ! Или тутъ вліяніе Саши? Но вѣдь Саша уже нѣсколько лѣтъ подъ-рядъ говоритъ все одно и то же, какъ по-писанному, и когда говорить, то кажется наивнымъ и страннымъ. Но отчего же все-таки Саша не выходитъ изъ головы? отчего?

Сторожъ уже давно не стучитъ. Подъ окномъ и въ саду зашумѣли птицы, туманъ ушелъ изъ сада, все кругомъ озарилось весеннимъ свѣтомъ, точно улыбкой. Скоро весь садъ, согрѣтый солнцемъ, обласканный, ожилъ, и капли росы, какъ алмазы, засверкали на листьяхъ; и

старый, давно запущенный садъ въ это утро казался такимъ молодымъ, наряднымъ.

Уже проснулась бабуля. Закашлялъ грубымъ басомъ Саша. Слышно было, какъ внизу подали самоваръ, какъ двигали стульями.

Часы идутъ медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла въ саду, а все еще тянется утро.

Вотъ Нина Ивановна, заплаканная, со стаканомъ минеральной воды. Она занималась спиритизмомъ, гомеопатіей, много читала, любила поговорить о сомнѣніяхъ, которымъ была подвержена, и все это, казалось Надѣ, заключало въ себѣ глубокой, таинственный смыслъ. Теперь Надя поцѣловала мать и пошла съ ней рядомъ.

— О чемъ ты плакала, мама? — спросила она.

— Вчера на ночь стала я читать повѣсть, въ которой описывается одинъ старикъ и его дочь. Старикъ служить гдѣ-то, ну, и въ дочь его влюбился начальникъ. Я не дочитала, но тамъ есть такое одно мѣсто, что трудно было удержаться отъ слезъ, — сказала Нина Ивановна и отхлебнула изъ стакана. — Сегодня утромъ вспомнила и тоже всплакнула.

— А мнѣ всѣ эти дни такъ невесело, — сказала Надя, помолчавъ. — Отчего я не сплю по ночамъ?

— Не знаю, милая. А когда я не сплю по ночамъ, то закрываю глаза крѣпко-крѣпко, вотъ такъ, и рисую себѣ Анну Каренину, какъ она ходитъ и какъ говоритъ, или рисую что-нибудь историческое, изъ древняго міра...

Надя почувствовала, что мать не понимаетъ ея и не можетъ понять. Почувствовала это первый разъ въ жизни, и ей даже страшно стало, захотѣлось спрятаться; и она ушла къ себѣ въ комнату.

А въ два часа сѣли обѣдать. Была среда, день постный, и потому бабушкѣ подали постный борщъ и леца съ кашей.

Чтобы подразнить бабушку, Саша ѣлъ и свой скоромный супъ и постный борщъ. Онъ шутилъ все время, пока обѣдали, но шутки у него выходили громоздкія, непремѣнно съ расчетомъ на мораль, и выходило совсѣмъ не смѣшно, когда онъ передъ тѣмъ, какъ состричь, поднималъ вверхъ свои очень длинные, исхудалые, точно мертвые пальцы; и когда приходило на мысль, что онъ очень боленъ и, пожалуй, недолго еще протянетъ на этомъ свѣтѣ, тогда становилось жаль его до слезъ.

Послѣ обѣда бабушка ушла къ себѣ въ комнату отдыхать. Нина Ивановна недолго поиграла на роялѣ и потомъ тоже ушла.

— Ахъ, милая Надя,—началь Саша свой обычный послѣобѣденный разговоръ:—если бы вы послушались меня! Если бы!

Она сидѣла глубоко въ старинномъ креслѣ, закрывъ глаза, а онъ тихо ходилъ по комнатѣ, изъ угла въ уголъ.

— Если бы вы поѣхали учиться!—говорилъ онъ.—Только просвѣщенные и святые люди интересны, только они и нужны. Вѣдь чѣмъ больше будетъ такихъ людей, тѣмъ скорѣе настанетъ царствіе Божіе на землѣ. Отъ вашего города тогда мало-по-малу не останется камня на камнѣ,—все полетитъ вверхъ дномъ, все измѣнится, точно по волшебству. И будутъ тогда здѣсь громадныя, великолѣпнѣйшіе дома, чудесныя сады, фонтаны необыкновенныя, замѣчательныя люди... Но главное не это. Главное то, что толпы въ нашемъ смыслѣ, въ какомъ она есть теперь, этого зла тогда не будетъ, потому что каждый человѣкъ будетъ вѣровать и каждый будетъ знать, для чего онъ живетъ, и ни одинъ не будетъ искать опоры въ толпѣ. Милая, голубушка, поѣзжайте! Покажите всѣмъ, что эта неподвижная, сѣрая, грѣшная жизнь надоѣла вамъ. Покажите это хоть себѣ самой!

— Нельзя, Саша. Я выхожу замужъ.

— Э, полно! Кому это нужно?

Вышли въ садъ, прощлись немного.

— И какъ бы тамъ ни было, милая моя, надо вдуматься, надо понять, какъ нечиста, какъ безнравственна эта ваша праздная жизнь,—продолжалъ Саша.—Поймите же, вѣдь если, на примѣръ, вы, и ваша мать, и ваша бабушка ничего не дѣлаете, то, значить, за васъ работаетъ кто-то другой, вы заѣдаете чью-то чужую жизнь, а развѣ это чисто, не грязно?

Надя хотѣла сказать: «да, это правда»; хотѣла сказать, что она понимаетъ; но слезы показались у нея на глазахъ, она вдругъ притихла, сжалась вся и ушла къ себѣ.

Передъ вечеромъ приходилъ Андрей Андреичъ и по обыкновенію долго игралъ на скрипкѣ. Вообще онъ былъ неразговорчивъ и любилъ скрипку, быть-можетъ, потому, что во время игры можно было молчать. Въ одиннадцатомъ часу, уходя домой, уже въ пальто, онъ обнялъ Надю и сталъ жадно цѣловать ея лицо, плечи, руки.

— Дорогая, милая моя, прекрасная!.. — бормочет онъ. — О, какъ я счастливъ! Я безумствую отъ восторга!

И ей казалось, что это она уже давно слышала, очень давно, или читала гдѣ-то... въ романѣ, въ старомъ, оборванномъ, давно уже заброшенномъ.

Въ залѣ Саша сидѣлъ у стола и пилъ чай, поставивъ блюдечко на свои длинные пять пальцевъ; бабуля раскладывала пасьянсъ. Нина Ивановна читала. Трещаль огонекъ въ лампадкѣ, и все, казалось, было тихо, благополучно. Надя простилась и пошла къ себѣ наверхъ, легла и тотчасъ же уснула. Но, какъ и въ прошлую ночь, едва забрезжилъ свѣтъ, она уже проснулась. Спать не хотѣлось, на душѣ было непокойно, тяжело. Она сидѣла, положивъ голову на колѣни, и думала о женихѣ, о свадьбѣ... Всюмила она почему-то, что ея мать не любила своего покойнаго мужа и теперь ничего не имѣла, жила въ полной зависимости отъ своей свекрови, бабули. И Надя, какъ ни думала, не могла сообразить, почему до сихъ поръ она видѣла въ своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замѣчала простой, обыкновенной, несчастной женщины.

И Саша не спалъ внизу, — слышно было, какъ онъ кашлялъ. Это странный, наивный человекъ, думала Надя, и въ его мечтахъ, во всѣхъ этихъ чудесныхъ садахъ, фонтанахъ необыкновенныхъ чувствуется что-то нелѣпое; но почему-то въ его наивности, даже въ этой нелѣпости столько прекраснаго, что едва она только вотъ подумала о томъ, не поѣхать ли ей учиться, какъ все сердце, всю грудь обдало холодкомъ, залило чувствомъ радости, восторга.

— Но лучше не думать, лучше не думать... — шептала она. — Не надо думать объ этомъ.

«Тикъ-токъ... — стучалъ сторожъ гдѣ-то далеко. — Тикъ-токъ... тикъ-токъ...»

III.

Саша въ серединѣ июня сталъ вдругъ скучать и за-собирался въ Москву.

— Не могу я жить въ этомъ городѣ, — говорилъ онъ мрачно. — Ни водопровода. ни канализации! Я ѣсть за обѣдомъ брезгаю: въ кухнѣ грязь невозможнѣйшая...

— Да погоди, блудный сынъ! — убѣждала бабушка почему-то шопотомъ: — седьмого числа свадьба!

— Не желаю.

— Хотѣлъ вѣдь у насъ до сентября прожить!

— А теперь вотъ не желаю. Миѣ работать нужно!

Лѣто выдалось сырое и холодное, деревья были мокрая, все въ саду глядѣло непривѣтливо, уцѣло, хотѣлось въ самомъ дѣлѣ работать. Въ комнатахъ, внизу и наверху, слышались незнакомые женскіе голоса, стучала у бабушки швейная машина: это спѣшили съ приданымъ. Однѣхъ шубъ за Надей давали шесть, и самая дешевая изъ нихъ, по словамъ бабушки, стоила триста рублей! Суета раздражала Сашу; онъ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и сердился; по все же его уговорили остаться, и онъ далъ слово, что уѣдетъ перваго іюля, не раньше.

Время шло быстро. На Петровъ день послѣ обѣда Андрей Андреничъ пошелъ съ Надей на Московскую улицу, чтобы еще разъ осмотрѣть домъ, который наняли и давно уже приготовили для молодыхъ. Домъ двухъ-этажный, но убранъ былъ пока только верхній этажъ. Въ залѣ блестящій полъ, выкрашенный подъ паркетъ, вѣнскіе стулья, рояль, пюпитръ для скрипки. Пахло краской. На стѣнѣ въ золотой рамѣ висѣла большая картина, написанная красками: пагая дама и около нея лиловая база съ отбитой ручкой.

— Чудесная картина, — проговорилъ Андрей Андреничъ и изъ уваженія вздохнулъ. — Это художника Шишмачевскаго.

Дальше была гостиная съ круглымъ столомъ, диваномъ и креслами, обитыми ярко-голубой матеріей. Надъ диваномъ большой фотографическій портретъ отца Андрея въ камлавкѣ и въ орденахъ. Потомъ вошли въ столовую съ буфетомъ, потомъ въ спальню; здѣсь въ полумракѣ стояли рядомъ двѣ кровати, и похоже было, что когда обставляли спальню, то имѣли въ виду, что всегда тутъ будетъ очень хорошо и иначе бытъ не можетъ. Андрей Андреничъ водилъ Надю по комнатамъ и все время держалъ ее за талію; а она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидѣла всѣ эти комнаты, кровати, кресла, ее мучило отъ нагой дамы. Для нея уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андренича, или, быть-можетъ, не любила его никогда; но какъ это сказать, кому сказать и для чего, она не понимала и не могла понять,

хотя думала объ этомъ всѣ дни, всѣ ночи... Онъ держалъ ее за талію, говорилъ такъ ласково, скромно, такъ былъ счастливъ, расхаживая по этой своей квартирѣ; а она видѣла во всемъ одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимающая ея талію, казалась ей жесткой и холодной, какъ обручъ. И каждую минуту она готова была убѣжать, зарыдать, броситься въ окно. Андрей Андреичъ привелъ ее въ ванную и здѣсь дотронулся до крана, вдѣланнаго въ стѣну, и вдругъ потекла вода.

— Каково? — сказалъ онъ и разсмѣялся. — Я велѣлъ сдѣлать на чердакѣ бакъ на сто ведеръ, и вотъ мы съ тобой теперъ будемъ имѣть воду.

Прошлись по двору, потомъ вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и, казалось вотъ-вотъ пойдетъ дождь.

— Тебѣ не холодно? — спросилъ Андрей Андреичъ, щурясь отъ пыли.

Она промолчала.

— Вчера Саша, ты помнишь, упрекнулъ меня въ томъ, что я ничего не дѣлаю, — сказалъ онъ, помолчавъ немного. — Что же, онъ правъ! Безконечно правъ! Я ничего не дѣлаю и не могу дѣлать. Дорогая моя, отчего мнѣ такъ противна даже мысль о томъ, что я когда-нибудь нацѣплю на лобъ кокарду и пойду служить? Отчего мнѣ такъ не по себѣ, когда я вижу адвоката, или учителя латинскаго языка, или члена управы? О, матушка Русь! О, матушка Русь, какъ еще много ты носишь на себѣ праздныхъ и бесполезныхъ! Какъ много на тебѣ такихъ, какъ я, многострадальная!

И то, что онъ ничего не дѣлалъ, онъ обобщалъ, видѣлъ въ этомъ знаменіе времени.

— Когда женимся, — продолжалъ онъ: — то пойдемъ вмѣстѣ въ деревню, дорогая моя, будемъ тамъ работать! Мы купимъ себѣ небольшой клочокъ земли съ садомъ, рѣкой, будемъ трудиться, наблюдать жизнь... О, какъ это будетъ хорошо!

Онъ снялъ шляпу, и волосы развѣвались у него отъ вѣтра, а она слушала его и думала: «Боже, домой хочу! Боже!». Почти около самаго дома они обогнали отца Андрея.

— А вотъ и отецъ идетъ! — обрадовался Андрей Андреичъ и замахалъ шляпой. — Люблю я своего батьку,

право, — сказалъ онъ, расплачиваясь съ извозчикомъ. — Славный старикъ. Добрый старикъ.

Вошла **Надя** въ домъ сердитая, нездоровая, думая о томъ, что весь вечеръ будутъ гости, что надо занимать ихъ, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякій вздоръ и говорить только о свадьбѣ. Бабушка, важная, пышная въ своемъ шелковомъ платьѣ, надменная, какую она всегда казалась при гостяхъ, — сидѣла у самовара. Вошелъ отецъ **Андрей** со своей хитрой улыбкой.

— Имѣю удовольствіе и благодатное утѣшеніе видѣть васъ въ добромъ здоровьѣ, — сказалъ онъ бабушкѣ, и трудно было понять, шутить это онъ или говорить серьезно.

IV.

Вѣтеръ стучалъ въ окна, въ крышу; слышался свистъ, и въ печи домовой жалобно и угрюмо напѣвать свою пѣсенку. Былъ первый часъ ночи. Въ домѣ всѣ уже легли, но никто не спалъ, и **Надѣ** все чуялось, что внизу играютъ на скрипкѣ. Послышался рѣзкій стукъ, должно-быть, сорвалась ставня. Черезъ минуту вошла **Нина Ивановна** въ одной сорочкѣ, со свѣчой.

— Что это застучало, **Надя**? — спросила она.

Мать, съ волосами, заплетенными въ одну косу, съ робкой улыбкой, въ эту бурную ночь казалась старше, некрасивѣе, меньше ростомъ. **Надѣ** вспомнилось, какъ еще недавно она считала свою мать необыкновенной и съ гордостью слушала слова, какія она говорила; а теперь никакъ не могла вспомнить этихъ словъ; все, что приходило на память, было такъ слабо, ненужно.

Въ печкѣ раздалось пѣніе нѣсколькихъ басовъ и даже послышалось: «А-ахъ, Бо-о-же мой!». **Надя** сѣла въ постели и вдругъ схватила себя крѣпко за волосы и зарыдала.

— Мама, мама, — проговорила она: — родная моя, если бъ ты знала, что со мной дѣлается! Прошу тебя, умоляю, позволь мнѣ уѣхать! Умоляю!

— Куда? — спросила **Нина Ивановна**, не понимая, и сѣла на кровать. — Куда уѣхать?

Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова.

— Позволь мнѣ уѣхать изъ города! — сказала она наконецъ. — Свадьбы не должно быть и не будетъ, — пойми! Я не люблю этого человѣка... И говорить о немъ не могу.

— Нѣтъ, родная моя, нѣтъ, — заговорила **Нина Ивановна** быстро, страшно испугавшись. — Ты успокойся, —

это у тебя отъ нерасположенія духа. Это пройдетъ. Это бываетъ. Вѣроятно, ты повздорила съ Андреемъ; но милые бранятся — только тѣшатся.

— Ну, уйди, мама, уйди! — зарыдала Надя.

— Да, — сказала Инна Ивановна, помолчавъ. — Давно ли ты была ребенкомъ, дѣвочкой, а теперь уже невѣста. Въ природѣ постоянный обмѣнъ веществъ. И не замѣтишь, какъ сама станешь матерью и старухой, и будетъ у тебя такая же строптивая дочка, какъ у меня.

— Милая, добрая моя, ты вѣдь умна, ты несчастна, — сказала Надя: — ты очень несчастна, — зачѣмъ же ты говоришь пошлости? Бога ради, зачѣмъ?

Инна Ивановна хотѣла что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, всхлинула и ушла къ себѣ. Басы опять загудѣли въ печкѣ, стало вдругъ страшно. Надя вскочила съ постели и быстро пошла къ матери. Инна Ивановна, заплаканная, лежала въ постели, укрывшись голубымъ одѣяломъ, и держала въ рукахъ книгу.

— Мама, выслушай меня! — проговорила Надя. — Умоляю тебя, вдумайся и пойми! Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь все вижу. И что такое твой Андрей Андреичъ? Вѣдь онъ же не уменъ, мама! Господи Боже мой! Пойми, мама, онъ глупъ!

Инна Ивановна порывисто сѣла.

— Ты и твоя бабка мучите меня! — сказала она, всхлинувъ. — Я жить хочу! жить! — повторила она и раза два ударила кулакомъ по груди. — Дайте же мнѣ свободу! Я еще молода, я жить хочу, а вы изъ меня старуху сдѣлали!..

Она горько заплакала, легла и свернулась подъ одѣяломъ калачникомъ, и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла къ себѣ, одѣлась и, сѣвши у окна, стала поджидать утра. Она всю ночь сидѣла и думала, а кто-то со двора все стучалъ въ ставню и насвистывалъ.

Утромъ бабушка жаловалась, что въ саду ночью вѣтромъ побивало всѣ яблоки и сломало одну старую сливу. Было сѣро, тускло, безотраднo, хоть огонь зажигай; всѣ жаловались на холодъ, и дождь стучалъ въ окна. Послѣ чаю Надя вошла къ Сашѣ и, не сказавъ ни слова, стала на колѣни въ углу у кресла и закрыла лицо руками.

— Что? — спросилъ Саша.

— Не могу... — проговорила она. — Какъ я могла жить здѣсь раньше, не понимаю, не постигаю! Женixa я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь...

— Ну, ну... — проговорилъ Саша, не понимая еще, въ чемъ дѣло. — Это ничего... Это хорошо.

— Эта жизнь опостылѣла мнѣ, — продолжала Надя: — я не вынесу здѣсь и одного дня. Завтра же я уѣду отсюда. Возьмите меня съ собой, Бога ради!

Саша минуту смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ; наконецъ онъ понялъ и обрадовался какъ ребенокъ. Онъ взмахнулъ руками и началъ притоптывать туфлями, какъ бы танцуя отъ радости.

— Великолѣпно! — говорилъ онъ, потирая руки. — Боже, какъ это хорошо!

А она глядѣла на него, не мигая, большими, влюбленными глазами, какъ очарованная, ожидая, что онъ тотчасъ же скажетъ ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности; онъ еще ничего не сказалъ ей, но уже ей казалось, что передъ нею открывается нѣчто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрѣла на него, полная ожиданій, готовая на все, хотя бы на смерть.

— Завтра я уѣзжаю, — сказалъ онъ, подумавъ: — и вы поѣдете на вокзалъ провожать меня... Вашъ багажъ я заберу въ свой чемоданъ и билетъ вамъ возьму; а во время третьяго звонка вы войдете въ вагонъ, — мы и поѣдемъ. Проводите меня до Москвы, а тамъ вы одиѣ поѣдете въ Петербургъ. Паспортъ у васъ есть?

— Есть.

— Клянусь вамъ, вы не пожалѣете и не раскаетесь, — сказалъ Саша съ увлеченіемъ. — Поѣдете, будете учиться, а тамъ пусть васъ носитъ судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все измѣнится. Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно. Итакъ, значить, завтра поѣдемъ?

— О, да! Бога ради!

Надѣ казалось, что она очень взволнована, что на душѣ у нея тяжело, какъ никогда, что теперь до самаго отъѣзда придется страдать и мучительно думать; но едва она пришла къ себѣ наверхъ и прилегла на постель, какъ тотчасъ же уснула и спала крѣпко, съ заплаканнымъ лицомъ, съ улыбкой, до самаго вечера.

V.

Послали за извозчикомъ. Надя, уже въ шляпѣ и пальто, пошла наверхъ, чтобы еще разъ взглянуть на мать, на все свое; она постояла въ своей комнатѣ около постели, еще теплой, осмотрѣлась, потомъ пошла тихо къ матери. Нина Ивановна спала, въ комнатѣ было тихо. Надя поцѣловала мать и поправила ей волосы, постояла минуты двѣ... Потомъ не сгвѣша вернулась внизъ.

На дворѣ шель сильный дождь. Извозчикъ съ крытымъ верхомъ, весь мокрый, стоялъ у подъязда.

— Не помѣстишься съ нимъ, Надя, — сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемоданы. — И охота въ такую погоду провожать! Оставалась бы дома. Ишь вѣдь дождь какой!

Надя хотѣла сказать что-то и не могла. Вотъ Саша подсадилъ Надю, укрылъ ей ноги пледомъ. Вотъ и самъ онъ помѣстился рядомъ.

— Въ добрый часъ! Господь благословить! — кричала съ крыльца бабушка. — Ты же, Саша, пиши намъ изъ Москвы!

— Ладно. Прощайте, бабуля!

— Сохрани тебя Царица Небесная!

— Ну, погодка! — проговорилъ Саша.

Надя теперь только заплакала. Теперь уже для нея ясно было, что она уѣдетъ непременно, чему она все-таки не вѣрила, когда прощалась съ бабушкой, когда глядѣла на мать. Прощай, городъ! И все ей вдругъ припомнилось: и Андрей, и его отецъ, и новая квартира, и нагая дама съ вазой; и все это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко и уходило все назадъ и назадъ. А когда сѣли въ вагонъ и поѣздъ тронулся, то все это прошлое, такое большое и серьезное, сжалось въ комочекъ, и разворачивалось громадное, широкое будущее, которое до сихъ поръ было такъ мало замѣтно. Дождь стучалъ въ окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволокахъ, и радость вдругъ перехватила ей дыханіе: она вспомнила, что она ѣдетъ на волю, ѣдетъ учиться, а это все равно, что когда-то очень давно называлось уходить въ казачество. Она и смѣялась, и плакала, и молилась.

— Ничего-о! — говорилъ Саша, ухмыляясь. — Ничего-о!

VI.

Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о бабушкѣ, думала о Сашѣ. Письма изъ дому приходили тихія, добрыя, и, казалось, все уже было прощено и забыто. Въ маѣ послѣ экзаменовъ она, здоровая, веселая, поѣхала домой и на пути остановилась въ Москвѣ, чтобы повидаться съ Сашей. Онъ былъ все такой же, какъ и прошлымъ лѣтомъ: бородатый, со включенной головой, все въ томъ же сюртукѣ и парусиновыхъ брюкахъ, все съ тѣми же большими, прекрасными глазами; но видъ у него былъ нездоровый, замученный, онъ и постарѣлъ, и похудѣлъ, и все покашливалъ. И почему-то показался онъ Надѣ страннымъ, провинціальнымъ.

— Боже мой, Надя пріѣхала! — сказалъ онъ и весело разсмѣялся. — Родная моя, голубушка!

Посидѣли въ литографіи, гдѣ было накурено и сильно, до духоты пахло тушью и красками; потомъ пошли въ его комнату, гдѣ было накурено, наплевано; на столѣ возлѣ остывшаго самовара лежали разбитая тарелка съ темной бумажкой, и на столѣ и на полу было множество мертвыхъ мухъ. И тутъ было видно по всему, что личную жизнь свою Саша устроилъ неряшливо, жилъ какъ придется, съ полнымъ презрѣніемъ къ удобствамъ, и если бы кто-нибудь заговорилъ съ нимъ объ его личномъ счастьѣ, объ его личной жизни, о любви къ нему, то онъ бы ничего не понялъ и только бы засмѣялся.

— Ничего, все обошлось благополучно, — рассказывала Надя торжественно. — Мама пріѣзжала ко мнѣ осенью въ Петербургъ, говорила, что бабушка не сердится, а только все ходитъ въ мою комнату и креститъ стѣны.

Саша глядѣлъ весело, но покашливалъ и говорилъ треснутымъ голосомъ, и Надя все вглядывалась въ него и не понимала, боленъ ли онъ на самомъ дѣлѣ серьезно, или ей это только такъ кажется.

— Саша, дорогой мой, — сказала она: — а вѣдь вы больны!

— Нѣтъ, ничего. Боленъ, но не очень...

— Ахъ, Боже мой, — заволновалась Надя: — отчего вы не лѣчитесь, отчего не бережете своего здоровья? Дорогой мой, милый Саша, — проговорила она, и слезы брыз-

пули у нея изъ глазъ, и почему-то въ воображеніи ея выросли и Андрей Андреевъ, и голая дама съ вазой, и все ея прошлое, которое казалось теперь такимъ же далекимъ, какъ дѣтство; и заплакала она оттого, что Саша уже не казался ей такимъ позымъ, интеллигентнымъ, интереснымъ, какимъ былъ въ прошломъ году. — Милый Саша, вы очень, очень больны. Я бы не знаю что сдѣлала, чтобы вы не были такъ блѣдны и худы. Я вамъ такъ обязана! Вы не можете даже представить себѣ, какъ много вы сдѣлали для меня, мой хорошій Саша! Въ сущности для меня вы теперь самый близкій, самый родной человѣкъ.

Они посидѣли, поговорили; и теперь, послѣ того, какъ Надя провела зиму въ Петербургѣ, отъ Саши, отъ его словъ, отъ улыбки и отъ всей его фигуры вѣяло чѣмъ-то отжитымъ, старомоднымъ, давно спѣтымъ и, быть-можетъ, уже ушедшимъ въ могилу.

— Я послѣзавтра на Волгу поѣду, — сказала Саша: — ну, а потомъ на кумысъ. Хочу кумыса попить. А со мной ѣдетъ одинъ пріятель съ женой. Жена удивительный человѣкъ; все сбиваю ее, уговариваю, чтобы она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула.

Поговоривши, поѣхали на вокзалъ. Саша угощалъ чаемъ, яблоками; а когда поѣздъ тронулся, и онъ, улыбаясь, помахивалъ платкомъ, то даже по ногамъ его видно было, что онъ очень боленъ и едва ли проживетъ долго.

Пріѣхала Надя въ свой городъ въ полдень. Когда она ѣхала съ вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми; людей не было, и только встрѣтился нѣмецъ-настройщикъ въ рыжемъ пальто. И всѣ дома точно шилью покрыты. Бабушка, совсѣмъ уже старая, попрежнему полная и некрасивая, охватила Надю руками и долго плакала, прижавшись лицомъ къ ея плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарѣла и подурнѣла, какъ-то осунулась вся, но все еще попрежнему была затянута, и брильянты блестѣли у нея на пальцахъ.

— Милая моя! — говорила она, дрожа всѣмъ тѣломъ. — Милая моя!

Потомъ сидѣли и молча плакали. Видно было, что и бабушка и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и безповоротно: нѣтъ уже ни положенія въ обществѣ, ни прежней чести, ни права приглашать къ себѣ

въ гости; такъ бываетъ, когда среди легкой, беззаботной жизни вдругъ нагрянетъ ночью полиція, сдѣлаетъ обыскъ, и хозяинъ дома, окажется, растратилъ, поддѣлалъ, — и прощай тогда навѣки легкая, беззаботная жизнь!

Надя пошла наверхъ и увидѣла ту же постель, тѣ же окна съ бѣлыми, наивными занавѣсками, а въ окнахъ тотъ же садъ, залитый солнцемъ, веселый, шумный. Она потрогала свой столъ, посидѣла, подумала. И обѣдала хорошо, и пила чай со вкусными, жирными сливками, но чего-то не хватало, чувствовалась пустота въ комнатахъ, и потолки были низки. Вечеромъ она легла спать, укрылась, и почему-то было смѣшно лежать въ этой теплой, очень мягкой постели.

Пришла на минутку Нина Ивановна, сѣла, какъ садятся виноватыя, робко и съ оглядкой.

— Ну, какъ, Надя?—спросила она, помолчавъ.—Ты довольна? Очень довольна?

— Довольна, мама.

Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна.

— А я, какъ видишь, стала религіозной, — сказала она. — Знаешь, я теперь занимаюсь философіей и все думаю, думаю... И для меня теперь многое стало ясно, какъ день. Прежде всего надо, мнѣ кажется, чтобы вся жизнь проходила какъ сквозь призму.

— Скажи, мама, какъ здоровье бабушки?

— Какъ будто бы ничего. Когда ты уѣхала тогда съ Сашей и пришла отъ тебя телеграмма, то бабушка, какъ прочла, такъ и упала; три дня лежала безъ движенія. Потомъ все Богу молилась и плакала. А теперь ничего.

Она встала и прошлась по комнатѣ.

«Тикъ-токъ... — стучалъ сторожъ. — Тикъ-токъ, тикъ-токъ...»

— Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила какъ бы сквозь призму, — сказала она: — то-есть, другими словами, надо, чтобы жизнь въ сознаніи дѣлилась на простѣйшіе элементы, какъ бы на семь основныхъ цвѣтовъ, и каждый элементъ надо изучать въ отдѣльности.

Что еще сказала Нина Ивановна и когда она ушла, Надя не слышала, такъ какъ скоро уснула.

Прошелъ май, настала июнь. Надя уже привыкла къ дому. Бабушка хлопотала за самоваромъ, глубоко вздыхала; Нина Ивановна рассказывала по вечерамъ про

свою философію; она попрежнему проживала въ домѣ, какъ приживалка, и должна была обращаться къ бабушкѣ за каждымъ двугривеннымъ. Было много мухъ въ домѣ, и потолки въ комнатахъ, казалось, становились все ниже и ниже. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу изъ страха, чтобы имъ не встрѣтились отецъ Андрей и Андрей Андренчъ. Надя ходила по саду, по улицѣ, глядѣла на дома, на сѣрые заборы, и ей казалось, что въ городѣ все давно уже состарилось, отжило и все только ждетъ не то конца, не то начала чего-то молодого, свѣжаго. О, если бы поскорѣе наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будетъ прямо и смѣло смотрѣть въ глаза своей судьбѣ, сознавать себя правымъ, быть веселымъ, свободнымъ! А такая жизнь рано или поздно настанетъ! Вѣдь будетъ же время, когда отъ бабушкина дома, гдѣ все такъ устроено, что четыре прислуги иначе жить не могутъ, какъ только въ одной комнатѣ, въ подвальномъ этажѣ, въ нечистотѣ, — будетъ же время, когда отъ этого дома не останется и слѣда, и о немъ забудутъ, никто не будетъ помнить. И Надю развлекали только мальчишки съ сосѣдняго двора; когда она гуляла по саду, они стучали въ заборъ и дразнили ее со смѣхомъ:

— Невѣста! Невѣста!

Пришло изъ Саратова письмо отъ Саши. Своимъ весельемъ, танцующимъ почеркомъ онъ писалъ, что путешествіе по Волгѣ ему удалось вполне, но что въ Саратовѣ онъ прихворнулъ немного, потерялъ голосъ и уже двѣ недѣли лежитъ въ больницѣ. Она поняла, что это значитъ, и предчувствіе, похожее на увѣренность, овладѣло ею. И ей было непріятно, что это предчувствіе и мысли о Сашѣ не волновали ее такъ, какъ раньше. Ей страстно хотѣлось жить, хотѣлось въ Петербургъ, и знакомство съ Сашей представлялось уже милымъ, но далекимъ-далекимъ прошлымъ! Она не спала всю ночь и утромъ сидѣла у окна, прислушиваясь. И въ самомъ дѣлѣ послышались голоса внизу; встревоженная бабушка стала о чемъ-то быстро спрашивать. Потомъ заплакалъ кто-то... Когда Надя сошла внизъ, то бабушка стояла въ углу и молилась, и лицо у нея было заплакано. На столѣ лежала телеграмма.

Надя долго ходила по комнатѣ, слушая, какъ плачетъ бабушка, потомъ взяла телеграмму, прочла. Сообщалось,

что вчера утромъ въ Саратовѣ отъ чахотки скончался Александръ Тимоѳеичъ, или, попросту, Саша.

Бабушка и Нина Ивановна пошли въ церковь заказывать панихиду, а Надя долго еще ходила по комнатамъ и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ея перевернута, какъ хотѣлъ того Саша, что она здѣсь одинокая, чужая, ненужная, и что все ей тутъ ненужно, все прежнее оторвано отъ нея и исчезло, точно сгорѣло, и пепель разнесся по вѣтру. Она вошла въ Сашину комнату, постояла тутъ.

«Прощай, милый Саша!»—думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайнъ, увлекала и манила ее.

Она пошла къ себѣ наверхъ укладываться, а на другой день утромъ простилась со своими и, живая, веселая, покинула городъ — какъ полагала, навсегда.

1903.

КТО ВИНОВАТЪ?

Мой дядя Петръ Демьянычъ, сухой, желчный коллежскій совѣтникъ, очень похожій на несвѣжаго копченого сига, въ котораго воткнута палка, какъ-то, собираясь въ гимназію, гдѣ онъ преподавалъ латинскій языкъ, замѣтилъ, что переплетъ его синтаксиса изъѣденъ мышами.

— Послушайте, Прасковья, — сказалъ онъ, входя въ кухню и обращаясь къ кухаркѣ. — Откуда это у насъ мыши завелись? Помилуй, вчера цилиндръ погрызли, сегодня синтаксисъ обезобразили... Этакъ, пожалуй, начнутъ одежду ѣсть!

— А что жъ мнѣ дѣлать? Не я ихъ завела! — отвѣтила Прасковья.

— Надо же что-нибудь сдѣлать! Кошку бы ты завела, что ли...

— Кошка есть; да куда она годится?

И Прасковья указала на уголь, гдѣ около вѣника, свернувшись калачикомъ, дремалъ худой, какъ щепка, бѣлый котенокъ.

— Отчего же онъ не годится? — спросилъ Петръ Демьянычъ.

— Молодой еще и глупый. Почитай, ему еще и двухъ мѣсяцевъ нѣтъ.

— Гм... Такъ его приучать надо! Чѣмъ такъ лежать, онъ лучше бы приучался.

Сказавши это, Петръ Демьянычъ озабоченно вздохнулъ и вышелъ изъ кухни. Котенокъ приподнял голову, лѣниво поглядѣлъ ему вслѣдъ и опять закрылъ глаза.

Котенокъ не спалъ и думалъ. О чемъ? Незнакомый

съ дѣйствительной жизнью, не имѣя никакого запаса впечатлѣній, онъ могъ мыслить только инстинктивно и рисовать себѣ жизнь по тѣмъ представленіямъ, которыя получилъ въ наслѣдство вмѣстѣ съ плотью и кровью отъ своихъ прародителей тигровъ (зри Дарвина). Мысли его имѣли характеръ дремотныхъ грезъ. Его кошачье боображеніе рисовало нѣчто въ родѣ Аравійской пустыни, по которой носились тѣни, очень похожія на Прасковью, на печку, на вѣникъ. Среди тѣней вдругъ появлялось блюдечко съ молокомъ; у блюдечка выростали лапки, оно начинало двигаться и выказывать поползновеніе къ бѣгству; котенокъ дѣлалъ прыжокъ и, замирая отъ кровожаднаго сладострастія, вонзалъ въ него когти... Когда блюдечко исчезало въ туманѣ, появлялся кусокъ мяса, оброненный Прасковьей; мясо съ трусливымъ пискомъ бѣжало куда-то въ сторону, но котенокъ дѣлалъ прыжокъ и вонзалъ когти... Все, что ни мерещилось молодому мечтателю, имѣло своимъ исходнымъ пунктомъ прыжки, когти и зубы... Чужая душа — потемки, а кошачья и подавно, но насколько только-что описанныя картины близки къ истинѣ, видно изъ слѣдующаго факта: предаваясь дремотнымъ грезамъ, котенокъ вдругъ векочилъ, поглядѣлъ сверкающими глазами на Прасковью, взъерошилъ шерсть и, сдѣлавъ прыжокъ, вонзилъ когти въ кухаркинъ подолъ. Очевидно, онъ родился мышеловомъ, вполне достойнымъ своихъ кровожадныхъ предковъ. Судьба предназначала его быть грозой подваловъ, кладовыхъ и закрововъ, и если бъ не воспитаніе... Впрочемъ, не будемъ забѣгать впередъ.

Возвращаясь изъ гимназін, Петръ Демьянычъ зашелъ въ мелочную лавку и купилъ за пятиалтынный мышеловку. За обѣдомъ онъ нацѣпилъ на крючокъ кусочекъ котлеты и поставилъ западню подъ диванъ, гдѣ сваливались ученическія упражненія, употребившіяся Прасковьей на хозяйственныя надобности. Ровно въ шесть часовъ вечера, когда почтенный латинистъ сидѣлъ за столомъ и поправлялъ ученическія тетрадки, подъ диваномъ вдругъ раздалось: «хлопъ!», и такое громкое, что мой дядюшка вздрогнулъ и выронилъ перо. Немедля онъ пошелъ къ дивану и досталъ мышеловку. Маленькая, чистенькая мышъ, величиною съ шалерстокъ, обнюхивала проволоку и дрожала отъ страха.

— Ага-а! — пробормоталъ Петръ Демьянычъ и такъ

злорадно поглядѣлъ на мышь, какъ будто собирався поставить ей единицу. — Пойма-а-алась, по-одлая! Постой же, я покажу тебѣ, какъ ѣсть снитаксисъ!

Наглядѣвшись на свою жертву. Петръ Демьянычъ поставилъ мышеловку на полъ и крикнулъ:

— Прасковья, мышь поймалась! Неси-ка сюда котенка!

— Сича-ась! — отозвалась Прасковья и черезъ минуточку вошла, держа на рукахъ потомка тигровъ.

— И отлично! — забормоталъ Петръ Демьянычъ, потирая руки. — Мы его приучать будемъ... Ставь его противъ мышеловки... Вотъ такъ... Дай ему понюхать и поглядѣть... Вотъ такъ...

Котенокъ удивленно поглядѣлъ на дядю, на кресла, съ недоумѣніемъ понюхалъ мышеловку, потомъ, испугавшись, вѣроятно, яркаго ламповаго свѣта и вниманія, на него направленнаго, рванулся и въ ужасѣ побѣжалъ къ двери.

— Стой! — крикнулъ дядя, хватая его за хвостъ. — Стой, подлецъ этакій! Мыши, дуракъ, испугался! Гляди: это мышь! Гляди же! Ну? Гляди, тебѣ говорятъ!

Петръ Демьянычъ взялъ котенка за шею и потыкалъ его мордой въ мышеловку.

— Гляди, стервецъ! Возьми-ка его, Прасковья, и держи... Держи противъ дверцы... Когда я выпущу мышь, ты его тотчасъ же выпускай... Слышишь? Тотчасъ же и выпускай! Ну?

Дядюшка придалъ своему лицу таинственное выраженіе и приподнялъ дверцу... Мышь нерѣшительно вышла, понюхала воздухъ и стрѣлой полетѣла подъ диванъ... Выпущенный котенокъ задралъ вверхъ хвостъ и побѣжалъ подъ столъ.

— Ушла! Ушла! — закричалъ Петръ Демьянычъ, дѣлая свирѣпое лицо. — Гдѣ онъ, мерзавецъ? Подъ столомъ? Постой же...

Дядюшка вытащилъ котенка изъ-подъ стола и потрясъ его въ воздухѣ...

— Каналья этакая... — забормоталъ онъ, трепля его за ухо. — Вотъ тебѣ! Вотъ тебѣ! Вудешь другой разъ зѣвать? Ккканалья!..

На другой день Прасковья опять услышала возгласъ:

— Прасковья, мышь поймалась! Неси-ка сюда котенка!..

Котенокъ послѣ вчерашняго оскорбленія забился подъ

печку и не выходилъ оттуда всю ночь. Когда Прасковья вытащила его и, принеся за шиворотъ въ кабинетъ, поставила передъ мышеловкой, онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ и жалобно замыкалъ.

— Ну, дай ему сначала освоиться! — командовалъ Петръ Демьянычъ. — Пусть глядитъ и шюхаетъ. Гляди и приучайся! Стой, чтобъ ты издохъ! — крикнулъ онъ, замѣтивъ, какъ котенокъ попятился отъ мышеловки. — Выпорю! Дерни-ка его за ухо! Вотъ такъ... Ну, теперь ставь противъ дверцы...

Дядюшка медленно приподнялъ дверцу... Мышь юркнула подъ самымъ носомъ котенка, ударила о руку Прасковьи и побѣжала подъ шкафъ, котенокъ же, почувствовавъ себя на свободѣ, сдѣлалъ отчаянный прыжокъ и забился подъ диванъ.

— Другую мышь упустилъ! — заоралъ Петръ Демьянычъ. — Какая же это кошка?! Это гадость, дрянь! Пороть! Около мышеловки пороть!

Когда была поймана третья мышь, котенокъ при видѣ мышеловки и ея обитателя затрясся всѣмъ тѣломъ и поцарапалъ руки Прасковьи... Послѣ четвертой мышши дядюшка вышелъ изъ себя, швырнулъ ногой котенка и сказалъ:

— Убери эту гадость! Чтобъ сегодня же его не было въ домѣ! Брось куда-нибудь! Ни къ чорту не годится!

Прошелъ годъ. Тощій и хилый котенокъ обратился въ солиднаго и разсудительнаго кота. Однажды, пробираясь задворками, онъ шелъ на любовное свиданіе. Будучи уже у цѣли, онъ вдругъ услышалъ шорохъ, а вслѣдъ за этимъ увидѣлъ мышь, которая отъ водопойнаго корыта бѣжала къ конюшнѣ... Мой герой оцѣтенился, согнулъ дугой спину, зашипѣлъ и, задрожавъ всѣмъ тѣломъ, малодушно пустился въ бѣгство.

— Увы! Иногда и я чувствую себя въ смѣшномъ положеніи бѣгущаго кота. Подобно котенку, въ свое время имѣлъ честь учиться у дядюшки латинскому языку. Теперь, когда мнѣ приходится видѣть какое-нибудь произведеніе классической древности, то вмѣсто того, чтобъ жадно восторгаться, я начинаю вспоминать *ut consecutivum*, неправильные глаголы, желто-сѣрое лицо дядюшки, *ablativus absolutus*... блѣдибю, волосы мои становятся дыбомъ, и, подобно коту, я ударяюсь въ постыдное бѣгство.

НОВОГОДНІЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ.

На улицахъ картина ада въ золотой рамѣ. Если бы не праздничное выраженіе въ лицахъ дворниковъ и городскихъ, то можно было бы подумать, что къ столицѣ подступаетъ непріятель. Взадъ и впередъ съ трескомъ и шумомъ снуютъ парадныя сани и кареты... На тротуарахъ, высунувъ языки и тараща глаза, бѣгутъ визитеры... Бѣгутъ они съ такимъ азартомъ, что ухвати жена Пентефрія какого-нибудь бѣгущаго коллежскаго регистратора за фалду, то у нея въ рукахъ осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничій бокъ съ печенками и съ селезенками...

Вдругъ слышится пронзительный полицейскій свистъ. Что случилось? Дворники отрываются отъ своихъ позицій и бѣгутъ къ свистку...

— Разойдитесь! Идите дальше! Нечего вамъ здѣсь глядѣть! Мертвыхъ людей никогда не видали, что ли? Народъ...

У одного изъ подъѣздовъ на тротуарѣ лежитъ прилично одѣтый человѣкъ въ бобровой шубѣ и новыхъ резиновыхъ калошахъ... Возлѣ его мертвецки-блѣднаго, свѣже-выбритаго лица валяются разбитыя очки. Шуба на груди распалхулась, и собравшаяся толпа видитъ кусочекъ фрака и Станислава третьей степени. Грудь медленно и тяжело дышитъ, глаза закрыты...

— Господинъ!—толкаетъ городской чиновника.— Господинъ, не велѣно тутъ лежать! Ваше благородіе!

Но господинъ—ни гласа ни воздыханія... Повозившись съ нимъ минутъ пять и не приведя его въ чувство, блюстители кладутъ его на извозчика и везутъ въ пріемный покой...

— Хорошіе штаны! — говоритъ городской, помогая фельдшеру раздѣть больного. — Должно, рублей шесть стѣять. И жилетка ловкая... Ежели по штанамъ судить, то изъ благородныхъ...

Въ пріемномъ покоѣ, полежавъ часа полтора и выпивъ цѣлую склянку валерьяны, чиновникъ приходитъ въ чувство... Узнаютъ, что онъ титулярный совѣтникъ Герасимъ Кузьмичъ Синклетеевъ.

— Чтѣ у васъ болитъ? — спрашиваетъ его полицейскій врачъ.

— Съ Новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ... — бормочетъ онъ, тупо глядя въ потолокъ и тяжело дыша.

— И васъ также! Но... чтѣ у васъ болитъ? Отчего вы упали? Припомните-ка! Вы пили что-нибудь?

— Нѣ...нѣтъ...

— Но отчего же вамъ дурно сдѣлалось?..

— Ошалѣлъ-съ... Я... я визиты дѣлалъ...

— Много, стало-быть, визитовъ сдѣлали?

— Нѣ...нѣтъ, не много-съ... Отъ обѣдни пришедши... выпилъ я чаю и пошелъ къ Николаю Михайлычу... Тутъ, конечно, расписался... Оттуда пошелъ на Офицерскую, къ Качалкину... Тутъ тоже расписался... Еще, помню, тутъ въ передней меня сквознякомъ продуло... Отъ Качалкина ва Выборгскую ходилъ, къ Ивану Иванычу... Расписался...

— Еще одного чиновника привезли! — докладываетъ городской..

— Отъ Ивана Иваныча, — продолжалъ Синклетеевъ: — къ купцу Хрымову рукой подать... Зашелъ поздравить... съ семействомъ... Предлагаютъ выпить для праздника... А какъ не выпить? Обидишь, коли не выпьешь... Ну, выпилъ рюмки три... колбасой закусилъ... Оттуда на Петербургскую сторону къ Лиходѣву... Хорошій человекъ...

— И все пѣшкомъ?

— Пѣшкомъ-съ... Расписался у Лиходѣва... Отъ него пошелъ къ Пелагеѣ Емельяновичѣ... Тутъ завтракать посадили и кофеемъ попотчевали. Отъ кофею распарился, оно, должно-быть, въ голову и ударило... Отъ Пелагеи Емельяповны пошелъ къ Облеухову... Облеухова Василиемъ звать, именинникъ... Не съѣшь именинаго пирога, обидишь...

— Отставного военнаго и двухъ чиновниковъ привезли! — докладываетъ городской...

— Съѣлъ кусокъ пирога, вышелъ рябиновой и пошелъ

на Садовую къ Изюмову... У Изюмова холоднаго пива выпилъ... въ горло ударило... Отъ Изюмова къ Кошкину, потомъ къ Карлу Карлычу... отседа къ дядѣ Петру Семеничу... Племянница Настя шоколадомъ попоила... Потомъ къ Ляпкину зашелъ... Нѣтъ, вру, не къ Ляпкину, а къ Дарьѣ Никодимовнѣ.. Отъ нея ужъ къ Ляпкину пошелъ... Ну-съ, и вездѣ хорошо себя чувствовалъ... Потомъ у Иванова, Курдюкова и Шиллера былъ, у полковника Порошкова былъ, и тамъ себя хорошо чувствовалъ... У купца Дунькина былъ... Присталъ ко мнѣ, чтобъ я коньякъ пилъ и сосиски съ капустой ѣлъ... Выпилъ я рюмки три... пару сосисокъ съѣлъ — и тоже ничего... Только ужъ потомъ, когда отъ Рыжова выходилъ, почувствовалъ въ головѣ... мерцаніе... Ослабѣлъ... Не знаю, отчего...

— Вы утомились... Отдохните немного, и мы васъ домой отправимъ...

— Нельзя мнѣ домой...—стонетъ Синклетеевъ.—Нужно еще къ зятю Кузьмѣ Вавилычу сходить... къ экзекутору, къ Натальѣ Егоровнѣ... У многихъ я еще не былъ...

— И не слѣдуетъ ходить.

— Нельзя... Какъ можно съ Новымъ годомъ не поздравить? Нужно-съ... Не сходи къ Натальѣ Егоровнѣ, такъ жить не захочешь... Ужъ вы меня отпустите, г. докторъ, не невольте...

Синклетеевъ поднимается и тянется къ одежѣ.

— Домой ѣзжайте, если хотите,—говоритъ докторъ:—но о визитахъ вамъ думать даже нельзя...

— Ничего-съ, Богъ поможетъ...—вздыхаетъ Синклетеевъ. — Я потихонечку пойду...

Чиновникъ медленно одѣвается, кутается въ шубу и, пошатаваясь, выходитъ на улицу.

— Еще пятерыхъ чиновниковъ привезли!—докладываетъ городовая. — Куда прикажете положить?

БЕСѢДА ПЬЯНАГО СЪ ТРЕЗВЫМЪ ЧОРТОМЪ.

Бывшій чиновникъ интендантскаго управленія, отставной коллежскій секретарь Лахматовъ сидѣлъ у себя за столомъ и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлялъ о братствѣ, равенствѣ и свободѣ. Вдругъ изъ-за лампы выглянулъ на него чортъ... Но не пугайтесь, читательница. Вы знаете, что такое чортъ? Это молодой человѣкъ приятной наружности, съ черной, какъ сапоги, рожей и съ красными, выразительными глазами. На головѣ у него, хотя онъ и не женатъ, рожки... Прическа à la Капуль. Тѣло покрыто зеленой шерстью и пахнетъ псиной. Внизу спины болгается хвостъ, оканчивающійся стрѣлой... вмѣсто пальцевъ когти, вмѣсто ногъ лошадиныя копыта. Лахматовъ, увидѣвъ чорта, нѣсколько смутился, но потомъ, вспомнивъ, что зеленые черти имѣютъ глупое обыкновение являться ко всѣмъ вообще подвыпившимъ людямъ, скоро успокоился.

— Съ кѣмъ я имѣю честь говорить?—обратился онъ къ непрощенному гостю.

Чортъ сконфузился и потупилъ глазки.

— Вы не стѣсняйтесь, — продолжалъ Лахматовъ. — Подойдите ближе... Я человѣкъ безъ предразсудковъ, и вы можете говорить со мной искренно... по душѣ... Кто вы?

Чортъ нерѣшительно подошелъ къ Лахматову и, подогнувъ подъ себя хвостъ, вѣжливо поклонился.

— Я чортъ, или дьяволь...—отрекомендовался онъ. — Состою чиновникомъ особыхъ порученій при особѣ его превосходительства директора адской канцеляріи, г. Сатаны.

— Слышалъ, слышалъ... Очень приятно. Садитесь! Не хотите ли водки? Очень радъ... А чѣмъ вы занимаетесь?

Чортъ еще больше сконфузился....

— Собственно говоря, занятій у меня опредѣленныхъ

нѣтъ...—отвѣтилъ онъ, въ смущеніи кашляя и сморкаясь въ «Ребусъ». — Прежде, дѣйствительно, у насъ было занятіе... Мы людей искушали... совращали ихъ съ пути добра-на стезю зла... Теперь же это занятіе, антръ-пустади, и плевка не стѣдить... Пути добра нѣтъ уже, не съ чего совращать. И къ тому же люди стали хитрѣе насъ... Извольте-ка вы искусить человѣка, когда онъ въ университетѣ всѣ науки кончилъ, огонь, воду и мѣдныя трубы прошелъ! Какъ я могу учить васъ украсть рубль, ежели вы уже безъ моей помощи тысячи цапнули?

— Это такъ... Но, однако, вѣдь вы занимаетесь же чѣмъ-нибудь?

— Да... Прежняя должность наша теперь можетъ быть голько номинальной, но мы все-таки имѣемъ работу... Искушаемъ классныхъ дамъ, подталкиваемъ юнцовъ стихи писать, заставляемъ пьяныхъ купцовъ бить зеркала... Въ политику же, въ литературу и въ науку мы давно уже не вмѣшиваемся... Ни рожна мы въ этомъ не смыслимъ... Многіе изъ насъ сотрудничаютъ въ «Ребусѣ», есть даже такіе, которые бросили адъ и поступили въ люди... Эти отставные черти, поступившіе въ люди, женились на богатыхъ купчихахъ и отлично теперь живутъ. Одни изъ нихъ занимаются адвокатурой, другіе издають газеты, вообще очень дѣльные и уважаемые люди!

— Извините за нескромный вопросъ: какое содержаніе вы получаете?

— Положеніе у насъ прежнее-съ...—отвѣтилъ чортъ.— Штатъ нисколько не измѣнился... Попрежнему квартира, освѣщеніе и отопленіе казенныя... Жалованья же намъ не даютъ, потому что всѣ мы считаемся сверхштатными, и потому, что чортъ — должность почетная... Вообще, откровенно говоря, плохо живется, хоть по міру иди... Спасибо людямъ, научили насъ взятки брать, а то бы давно уже мы переколѣли... Только и живемъ доходами... Поставляешь грѣшникамъ провизію, ну и... хапнешь... Сатана постарѣлъ, ѣздитъ все на Цукки смотрѣть, не до отчетности ему теперь...

Лахматовъ налилъ чорту рюмку водки. Тотъ выпилъ и разговорился. Разказалъ онъ всѣ тайны ада, излилъ свою душу, поплакалъ и такъ понравился Лахматову, что тотъ оставилъ его даже у себя ночевать. Чортъ спалъ въ печкѣ и всю ночь бредилъ. Къ утру онъ исчезъ.

МОЙ РАЗГОВОРЪ СЪ ПОЧТМЕЙСТЕРОМЪ.

— Скажите, пожалуйста, Семень Алексѣичъ, — обратился я къ почтмейстеру, получая отъ него денежный пакетъ на одинъ (1) рубль: — зачѣмъ это къ денежнымъ пакетамъ прикладываютъ пять печатей?

— Нельзя безъ этого...—отвѣтилъ Семень Алексѣичъ, значительно пошевеливъ бровями.

— Почему же?

— А потому... Нельзя!

— Видите ли, насколько я понимаю, эти печати требуютъ жертвъ какъ со стороны обывателей, такъ и со стороны правительства. Увеличивая вѣсъ пакета, онѣ тѣмъ самымъ бьютъ по карману обывателя, отнимая же у чиновниковъ время для ихъ прикладыванія, онѣ наносятъ ущербъ казначейству. Если и приносятъ онѣ кому-нибудь видимую пользу, то развѣ только сургучнымъ фабрикантамъ...

— Надо же и фабрикантамъ чѣмъ-нибудь жить... — глубокомысленно замѣтилъ Семень Алексѣичъ.

— Это такъ, но вѣдь фабриканты могли бы приносить пользу отечеству и на другомъ поприщѣ... Нѣтъ, серьезно, Семень Алексѣичъ, какой смыслъ имѣютъ эти пять печатей? Нельзя же вѣдь думать, чтобы онѣ прикладывались зря! Имѣютъ онѣ значеніе символическое, пророческое, или иное какое? Если это не составляетъ государственной тайны, то объясните, голубчикъ!

Семень Алексѣичъ подумалъ, вздохнулъ и сказалъ:

— Мда... Стало-быть, безъ нихъ нельзя, ежели ихъ прикладываютъ!

— Почему же? Прежде, когда конверты были безъ под-

клейки, онъ, быть-можетъ, имѣли смыслъ, какъ предохранительное средство отъ посягателей, теперь же...

— Вотъ видите!—обрадовался почтмейстеръ.—А нешто посягателей нѣтъ?

— Теперь же,—продолжалъ я:—у конвертовъ есть подклейка изъ гумми-арабика, которая прочнѣе всякаго сургуча. Къ тому же вы запаковываете пакеты во столько бумагъ и тюковъ, что пробраться къ нимъ трудно даже инфузорию, а не то что вору. И отъ кого запечатывать, не понимаю! Публика у васъ не воруетъ, а ежели который изъ вашихъ нижнихъ чиновъ захочетъ посягнуть, такъ онъ и на печати не посмотритъ. Сами знаете, печать снять и опять къ мѣсту приложить—разъ плюнуть!

— Это вѣрно...—вздыхнулъ Семенъ Алексѣичъ.—Отъ своихъ воровъ не убережешься...

— Ну, вотъ видите! Къ чему же печати?

— Ежели во все входитъ...—протяжно произнесъ почтмейстеръ:—да обо всемъ думать, какъ, почему, да зачѣмъ, такъ это мозги раскорячатся, а лучше дѣлай такъ, какъ показано... Право!

— Это справедливо...—согласился я.—Но позвольте еще одинъ вопросъ... Вы специалистъ по почтовой части, а потому скажите, пожалуйста, отчего это, когда человѣкъ родится или женится, то не бываетъ такихъ процедуръ, какъ ежели онъ деньги отправляетъ или получаетъ? Взять для примѣра хоть мою мамашу, которая послала мнѣ этотъ самый рубль. Вы думаете, ей это легко пришлось? Нѣ-ѣтъ-съ, легче ей еще пятерыхъ дѣтей произвести, чѣмъ этотъ рубль послать... Судите сами... Прежде всего ей нужно было пройти три версты на почту. На почтѣ нужно долго стоять и ждать очереди. Цивилизація вѣдь не дошла еще на почтѣ до стульевъ и скамей! Старушка стоитъ, а тутъ ей: «Погодите! Не толпитесь! Прошу не облакачиваться!»

— Безъ этого нельзя...

— Нельзя, но позвольте... Дождалась очереди, сейчасъ пріемщикъ беретъ пакетъ, хмурится и бросаетъ назадъ. «Вы, говорить, забыли написать: «денежное»... Моя старушенція идетъ съ почты въ лавочку, чтобъ написать тамъ: «денежное», изъ лавочки опять на почту ждать очереди... Ну-съ, пріемщикъ опять беретъ пакетъ, считываетъ деньги и говоритъ: «Вашъ сургучъ?» А у моей мамашки этого сургуча даже въ воображеніи нѣтъ. Дома его дер-

жать не приходится, а въ лавочкѣ, сами знаете, гривенникъ за палочку стѣить. Приѣмщикъ, конечно, обижается и начинаетъ суслить пакетъ казеннымъ сургучомъ. Такія печати насуслить, что не лотами, а берковцами считать приходится. «Вашу, говоритъ, печатку!» А у моей мамы, кромѣ наперстка да стальныхъ очковъ—никакой другой мебели...

— Можно и безъ печати...

— Но позвольте... Засимъ слѣдуютъ вѣсовыя, страховыя, за сургучъ, за расписку, за... голова кружится! Чтобы рубль послать, непременно нужно съ собой на всякій случай два имѣть... Ну-съ, рубль записываютъ въ 20-ти книгахъ и наконецъ посылаютъ... Получаете теперь вы его здѣсь, на своей почтѣ. Вы первымъ дѣломъ его въ 20-ти книгахъ записываете, пятью нумерами нумеруете и за десять замковъ прячете, словно разбойника какого, или святотатца. Засимъ почтальонъ приносить мнѣ отъ васъ объявление, и я расписуюсь, что объявление получено такого-то числа. Почтальонъ уходитъ, а я начинаю ходить изъ угла въ уголь и роптать: «Ахъ, мамаша, мамаша! За что вы на меня прогнѣвались? И за какую такую провинность вы мнѣ этотъ самый рубль прислали? Вѣдь теперь умрешь отъ хлопотъ!»

— А на родителей грѣхъ роптать!—вздыхнул Семень Алексѣичъ.

— То-то вотъ оно и есть! Грѣхъ, но какъ не возроптать? Тутъ дѣла по горло, а ты иди въ полицію и удостовѣрай личность и подпись... Хорошо еще, что удостовѣреніе только 10—15 коп. стѣить,—а что, если бъ за него рублей пять брали? И для чего, спрашивается, удостовѣреніе? Вы, Семень Алексѣичъ, меня отлично знаете... И въ банѣ я съ вами бывалъ, и чай пивали вмѣстѣ, и умные разговоры разговаривали... Для чего же вамъ удостовѣреніе моей личности?

— Нельзя, форма!... Форма, сударь мой, это такой предметъ, что... лучше и не связываться... Формалистика, однимъ словомъ!

— Но вѣдь вы меня знаете!

— Мало ли что! Я знаю, что это вы, ну... а вдругъ это не вы? Кто васъ знаетъ! Можетъ, вы никогниго!

— И разсудили бы вы: какой мнѣ расчетъ поддѣлывать чужую подпись, чтобы украсть деньги? Вѣдь это подлогъ-съ! Гораздо меньшее наказаніе, ежели я просто приду

сюда къ вамъ и халну всѣ пакеты изъ сундука... Нѣтъ-съ, Семень Алексѣичъ, за границей это дѣло прощѣ поставлено. Тамъ почтальонъ входитъ къ вамъ и—«Вы такой-то? Получите деньги!»

— Не можетъ этого быть,—покачалъ головой почтмейстеръ.

— Вотъ вамъ и не можетъ быть! Тамъ все зиждется на взаимномъ довѣрїи... Я вамъ довѣряю, вы мнѣ... Намедни приходитъ ко мнѣ квартальный надзиратель получать судебныя издержки... Вѣдь я же не потребовалъ отъ него удостовѣренія личности, а такъ ему деньги отдалъ! Мы, обыватели, не требуемъ съ васъ, а вы...

— Ежели во все вникать,—перебилъ меня Семень Алексѣичъ, грустно усмѣхаясь:—да ежели все рѣшать, какъ, что, почему да зачѣмъ, такъ, по-моему, лучше...

Почтмейстеръ не договорилъ, махнулъ рукой и, подумавъ немного, сказалъ:

— Не нашего ума это дѣло!

1886.

ГРАЧЪ.

Грачи прилетѣли и толпами уже закружились надъ русской пашней. Я выбралъ самаго солиднаго изъ нихъ и началъ съ нимъ разговаривать. Къ сожалѣнїю, мнѣ попался грачъ-резонеръ и моралистъ, а потому бесѣда вышла скучная. Вотъ о чемъ мы бесѣдовали:

Я. Говорятъ, что вы, грачи, живете очень долго. Васъ да еще шукъ естествоиспытатели ставятъ образцомъ необыкновеннаго долготѣтя. Тебѣ сколько лѣтъ?

Грачъ. Мнѣ 376 лѣтъ.

Я. Ого! Однако! Нечего сказать, пожилъ! На твоемъ мѣстѣ, старче, я чортъ знаетъ сколько статей накаталъ бы въ «Русскую Старину» и въ «Историческій Вѣстникъ»! Проживи я 376 лѣтъ, то, воображаю, сколько бы я написалъ за это время рассказовъ, сценъ, мелочишекъ! Сколько бы я перебралъ гонорара! Что же ты, грачъ, сдѣлалъ за все это время?

Грачъ. Ничего, г. человекъ! Я только пилъ, ѣлъ, спалъ и размножался...

Я. Стыдись! Мнѣ и стыдно и обидно за тебя, глупая птица! Прожилъ ты на свѣтѣ 376 лѣтъ, а такъ же глупъ, какъ и 300 лѣтъ тому назадъ! Прогресса ни на грошъ!

Грачъ. Умъ дается, г. человѣкъ, не многолѣтнемъ, а воспитаніемъ и образованіемъ. Возьмите вы Китай... Прожилъ онъ гораздо больше меня, а между тѣмъ остался такимъ же балбесомъ, какимъ былъ и 1000 лѣтъ тому назадъ.

Я (продолжая изумляться). 376 лѣтъ! Вѣдь это что же такое! Цѣлая вѣчность! За это время я успѣлъ бы на всѣхъ факультетахъ побывать, успѣлъ бы 20 разъ жениться, перепробовалъ бы всѣ карьеры и должности, дослужился бы до чортъ знаетъ какого чина и, навѣрное бы, умеръ Ротшильдомъ! Вѣдь ты пойми, дура: одинъ рубль, положенный въ банкъ по 5 сложныхъ процентовъ, обращается черезъ 283 года въ миллионъ! Высчитай-ка! Стало-быть, если бы ты 283 года тому назадъ положилъ въ банкъ одинъ рубль, то у тебя теперь былъ бы миллионъ! Ахъ, ты, дуракъ, дуракъ! И тебѣ не обидно, не стыдно, что ты такъ глупъ?

Грачъ. Нисколько... Мы глупы, но зато можемъ утѣшаться, что за 400 лѣтъ своей жизни мы дѣлаемъ глупостей гораздо меньше, чѣмъ человѣкъ въ свои 40... Да-съ, г. человѣкъ! Я живу 376 лѣтъ, но ни разу не видѣлъ, чтобы грачи воевали между собой и убивали другъ друга, а вы не помните года, въ который не было бы войны... Мы не обираемъ другъ друга, не открываемъ ссудныхъ кассъ и пансіоновъ безъ древнихъ языковъ, не клеветаемъ, не шантажируемъ, не пишемъ плохихъ романовъ и стиховъ, не издаемъ ругательныхъ газетъ... Я прожилъ 376 лѣтъ и не видѣлъ, чтобы наши самки обманывали и обижали своихъ мужей,—а у васъ, г. человѣкъ? Между нами нѣтъ лакеевъ, подхалимовъ, подлипалъ, хриstopродавцевъ...

Но тутъ моего собесѣдника окликнули его товарищи, и онъ, не докончивъ своей тирады, полетѣлъ черезъ пашню.

1886.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ.

(Разсказъ для дѣвиць).

Валентинъ Петровичъ Передеркинъ, молодой человѣкъ пріятной наружности, одѣтъ фракную пару и лакированные ботинки съ острыми, колючими носками, вооружился шапо-клякомъ и, едва сдерживая волненіе, поѣхалъ къ княжнѣ Вѣрѣ Запискиной...

Ахъ, какъ жаль, что вы не знаете княжны Вѣры! Это милое, восхитительное созданіе съ кроткими глазами небесно-голубого цвѣта и съ шелковыми, волнистыми кудрями.

Волны морскія разбиваются объ утесъ, но о волны ея кудрей, наоборотъ, разобьется и разлетится въ прахъ любовью камень... Нужно быть безчувственнымъ балбесомъ, чтобы устоять противъ ея улыбки, противъ нѣги, которою такъ и дышитъ ея миниатюрный, словно выточенный бюстикъ. Ахъ, какую надо быть деревянной скотиной, чтобы не чувствовать себя на верху блаженства, когда она говоритъ, смѣется, показываетъ свои ослѣпительнобѣлые зубки.

Передеркина приняли...

Онъ сѣлъ противъ княжны и, изнемогая отъ волненія, началъ:

— Княжна, можете ли вы выслушать меня?

— О, да!

— Княжна... простите, я не знаю, съ чего пачать... Для васъ это такъ неожиданно... Экспромтно... Вы разсердитесь...

Пока онъ полѣзъ въ карманъ и доставалъ оттуда платокъ, чтобы отереть потъ, княжна мило улыбалась и восторженно глядѣла на него.

— Княжна!—продолжалъ ояъ.—Съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣлъ васъ, въ мою душу... запало непреодолимое желаніе... Это желаніе не даетъ мнѣ покоя ни днемъ ни ночью, и... если оно не осуществится, я... я буду несчастливъ.

Княжна задумчиво опустила глаза. Передеркинъ помолчалъ и продолжалъ:

— Вы, конечно, удивитесь... вы выше всего земного, но... для меня вы самая подходящая...

Наступило молчаніе.

— Тѣмъ болѣе, — вздохнулъ Передеркинъ: — что мое имѣніе граничитъ съ вашимъ... Я богатъ...

— Но... въ чемъ дѣло? — тихо спросила княжна.

— Въ чемъ дѣло? Княжна!—заговорилъ горячо Передеркинъ, поднимаясь.—Умоляю васъ, не откажите... Не разстройте вашимъ отказомъ моихъ плановъ. Дорогая моя, позвольте сдѣлать вамъ предложеніе!..

Валентинъ Петровичъ быстро сѣлъ, нагнулся къ княжнѣ и зашепталъ:

— Предложеніе въ высшей степени выгодное!.. Мы въ одинъ годъ продадимъ миллионъ пудовъ сала! Давайте построимъ въ нашихъ смежныхъ имѣніяхъ салотопенный заводъ на паяхъ!

Княжна подумала и сказала:

— Съ удовольствіемъ...

А читательница, ожидавшая мелодраматическаго конца, можетъ успокоиться.

1886.

НЫТЬЕ.

Милый другъ! Сейчасъ только кончилъ съ уборкой своей комнаты. Утомлень до мозга костей, рука плохо пишеть, и тѣмъ не менѣ сажусь за столъ и снѣшу полакомить себя бесѣдой съ такимъ хорошимъ человѣкомъ, какъ вы. Вчера я переѣхалъ на житье въ другую деревню, поближе къ Красноярску, но адресъ остается пока прежній. Изба у меня теперь просторная и сравнительно свѣтлая, по 3 рубля въ мѣсяцъ съ самоваромъ. Только во время топки бываетъ чадно, и ночью я чувствовалъ легкую тяжесть въ головѣ. Хозяйка моя старая-престарая старушенція, глухая, глуповата и, по всѣмъ видимостямъ, старовѣрка: по крайней мѣрѣ, когда я курю, она чихаетъ и не хочетъ со мной говорить. Житье мое попрежнему хмурое, сонное и однотонное. День идетъ за днемъ, ночь за ночью. Впрочемъ, уже не такъ скучно, какъ было раньше. Я привыкъ рано ложиться, учусь рисовать и выпиливаю разные бездѣлушки. Изрѣдка попадаютъ газеты, которыя я прочитываю съ жадностью, не пропуская даже объявленій. Пробовалъ даже отъ скуки написать свою «Исповѣдь», но получилась какая-то чепуха. Директоръ банка, прокуроръ и присяжные вышли у меня какими-то звѣрями, защитникъ — абрикосовой тянучкой, а самъ я — барашкомъ. Описание предварительнаго заключенія вышло слежливо и натянуто... И къ тому же, душа моя, описывать любовь, подчеркивать то обстоятельство, что растратилъ деньги не я, а любимая женщина, — это такъ пошло! Вы въ послѣднемъ письмѣ защищаете меня, но странный вы человѣкъ, вѣдь не она была бухгалтеромъ, а я! Впрочемъ, не будемъ говорить объ этомъ...

Третьяго-дня получилъ отъ сестры Нади лукутинскій

портсигаръ и дюжину носковъ. Одновременно съ посылкой пришло отъ нея письмо, въ которомъ бѣдная дѣвочка на четырехъ страницахъ беспокоится о моемъ здоровьѣ. Успокойте ее, дружище. Скажите, что я живъ и здоровъ, какъ быкъ. Увѣряю и васъ, что я здоровъ. Говоря, что я не чахну и не кашляю, я, честное слово, нисколько не утрирую. Впрочемъ, въ послѣднее время въ моемъ организмѣ продѣлываются какія-то непонятныя странности, — не серьезныя и, вѣроятно, нервнаго характера. Я не придаю имъ значенія, но возиться съ ними все-таки приходится. Со мною дѣлается что-то въ родѣ припадковъ. Отъ нихъ я не худѣю, но штука все-таки неприятная... Спросите-ка вы какого-нибудь московскаго доктора, чѣмъ мнѣ отъ нихъ избавиться? Описать вамъ свою болѣзнь въ общихъ чертахъ едва ли сумѣю, но вотъ вамъ исторія и картина моего послѣдняго припадка. Недѣлю тому назадъ, въ ночь подъ среду, я вдругъ проснулся отъ страшной зубной боли. Вы знаете, я всегда страдалъ зубами, но на этотъ разъ мои зубы особенно отличились. Проснувшись, я едва очнулся отъ невыносимой боли... Стрѣляло во всю щеку и отдавало даже въ руку. Я бѣгалъ, прыгалъ, плакалъ, — то пряталъ голову подъ подушку, то выставлялъ ее въ холодныя сѣни... Мысль, что мнѣ негдѣ и печѣмъ лѣчиться, еще болѣе усиливала мою муку... Я старался вспомнить, чтò я тамъ у себя дома предпринималъ въ подобныхъ случаяхъ... Я вспомнилъ одеколонъ, iodъ, всякаго рода эликсиры, спасительный копякъ, т.-е. все то, чего у меня здѣсь нѣтъ... Попросилъ у хозяевъ водки, чтобы пополоскать зубы, но они не дали, солгавъ, что у нихъ ея нѣтъ. Не могу, дорогой мой, передать вамъ всего того, чтò я страдалъ въ эту ужасную, длинную ночь!.. Представьте вы себѣ потемки, угаръ, запахъ овчины... Время тянется, тянется, и нѣтъ ему конца, точно оно остановилось на одномъ мѣстѣ. Около меня ни одной живой души... Круглое одиночество слышится въ каждомъ моемъ шагѣ, въ каждомъ стопѣ... Воспоминанія страшны, надеждъ нѣтъ... А тутъ еще, точно желая показать свое равнодушіе къ моимъ страданіямъ, въ темныя окна монотонно и неласково стучитъ холодный, осенній дождь... Другъ мой, простите за сентиментальность: если когда-нибудь въ такую ночь вамъ придется встрѣтить больнаго, холоднаго, голоднаго, то, прошу васъ, дайте ему пріютъ! Не вѣрьте тѣмъ, которые,

сидя въ теплыхъ и свѣтлыхъ кабинетахъ, отрицають копеечную милостыню и временную помощь! Не отказывайте въ пятакѣ на ночлегъ... (Последнія строки зачеркнуты, но разобрать ихъ все-таки удалось). Не помню, какъ разсвѣло и началось утро... Помню только, что и утромъ я плакалъ, прыгалъ и держался обѣими руками за щеку. Обыкновенно моя зубная боль продолжается дня три-четыре, въ этотъ же разъ она кончилась гораздо раньше. Дѣло въ томъ, что часу въ девятомъ утра я получилъ отъ почтеннаго Осипа Ивановича, о которомъ я писалъ вамъ, нѣсколько номеровъ газеты (онъ снабжаетъ меня не только чайной посудой, но и газетами, которыя въ свою очередь получаетъ изъ третьихъ рукъ). Въ одномъ изъ этихъ номеровъ я увидѣлъ мѣсто, очерченное краснымъ карандашомъ, вѣроятно, рукою услужливаго Осипа Ивановича. Можете представить мое изумленіе! Это мѣсто касалось моей особы... Въ немъ описывается, какъ бывший бухгалтеръ такого-то банка, осужденный за подлогъ и растрату, живетъ въ ссылке... Изъ этого «слуха, сообщаемаго намъ изъ достовѣрнаго источника», я узналъ, что я катаюсь на рысакѣхъ, выписываю для содержанокъ платья изъ Парижа, пью шампанское, какъ воду, вращаю судьбами клуба и т. д. Я, немѣющийся глотка водки для больного зуба, считаюсь мѣстнымъ законодателемъ моды, заражаю округъ своимъ распутствомъ и пагlostью, бравирую положеніемъ вора, много укравшаго и умѣвшаго спрятать! Вся эта ложь пересыпана такими лестными для меня эпитетами, какъ душка, хлыщъ, валетъ, шуллеръ и т. п. Въ общемъ, читатели приглашаются посѣтовать на слабость кары, посмѣяться и плюнуть по моему адресу...

Прочелъ я этотъ «достоверный слухъ» раза три, точно не вѣря глазамъ своимъ... Человѣкъ я маленькій, натура не крупная... Я не пренебрегъ, какъ бы слѣдовало, не плюнулъ, а далъ полную волю своей тряпичности. Со мной начался припадокъ. Сначала я заплакалъ горько и громко, какъ ребенокъ. Потомъ всего меня охватила злоба... Не помня себя, я, какъ бѣшеный, разорвалъ газету на мельчайшіе кусочки, сталъ топтать ее ногами и посылать въ воздухъ самыя отборныя, извозничія ругательства... Я бѣгалъ по всей избѣ, жаловался, топалъ ногами, стучалъ кулаками, ударилъ скамьей ни въ чемъ неповинную собаку... Сознаніе полной беззащитности, воспоминанія, тоска

по родинѣ, чувство погибшей молодости, зубная боль — все это сконцентрировалось въ одну тяжелую гирю, которая давила мой мозгъ и возбуждала меня до ярости, до безумства... Помню, въ концѣ концовъ я лежалъ на кровати и просилъ, чтобы меня не держали, что моею головѣ и безъ воды холодно... Зубной боли я уже не чувствовалъ — не до нея мнѣ было...

И что у нихъ за охота бить лежачаго? Впрочемъ, не въ нихъ дѣло... Дня два послѣ припадка я ходилъ, какъ разбитый, съ головной болью и съ ломотой во всемъ тѣлѣ. Вотъ и все. Спросите какого-нибудь изъ вашихъ знакомыхъ эскулаповъ, что означаютъ сии припадки и какъ отъ нихъ избавиться? Если докторъ по письму пойметъ мою болѣзнь, то пусть пропишетъ что-нибудь, буде пожелаетъ; вы же купите лѣкарство и вышлите мнѣ его, взявъ денегъ на расходы у сестренки. О моихъ припадкахъ Надѣ — ни полслова.

Пришлите въ письмѣ почтовыхъ марокъ. Послѣзавтра день моего рожденія. Мнѣ стукнетъ ровно 28 лѣтъ. Въ эти годы добрые люди едва только науки кончаютъ, а я на манеръ «нашего пострѣла», который всюду послѣлъ, ухитрился уже пройти всю жизнь отъ аза до ижицы: и науки кончилъ, и своимъ домомъ жилъ, и подъ судомъ былъ, и въ Сибирь попалъ... Бываютъ же на свѣтѣ такія рѣдкія, даровитыя натуры! И то сказать: одному талантъ, другому два, а иному кукишъ съ масломъ. Если вздумаете расщедриться, то денегъ мнѣ не присылайте! Пришлите лучше табаку, чаю по возможности не плохого и какихъ-нибудь духовъ (голубчикъ, англійскихъ!). Теперь только вижу, до какой степени я избалованъ. Напримѣръ, меня всего коробитъ отъ того, что я пишу на дешевой почтовой бумагѣ... Мнѣ какъ-то странно, что бумага не гибка, не лоснится и не пахнетъ тѣмъ незабвеннымъ вѣтеркомъ, который вносила съ собой всегда N—e, когда приходила ко мнѣ...

Однако прощайте. Не забывайте и пишите. Крѣнко жму руку.

Весь вашъ N. N.

1886.

О БРЕННОСТИ.

(Масленичная тема для проповѣди).

Надворный совѣтникъ Семень Петровичъ Подтыкинъ сѣлъ за столъ, покрылъ свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпѣніемъ, сталъ ожидать того момента, когда начнутъ подавать блины... Передъ нимъ, какъ передъ полководцемъ, осматривающимъ поле битвы, разстилалась цѣлая картина... Посреди стола, вытянувшись во фронтъ, стояли стройныя бутылки. Тутъ были три сорта водокъ, кievская наливка, шато-ларозъ, рейнвейнъ и даже пузатый сосудъ съ произведеніемъ отцовъ бенедиктинцевъ. Вокругъ напитоковъ въ художественномъ безпорядкѣ тѣснились сельди съ горчичнымъ соусомъ, кильки, сметана, ернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунтъ), свѣжая семга и проч. Подтыкинъ глядѣлъ на все это и жадно глоталъ слонки. Глаза его подернулись масломъ, лицо покривило сладострастьемъ...

— Ну, можно ли такъ долго? — поморщился онъ, обращаясь къ женѣ. — Скорѣе, Катя!

Но вотъ. наконецъ показалась кухарка съ блинами... Семень Петровичъ, рискуя обжечь пальцы, схватилъ два верхнихъ, самыхъ горячихъ блина и аппетитно шлепнулъ ихъ на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, какъ плечо купеческой дочки... Подтыкинъ пріятно улыбнулся, икнулъ отъ восторга и облилъ ихъ горячимъ масломъ. Засимъ, какъ бы разжигая свой аппетитъ и наслаждаясь предвкушеніемъ, онъ медленно, съ разстановкой обмазалъ ихъ икрой. Мѣста, на которыя не попала икра, онъ облилъ сметаной... Оставалось теперь только ѣсть, не правда ли? Но нѣтъ!.. Подтыкинъ взглянулъ на дѣла рукъ своихъ и не удовлетворился... Подумавъ немного, онъ положилъ на блины самый жирный кусокъ семги, кильку и сардинку, потомъ ужъ, мѣтя и задыхаясь, свернулъ оба блина въ трубку, съ чувствомъ выпилъ рюмку водки, крикнулъ, раскрылъ ротъ...

Но тутъ его хватилъ апоплексическій ударъ.

1886.

ВСТРѢЧА.

А зачѣмъ у него свѣтящіеся глаза, маленькое ухо, короткая и почти круглая голова, какъ у самыхъ свирѣпыхъ хищныхъ животныхъ?

Максимовъ.

Ефремъ Денисовъ тоскливо поглядѣлъ кругомъ на пустынную землю. Его томила жажда, и во всѣхъ членахъ стояла ломота. Конь его, тоже утомленный, распаленный зноемъ и давно не ѣвшій, печально понурилъ голову. Дорога отлого спускалась внизъ по бугру и потомъ убѣгала въ громадный хвойный лѣсъ. Вершины деревьевъ сливались вдали съ синевой неба, и виденъ былъ только лѣтливый полетъ птицъ, да дрожаніе воздуха, какое бываетъ въ очень жаркіе лѣтніе дни. Лѣсъ громоздился террасами, уходя вдали все выше и выше, и казалось, что у этого страшнаго, зеленаго чудовища нѣтъ конца.

Ѣхалъ Ефремъ изъ своего роднаго села Курской губерніи собирать на погорѣвшій храмъ. Въ телѣгѣ стоялъ образъ Казанской Божіей Матери, пожухлый и полуипившійся отъ дождей и жара, передъ нимъ большая жестяная кружка съ вдавленными боками и съ такой щелью на крышкѣ, въ какую смѣло могъ бы пролѣзть добрый ржаной пряникъ. На бѣлой вывѣскѣ, прибитой къ задку телѣги, крупными печатными буквами было написано, что такого-то числа и года въ селѣ Малиновцахъ «по произволу Господа пламенемъ пожара истребило храмъ», и что мірской сходъ съ разрѣшенія и благословенія надлежащихъ властей постановилъ послать «доброхотныхъ желателей» за сборомъ подаянія на построеніе храма. Сбоку

телѣги на перекладникѣ висѣлъ двадцатифунтовый колоколь.

Ефремъ никакъ не могъ понять, гдѣ онъ находился, а лѣсная громада, куда исчезала дорога, не обѣщала ему близкаго жилья. Постоявъ недолго, поправивъ шлею, онъ началъ осторожно спускаться съ бугра. Телѣга вздрогнула, и колоколь издалъ звукъ, нарушившій ненадолго мертвую тишину знойнаго дня.

Въ лѣсу ждала Ефрема атмосфера удушливая, густая, насыщенная запахами хвои, мха и гниющихъ листьевъ. Слышенъ легкій звенящій стонъ назойливыхъ комаровъ да глухіе шаги самого путника. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, скользятъ по стволамъ, по нижнимъ вѣтвямъ и небольшими кругами ложатся на темную землю, сплошь покрытую иглами. Кое-гдѣ у стволовъ мелькнетъ папоротникъ или жалкая костенюка, а то хоть шаромъ покати.

Ефремъ шелъ сбоку телѣги и торопилъ лошадь. Колоколь изрѣдка, когда колеса наѣзжали на корневище, ползущее змѣей черезъ дорогу, жалобно позвякивалъ, какъ будто и ему хотѣлось на покой.

— Здорово, папаша!—улышалъ вдругъ Ефремъ рѣзкій крикливый голосъ.—Путь-дорога!

У самой дороги, положивъ голову на муравейный холмикъ, лежалъ длинноногій мужикъ, лѣтъ 30-ти, въ сѣтцовой рубахѣ и въ узкихъ, не мужицкихъ штанахъ, засунутыхъ въ короткія рыжія голенища. Около головы его валялась форменная чиновничья фуражка, полная до такой степени, что только по пятышку, оставшемуся послѣ кокарды, и можно было угадать ея первоначальный цвѣтъ. Лежалъ мужикъ непокойно: все время, пока разсматривалъ его Ефремъ, онъ дергалъ то руками, то ногами, точно его донимали комары или безпокоила чесотка. Но ни одежда, ни движенія, ничто не было такъ странно въ немъ, какъ его лицо. Ефремъ раньше во всю свою жизнь не видалъ такихъ лицъ. Блѣдное, жидковолосое, съ выдающимся впередъ подбородкомъ и съ чубомъ на головѣ, оно въ профиль походило на молодой мѣсяць: носъ и уши поражали своей мелкостью, глаза не мигали, глядѣли неподвижно въ одну точку, какъ у дурачка или удивленнаго, и, въ довершеніе странности лица, вся голова казалась сплюснутой съ боковъ, такъ что затылочная часть черепа выдавалась назадъ правильнымъ полукругомъ.

— Православный, — обратился къ нему Ефремъ: — далече ли тутъ до деревни?

— Нѣтъ, не далече. До села Малаго верстъ пять осталось.

— Бѣда, какъ пить хочется!

— Какъ не хотѣть! — сказалъ странный мужикъ и усмѣхнулся. — Жарить не приведи Богъ какъ! Жара, почитай, градусовъ въ пятьдесятъ, а то и больше... Тебя какъ звать?

— Ефремъ, парень...

— Ну, а меня—Кузьма... Чай, слыхалъ, какъ свахи говорить: я за своего Кузьму кого хочешь возьму.

Кузьма сталъ одной ногой на колесо, вытянулъ губы и приложился къ образу.

— А далече ѣдешь?—спросилъ онъ.

— Далече, православный! Былъ и въ Курскомъ, и въ самой Москвѣ былъ, а теперь поспѣшаю въ Нижний на арманку.

— На храмъ собираешь?

— На храмъ, парень... Царицѣ Небесной Казанской... Погорѣлъ храмъ-то!

— Отчего погорѣлъ?

Лѣниво поворачивая языкомъ, Ефремъ сталъ рассказывать, какъ у нихъ въ Малиновцахъ подъ самый Ильинъ день молнія ударила въ церковь. Мужики и причтъ, какъ нарочно, были въ полѣ.

— Ребята, которые остались, завидѣли дымъ, хотѣли было въ набатъ ударить, да, зная, прогнѣвался Илья-пророкъ, церковь была заперши, и колокольную всю какъ есть полымемъ обхватило, такъ что и не достанешь того набата... Приходимъ съ поля, а церковь, Боже мой, такъ и пышетъ — подступиться страшно!

Кузьма шелъ рядомъ и слушалъ. Былъ онъ трезвъ, но шелъ, точно пьяный, размахивая руками, то сбоку телѣги, то впереди...

— Ну, а ты какъ? На жалованьи, что ли?—спросилъ онъ.

— Какое наше жалованье! За спасенье души ѣздимъ, мѣръ послалъ...

— Такъ задаромъ и ѣдешь?

— А кто жъ будетъ платить? Не по своей охотѣ ѣду, мѣръ послалъ, да вѣдь мѣръ за меня и хлѣбъ уберетъ, и рожь посѣетъ, и повинности справить... Стало-быть, не задаромъ!

— А живешь чѣмъ?

— Христа-ради.

— Меринокъ-то у тебя мірской?

— Мірской...

— Та-акъ, братецъ ты мой... Покурить у тебя нѣту?

— Не курю, парень.

— А ежели у тебя лошадь издохнетъ, что тогда дѣлать станешь? На чемъ поѣдешь?

— Зачѣмъ ей дохнуть? Не надо дохнуть...

— Ну, а ежели... разбойники на тебя нападуть?

И болтливый Кузьма спросилъ еще: куда дѣнутся деньги и лошадь, если самъ Ефремъ умретъ? куда народъ будетъ класть монету, если кружка вдругъ окажется полной? что, если у кружки дно провалится, и т. п. А Ефремъ, не успѣвая отвѣчать, только отдувался и удивленно поглядывалъ на своего спутника.

— Какая она у тебя пузатая!—болталъ Кузьма, толкая кулакомъ кружку.—Ого, тяжелая! Небось, и серебра пропасть, а? А что, ежели бъ, скажемъ, тутъ одно только серебро было? Послушай, а много собралъ за дорогу?

— Не считалъ, не знаю. Народъ и мѣдь кладетъ, и серебро, а сколько—миѣ не видать.

— А бумажки кладутъ?

— Которые поблагороднѣй, господа или купцы, тѣ и бумажки подаютъ.

— Что жъ? И бумажки въ кружкѣ держишь?

— Не, зачѣмъ? Бумажка мягкая, она потрется... На грудяхъ держу...

— А много насбиралъ бумажками?

— Да рублей съ двадцать шесть насбиралъ.

— 26 цѣлковыхъ!—сказалъ Кузьма и пожалъ плечами.—У насъ въ Качабровѣ, спроси кого хочешь, строили церкву, такъ за одни планты было дадено три тыщи—во! Твоихъ денегъ и на гвозди не хватитъ! По-нынѣшнему время 26 цѣлковыхъ—разъ плюнуть!.. Нынче, братъ, купишь чай полтора цѣлковыхъ за фунтъ и пить не станешь... Сейчасъ вотъ, гляди, я курю табакъ... Миѣ онъ годится, потому я мужикъ, простой челоуѣкъ, а ежели какому офицеру или студенту...

Кузьма вдругъ всплеснулъ руками и продолжалъ, улыбаясь:

— Съ нами въ арестантской сидѣлъ нѣмецъ съ желѣзной дороги, такъ тотъ, братецъ ты мой, курилъ цыгары

по десяти копеекъ штука! А-а? По десяти копеекъ! Вѣдь этакъ, дѣдь, гляди, на сто цѣлковыхъ въ мѣсяцъ выкуришь!

Кузьма даже поперхнулся отъ пріятнаго воспоминанія, и неподвижные глаза его замигали.

— А нешто ты былъ въ арестантской? — спросилъ Ефремъ.

— Былъ, — отвѣтилъ Кузьма и поглядѣлъ на небо. — Второй день, какъ выпустили. Цѣлый мѣсяцъ сидѣлъ.

Вечеръ наступалъ, уже садилось солнце, а духота не уменьшалась. Ефремъ изнемогалъ и едва слушалъ Кузьму. Но вотъ наконецъ встрѣтился мужикъ, который сказалъ, что до Малаго осталась одна верста; еще немного — и телѣга выѣхала изъ лѣса, открылась большая поляна, и передъ путниками, точно по волшебству, раскинулась живая, полная свѣта и звуковъ картина. Телѣга вѣхала прямо въ стадо коровъ, овецъ и спутанныхъ лошадей. За стадомъ зеленѣли луга, рожь, ячмень, бѣлѣла цвѣтущая греча, а тамъ дальше видно было Малое съ темной, точно къ землѣ приплюснутой церковью. За селомъ далеко опять громоздился лѣсъ, казавшійся теперь чернымъ.

— Вотъ и Малое! — сказала Кузьма. — Мужики хорошо живутъ, но разбойники.

Ефремъ снялъ шапку и зазвонилъ въ колоколь. Тотчасъ же отъ колодца, который стоялъ у самаго края села, отдѣлились два мужика. Они подошли и приложились къ образу. Начались обычные разспросы: куда ѣдешь? откуда?

— Ну, родня, давай Божьему человѣку пить! — заболталъ Кузьма, хлопая по плечу то одного, то другого. — По-ворачивайся!

— Какая я тебѣ родня? По какому случаю?

— Хо-хо-хо! Вашъ попъ нашему попу двоюродный священникъ! Твоя баба моего дѣда изъ Краснаго села зачубъ вела!

Все время, пока телѣга ѣхала по селу, Кузьма неугомимо болталъ и привязывался ко всѣмъ встрѣчнымъ. Съ одного онъ сорвалъ шапку, другому ткнулъ кулакомъ въ животъ, третьяго потрогалъ за бороду. Бабъ называлъ онъ милыми, душечками, мамашами, а мужиковъ, соображаясь съ особыми примѣтами, рыжими, гнѣдыми, носастыми, кривыми и т. п. Все это возбуждало самый живой и искренній смѣхъ. Скоро у Кузьмы нашлись и

знакомые. Послышались возгласы: «А, Кузьма Шкворень! Здравствуй, вѣшанный! Давно ли изъ острога вернулся?»

— Эй, вы, подавайте Божьему человѣку!—болталъ Кузьма, размахивая руками.—Поворачивайся! Живо!

И онъ важно держался и покрикивалъ, какъ будто взять Божьяго человѣка подъ свое покровительство или же былъ его проводникомъ.

Ефрему отвели для ночлега избу бабки Авдотьи, гдѣ обыкновенно останавливались странники и прохожіе. Ефремъ, не снѣша, отпрягъ коня и сводилъ его на водопой къ колодцу, гдѣ полчаса разговаривалъ съ мужиками, а потомъ ужъ пошелъ на отдыхъ. Въ избѣ поджидалъ его Кузьма.

— А, пришелъ!—обрадовался странный мужикъ.—Пойдешь въ трактиръ чай пить?

— Чайку попить... оно бы ничего,—сказалъ Ефремъ, почесываясь:—оно бы ничего, да денегъ нѣтъ, парень. Угостишь нешто?

— Угостишь... А на какія деньги?

Кузьма постоялъ, разочарованный, въ раздумьѣ и сѣлъ. Неуклюже поворачиваясь, вздыхая, почесываясь, Ефремъ поставилъ икону и кружку подъ образами, раздѣлся, разулся, посидѣлъ, затѣмъ поднялся и переставилъ кружку на лавку, опять сѣлъ и сталъ ѣсть. Жевалъ онъ медленно, какъ коровы жуютъ жвачку, громко хлебая воду.

— Бѣдность наша!—вздыхнулъ Кузьма.—Теперь бы водочки... чайку бы...

Два окошка, выходившихъ на улицу, слабо пропускали вечерній свѣтъ. На деревню легла уже большая тѣнь, избы потемнѣли; церковь, сливаясь въ потемкахъ, росла въ ширину и, казалось, уходила въ землю... Слабый красный свѣтъ, должно-быть отраженіе вечерней зарі, ласково мигалъ на ея крестѣ. Поѣвши, Ефремъ долго сидѣлъ неподвижно, сложивъ руки на колѣняхъ, и глядѣлъ на окно. О чемъ онъ думалъ? Въ вечерней тишинѣ, когда видишь передъ собой одно только тусклое окно, за которымъ тихо-тихо замираетъ природа, когда доносится сильный лай чужихъ собакъ и слабый визгъ чужой гармоникі, трудно не думать о далекомъ родномъ гнѣздѣ. Кто былъ странникомъ, кого нужда, неволя или прихоть забрасывали далеко отъ своихъ, тотъ знаетъ, какъ длиненъ и томителенъ бываетъ деревенскій вечеръ на чужой сторонѣ.

Потомъ Ефремъ долго стоялъ передъ своимъ образомъ и

молился. Укладываясь на скамьѣ спать, онъ глубоко вздохнулъ и проговорилъ какъ бы нехотя:

— Несообразный ты... Какой-то ты такой, Богъ тебя знаетъ...

— А что?

— А то... На настоящаго человѣка не похожъ... Зубы скалишь, болтаешь непутевое, да вотъ изъ арестантской идешь...

— Легко ли дѣло! Въ арестантской, бываетъ, и хорошіе госюда сидятъ... Арестантская, братъ, это ничего, пустяковое дѣло, хоть цѣлый годъ сидѣть могу, а вотъ ежели острогъ, то бѣда. Сказать по правдѣ, я уже раза три въ острогѣ сидѣлъ, и нѣтъ той недѣли, чтобъ меня въ волости не драли... Озлобились все, проклятые... Собирается общество въ Сибирь сослать. Ужъ и приговоръ такой составили.

— Стало-быть, хорошъ!

— А мнѣ что? И въ Сибири люди живутъ.

— Отецъ и мать-то у тебя есть?

— Ну ихъ! Живы еще, не поколѣли...

— А чти отца твоего и матеръ твою?

— Пуцай... Я такъ понимаю, что они первые мнѣ злодѣи и душегубцы. Кто противъ меня мѣръ натравилъ? Они да дядька Степанъ. Больше никому.

— Много ты знаешь, дуракъ... Мѣръ и безъ твоего дядьки Степана чувствуетъ, какой ты человѣкъ есть. А за что это тебя здѣшніе мужики вѣшанымъ зовутъ?

— А когда я мальчикомъ былъ, такъ наши мужики чуть-было меня не убили. Повѣсили за шею на дерево, проклятые, да, спасибо, ермолинскіе мужики ѣхали мимо, отбили...

— Вредный членъ общества!..—проговорилъ Ефремъ и вздохнулъ.

Онъ повернулся лицомъ къ стѣнкѣ и скоро захрапѣлъ.

Когда онъ проснулся среди ночи, чтобъ поглядѣть на лошадь, Кузмы въ избѣ не было. Около открытой настежь двери стояла бѣлая корова, заглядывала со двора въ сѣни и стучала рогомъ о косякъ. Собаки спали... Въ воздухѣ было тихо и спокойно. Гдѣ-то далеко, за тѣнями въ ночной тининѣ кричалъ дергачъ, да протяжно всхлипывала сова.

А когда онъ проснулся въ другой разъ на разсвѣтѣ, Кузма сидѣлъ на скамьѣ за столомъ и о чемъ-то думалъ.

На его блѣдномъ лицѣ застыла пьяная, блаженная улыбка. Какія-то радужныя мысли бродили въ его приплюснутой головѣ и возбуждали его; онъ дышалъ часто, точно запыхался отъ ходьбы на гору.

— А, Божій человекъ!—сказалъ онъ, замѣтивъ пробужденіе Ефрема, и ухмыльнулся.—Хочешь бѣлой булки?

— Ты гдѣ былъ?—спросилъ Ефремъ.

— Гы-ы!—засмѣялся Кузьма.—Гы-ы!

Разъ десять со своею странною, неподвижною улыбкой произнесъ онъ это «гы-ы!», и наконецъ затрясся отъ судорожнаго смѣха.

— Чай... чай пиль, — выговорилъ онъ сквозь смѣхъ.— Во...водку пиль!

И онъ сталъ рассказывать длинную исторію о томъ, какъ онъ въ трактирѣ съ заѣзжими фуричиками пиль чай и водку; и, рассказывая, вытаскивалъ изъ кармановъ спички, четвертку табаку, баранки..

— Чведскія спички!—во! Пшш!—говорилъ онъ, сжигая подъ рядъ нѣсколько спичекъ и закуривая папиросу.— Чведскія, настоящія! Погляди!

Ефремъ зѣвалъ и почесывался, но вдругъ точно его что-то больно укусило, онъ вскочилъ, быстро поднялъ вверхъ рубаху и сталъ ощупывать голую грудь; потомъ, топчась около скамьи, какъ медвѣдь, онъ перебралъ и переглядѣлъ все свое тряпье, заглянулъ подъ скамью, опять ощупалъ грудь.

— Деньги пропали!—сказалъ онъ.

Полминуты Ефремъ стоялъ, не шевелясь, и тупо глядѣлъ на скамью, потомъ опять принялся искать.

— Мать Пречистая, деньги пропали! Слышишь?—обратился онъ къ Кузьмѣ.—Деньги пропали!

Кузьма внимательно разсматривалъ рисунокъ на коробкѣ со спичками и молчалъ.

— Гдѣ деньги?—спросилъ Ефремъ, дѣлая шагъ къ нему.

— Какія деньги?—небрежно, сквозь зубы, процѣдилъ Кузьма, не отрывая глазъ отъ коробки.

— А тѣ деньги... эти самыя, что у меня на грудяхъ были!..

— Чего присталъ? Потерялъ, такъ ищи!

— Да гдѣ ищи? Гдѣ онѣ?

Кузьма поглядѣлъ на багровое лицо Ефрема и самъ побагровѣлъ.

— Какія деньги?—закричалъ онъ, вскакивая.

— Деньги! 26 рублей!

— Я ихъ взялъ, что ли? Пристаешь, сволочь!

— Да что сволочь! Ты скажи, гдѣ деньги?

— А я ихъ бралъ, твои деньги? Бралъ? Ты говори: бралъ? Я тебѣ, проклятый, покажу такія деньги, что ты отца-мать не узнаешь!

— Ежели ты не бралъ, зачѣмъ же ты харю воротилъ? Стало-быть, ты взялъ! Да и то сказать, на какія деньги всю ночь въ трактирѣ гулялъ и табакъ покупалъ? Глупый ты человекъ, несообразный! Нешто ты меня обидѣлъ? Ты Бога обидѣлъ!

— Я... я бралъ? Когда я бралъ?—закричалъ высокимъ, визжащимъ голосомъ Кузьма, размахнулся и ударилъ кулакомъ по лицу Ефрема.—Вотъ тебѣ! Хочешь, чтобъ еще влетѣло? Я не погляжу, что ты Божій человекъ!

Ефремъ только встряхнулъ головой и, не сказавъ ни слова, сталъ обуваться.

— Ишь, жуликъ!—продолжалъ кричать Кузьма, все болѣе возбуждаясь.—Самъ пропилъ, а на людей путаешь, старая собака! Я судиться буду! За наговоръ ты у меня насидишься въ острогѣ!

— Ты не бралъ, ну и молчи,—покойно отвѣтилъ Ефремъ.

— На, обыскивай!

— Ежели ты не бралъ, зачѣмъ же мнѣ... тебя обыскивать? Не бралъ, ну и ладно... Кричать нечего, не перекричишь Бога-то...

Ефремъ обулся и вышелъ изъ избы. Когда онъ вернулся, Кузьма, все еще красный, сидѣлъ у окна и дрожащими руками закуривалъ напиросу.

— Старый чортъ, —ворчалъ онъ.—Много васъ тутъ ѣздить, людей морочить. Не на такого наскочилъ, братъ! Меня не обжулишь. Я самъ всѣ эти самыя дѣла отлично понимаю. Посылай за старостой!

— Зачѣмъ это?

— Протоколъ составить! Пушай насъ въ волостномъ разсудятъ!

— Насъ нечего судить! Не мои деньги, Божьи... Ужо Богъ разсудить.

Ефремъ помолился и, взявъ кружку и образъ, вышелъ изъ избы.

Часъ спустя телѣга уже вѣзжала въ лѣсъ. Малое

съ приплюснутой церковью, поляна и полосы ржи были уже позади и тонули въ легкомъ утреннемъ туманѣ. Солнце взошло, но не поднималось еще изъ-за лѣса и золотило только края облаковъ, обращенные къ восходу.

Кузьма шель поодаль за телѣгой. Видь у него былъ такой, какъ будто его страшно и незаслуженно оскорбили. Ему очень хотѣлось говорить, но онъ молчалъ и ждалъ, когда начнетъ говорить Ефремъ.

— Неохота связываться съ тобой, а то загудѣлъ бы ты у меня.—проговорилъ онъ какъ бы про себя.—Я бы тебѣ показаль, какъ на людей путать, чортъ лысый...

Прошло въ молчаніи еще съ полчаса. Божій человекъ, молившійся на ходу Богу, быстро закрестился, глубоко вздохнулъ и полѣзъ въ телѣгу за хлѣбомъ.

— Вотъ въ Телибѣево приѣдемъ,—началь Кузьма:—тамъ нашъ мировой живетъ. Подавай прошеніе!

— Зря болтаешь. Какая надобность мировому? Нешто его деньги? Деньги Божьи. Передъ Богомъ ты отвѣтчикъ.

— Зарядилъ: Божьи! Божьи! словно ворона. Такое дѣло, что ежели я укралъ, то пуцай меня судять, а ежели я не укралъ, то тебя за наговоръ.

— Есть мнѣ время по судамъ ходить!

— Стало-быть, тебѣ денегъ не жалко?

— Чтò мнѣ жалѣть? Деньги не мои, Божьи...

Ефремъ говорилъ неохотно, спокойно, и лицо его было равнодушно и безстрастно, точно онъ въ самомъ дѣлѣ не жалѣлъ денегъ, или же забылъ о своей потерѣ. Такое равнодушіе къ потерѣ и къ преступленію видимо смущало и раздражало Кузьму. Для него оно было непонятно.

Естественно, когда на обиду отвѣчаютъ хитростью и силой, когда обида влечетъ за собою борьбу, которая самого обидчика ставитъ въ положеніе обиженного. Если бы Ефремъ поступилъ по-человѣчески, т.-е. обидѣлся, полѣзъ бы драться и жаловаться, если бы мировой присудилъ въ тюрьму, или рѣшилъ: «доказательствъ нѣтъ», Кузьма успокоился бы; но теперь, идя за телѣгой, онъ имѣлъ видъ человекъ, которому чего-то недостаетъ.

— Я не бралъ у тебя денегъ!—сказаль онъ.

— Не бралъ, ну и ладно.

— Доѣдемъ до Телибѣева, я кликну старосту. Пуцай... онъ разбереть...

— Нечего ему разбирать. Не его деньги. А ты, парень, отсталъ бы. Иди своей дорогой! Опостылѣлъ!

Кузьма долго поглядывалъ на него искоса, не понимая его, желая разгадать, о чемъ онъ думаетъ, какой страшный замыселъ таится въ его душѣ, и наконецъ рѣшился заговорить по-иному.

— Эхъ, ты, пава, и посмѣяться съ тобой нельзя, сейчасъ и обижаешься... Ну, ну... возьми твои деньги! Я въ шутку.

Кузьма досталъ изъ кармана нѣсколько рублевыхъ бумажекъ и подалъ ихъ Ефрему. Тотъ не удивился и не обрадовался, а какъ будто ждалъ этого, взялъ деньги и, ни слова не говоря, сунулъ ихъ въ карманъ.

Я посмѣяться хотѣлъ,—продолжалъ Кузьма, пытливо взглядываясь въ его безстрастное лицо.—Попужать пришла охота. Думалъ такъ, попужаю и отдамъ поутру... Всѣхъ денегъ было 26 цѣлковыхъ, а тутъ десять, не то девять... Фурщики у меня отняли... Ты не серчай, дѣдь... Не я пропилъ, фурщики... Ей-Богу!

— Что мнѣ серчать? Деньги Божьи... Не меня ты обидѣлъ, а Царицу Небесную...

— Я, можесть, только цѣлковый и пропилъ.

— Мнѣ-то что? Хоть все возьми да пропей... Цѣлковый ли ты, копейку ли, для Бога все единственно. Одинъ отвѣтъ.

— А ты не серчай, дѣдь. Право, не серчай. Чего тамъ!

Ефремъ молчалъ. Лицо Кузьмы заморгало и приняло дѣтски-плачущее выраженіе.

— Прости Христа-ради!—сказалъ онъ, умоляюще глядя Ефрему въ затылокъ.—Ты, дядя, не обижайся. Я это въ шутку.

— Э, присталь!—сказалъ раздраженно Ефремъ.—Говорю тебѣ: не мои деньги! Проси у Бога, чтобъ простилъ, а мое дѣло сторона!

Кузьма поглядѣлъ на образъ, на небо, на деревья, какъ бы ища Бога, и выраженіе ужаса перекосило его лицо. Подъ вліяніемъ лѣсной тишины, суровыхъ красокъ образа и безстрастія Ефрема, въ которыхъ было мало обыденнаго и человѣческаго, онъ почувствовалъ себя одинокимъ, беспомощнымъ, брошеннымъ на произволъ страшнаго, гнѣвнаго Бога. Онъ забѣжалъ впередъ Ефрема и сталъ глядѣть ему въ глаза, какъ бы желая убѣдиться, что онъ не одинъ.

— Прости Христа-ради!—сказалъ онъ, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ.—Дѣдь, прости!

— Отстань!

Кузьма еще разъ быстро оглядѣлъ небо, деревья, телѣгу съ образомъ и повалился въ ноги Ефрему. Въ ужасѣ онъ бормоталъ неясныя слова, стучалъ лбомъ о землю, хваталъ старика за ноги и плакалъ громко, какъ ребенокъ.

— Дѣдушка, родненькій! Дяденька! Божій человекъ!

Ефремъ сначала въ недоумѣннй пятился и отстранялъ его отъ себя руками, но потомъ и самъ сталъ пугливо поглядывать на небо. Онъ почувствовалъ страхъ и жалость къ вору.

— Пстой, парень, слушай!— началъ онъ убѣждать Кузьму. — Да ты послушай, что я скажу тебѣ, дураку! Э, реветъ, словно баба! Слушай, хочешь, чтобъ Богъ простилъ,—такъ, какъ прїѣдешь къ себѣ въ деревню, сейчасъ къ попу ступай... Слышишь?

Ефремъ сталъ объяснять Кузьмѣ, что нужно сдѣлать, чтобы загладить грѣхъ: нужно покаяться попу, наложить на себя эпитимію, потомъ собрать и выслать въ Малиновцы украденныя и пропитыя деньги и въ предбудущее время вести себя тихо, честно, трезво, по-христіански. Кузьма выслушалъ его, мало-по-малу успокоился и ужъ, казалось, совсѣмъ забылъ про свое горе: дразнилъ Ефрема, болталъ... Ни на минуту не умолкая, онъ рассказывалъ опять про людей, живущихъ въ свое удовольствіе, про арестантскую и нѣмца, про острогъ, однимъ словомъ, про все то, о чемъ рассказывалъ вчера. И онъ хохоталъ, всплескивалъ руками, благоговѣнно пятился, точно рассказывалъ что-нибудь новое. Выражался онъ складно, на манеръ бывалыхъ людей, съ прибаутками и поговорками, но слушать его было тяжело, такъ какъ онъ повторялся, то и дѣло останавливался, чтобы вспомнить внезапно потерянную мысль, и при этомъ морщилъ лобъ и кружился на одномъ мѣстѣ, размахивая руками. И какъ онъ хвасталъ, какъ лгалъ!

Въ полдень, когда телѣга остановилась въ Телибѣевѣ, Кузьма пошелъ въ кабакъ. Часа два отдыхалъ Ефремъ, а онъ все не выходилъ изъ кабака. Слышно было, какъ онъ бранился тамъ, хвасталъ, стучалъ по прилавку, и какъ смѣялись надъ нимъ пьяные мужики. А когда Ефремъ выѣзжалъ изъ Телибѣева, въ кабакъ начиналась драка, и Кузьма звонкимъ голосомъ грозилъ кому-то и кричалъ, что пошлетъ за урядникомъ.

1887.

РАНО!

Въ селѣ Шальновѣ звонять къ заутренѣ. Солнце на горизонтѣ уже цѣлуется съ землей, побагровѣло и скоро спрячется. Въ кабацѣ Семена, переименованномъ недавно въ трактиръ—титულъ, совсѣмъ не идущій избенкѣ съ ошипанной крышей и съ парой тусклыхъ окошекъ—сидятъ двое охотниковъ-мужиковъ. Одного изъ нихъ зовутъ Филимономъ Слюнкой. Это старикъ лѣтъ 60, бывшій дворовый графовъ Завалиныхъ, по профессіи слесарь, служившій когда-то на гвоздильной фабрицѣ, прогнаный за пьянство и лѣнь, и нынѣ живущій на иждивеніи своей жены-старухи, просящей милостыню. Онъ тощъ, хилъ, съ облѣзлой бороденкой, говоритъ съ присвистомъ и послѣ каждаго слова моргаетъ правой стороной лица и судорожно подергиваетъ правымъ плечомъ. Другой, Игнатъ Рябовъ, здоровенный, плечистый мужикъ, никогда ничего не дѣлающій и вѣчно молчащій, сидитъ въ углу подъ большой вязкой баранокъ. Дверь, открытая внутрь, бросаетъ на него густую тѣнь, такъ что Слюнкѣ и кабатчику Семену видны только его латанная колѣни, длинный мясистый носъ и большой чубъ, выбившійся на волю изъ густой нечесанной путаницы, покрывающей его голову. Семень, маленькій, болѣзненный человѣчекъ съ длинной жилистой шеей и съ блѣднымъ лицомъ, стоитъ за прилавкомъ, печально глядитъ на вязку баранокъ и смиренно покашливаетъ.

— Ты тапереча разсуди въ своей головѣ, ежели въ тебѣ есть умъ, — говоритъ ему Слюнка, моргая щекой. — Вещь лежитъ у тебя безъ всякаго дѣйствія и нѣтъ тебѣ никакой пользы, а намъ она надобна. Охотникъ безъ ружья все равно, что понамарь безъ голоса. Это понимать надо въ умѣ, а ты вотъ, вижу, не понимаешь, стало-быть, въ тебѣ настоящаго ума-то и цѣту... Отдай!

— Вѣдь ты же заложилъ у меня ружье! — говоритъ тоненькимъ бабьимъ голоскомъ Семень, глубоко вздыхая и не отрывая глазъ отъ вязки баранокъ. — Отдай рубль, что взялъ, тогда и бери ружье.

— Нѣту у меня рубля. Я тебѣ, Семень Митричъ, какъ передъ Богомъ: дай ты мнѣ ружье, похожу нынче съ Игнашкой и опять тебѣ его принесу. Накажи меня Богъ, принесу. Ежели не принесу, чтобъ мнѣ ни на томъ ни на этомъ свѣтѣ счастья не было.

— Семень Митричъ, дай! — говоритъ басомъ Игнатъ Рябовъ, и въ голосъ его слышится страстное желаніе получить просимое.

— Да зачѣмъ вамъ ружье? — вздыхаетъ Семень, печально покачивая головой. — Какая теперь охота? На дворѣ еще зима, и акромѣ воронъ да галокъ никакой твари.

— Какая жъ зима? — говоритъ Слюнка, выковыривая пальцемъ изъ трубки пепель. — Оно, конечно, рано еще, да вѣдь вальдшнепа не угадаешь. Вальдшнепъ такая птица, что его сторожить нужно. Не ровень часъ, просидишь дома поджидаючи, анъ перелетъ-то и прозѣваль, жди до осени... Такое дѣло! Вальдшнепъ не грачъ... Въ прошломъ годѣ на Страстной ужъ онъ летѣлъ, а въ третьемъ годѣ до Троицы ждать пришлось. Нѣтъ, ужъ ты сдѣлай милость, Семень Митричъ, дай намъ ружье! Заставь вѣчно Бога молить. Словно на грѣхъ, и Игнашка свое ружье пропилъ. Эхъ, когда пьешь, не чувствуешь, а таперя... Эхъ, глядѣтъ бы на нее, на водку проклятую, не хотѣлъ! Истинно кровь сатанинская! Дай, Семень Митричъ!

— Не дамъ! — говоритъ Семень, складывая на груди свои желтыя ручки, какъ передъ молитвой. — Надо по совѣсти, Филимонушка... Изъ заклада вещь зря не берется, надо деньги платить... Да и то разсуди, къ чему птицу бить? Зачѣмъ? Таперя постъ, не станешь ѣсть.

Слюнка конфузливо переглядывается съ Рябовымъ, вздыхаетъ и говоритъ:

— Намъ бы только на тягъ постоять.

— А зачѣмъ? Все глуности... Не такой ты комплекціи, чтобъ глуностями заниматься... Игнашка, такъ и быть ужъ, человекъ не понимающій, его Богъ обидѣлъ, а ты, слава тебѣ Господи, старикъ, умирать пора. Вотъ ко всенощной бы шель.

Напомянутое о старости видимо коробитъ Слюнку. Онъ крякаетъ, морщитъ лобъ и молчитъ цѣлую минуту.

— Послушай ты меня, Семень Митричъ! — говоритъ онъ горячо, поднимаясь и уже моргая не одной правой щекой, а всѣмъ лицомъ. — Истинно, какъ передъ Богомъ... разрази меня Создатель, послѣ Святой получу отъ Степана Кузьмича за оси и отдамъ тебѣ не рубль, а два! Накажи меня Богъ! Передъ образомъ тебѣ говорю, только дай ты мнѣ ружье!

— Да-ай! — говоритъ воющимъ басомъ Рябовъ; слышно, какъ тѣснится его дыханіе, и чувствуется, что онъ хотѣлъ бы сказать многое, но не находитъ словъ. — Да-ай!

— Нѣтъ, братцы, и не просите, — вздыхаетъ Семень, печально покачивая головой. — Не вводите въ грѣхъ. Не дамъ я вамъ ружья. Нѣтъ такой моды, чтобы вещь изъ залога вынимать и денегъ не платить. Да и къ чему баловство? Идите себѣ съ Богомъ!

Слюнка утираетъ рукавомъ вспотѣвшее лицо и начинаетъ горячо клясться и просить. Онъ крестится, протягиваетъ къ образу руки, призываетъ въ свидѣтели своихъ покойныхъ отца и мать, но Семень попрежнему глядитъ смиренно на вязку баранокъ и вздыхаетъ. Въ концѣ концовъ Игнашка Рябовъ, дотолѣ не двигавшійся, порывисто поднимается и бухаетъ передъ кабатчикомъ земной поклонъ, но и это не дѣйствуетъ.

— Подавись же ты моимъ ружьемъ, сатана! — говоритъ Слюнка, моргая лицомъ и дергая плечами. — Подавись, холера, разбойничья душа!

Бранясь и потрясая кулаками, онъ выходитъ съ Рябовымъ изъ кабака и останавливается среди дороги.

— Не даль, проклятый! — говоритъ онъ плачущимъ голосомъ, обиженно глядя въ лицо Рябова.

— Не даль! — баситъ Рябовъ.

Окошки крайнихъ избъ, скворечня на кабацкѣ, верхушки тополей и церковный крестъ горятъ яркимъ золотымъ пламенемъ. Видна уже только половина солнца, которое, уходя на почлегъ, мигаетъ, переливается багрянцемъ и, кажется, радостно смѣется. Слюнкѣ и Рябову видно, какъ направо отъ солнца, въ двухъ верстахъ отъ села темнѣетъ лѣсъ, какъ по ясному небу бѣгутъ куда-то мелкія облачки, и они чувствуютъ, что вечеръ будетъ яснымъ, тихимъ.

— Самая пора таперя, — говоритъ Слюнка, моргнувъ

лицомъ. — Хорошо бы постоять часокъ-другой. Не даль проклятый, чтобъ ему...

— Ежели для тяги, то самое таперя и время... — выговариваетъ, занкаясь, какъ бы черезъ силу, Рябовъ.

Постоявъ немного, они, ни слова не говоря другъ другу, выходятъ изъ села и глядятъ на темную полосу лѣса. Все небо надъ лѣсомъ усѣяно движущимися черными точками — это грачи летять на ночлегъ... Снѣгъ, коегдѣ бѣлѣющій на темно-бурой пашнѣ, слегка золотится отъ солнца.

— Въ прошломъ годѣ въ эту пору я въ Живкахъ стоялъ, — говоритъ послѣ долгаго молчанія Слюнка. — Трехъ вальдшнеповъ принесъ.

Опять наступаетъ молчаніе. Оба долго стоятъ и глядятъ на лѣсъ, потомъ лѣниво трогаются съ мѣста и идутъ отъ села по грязной дорогѣ.

— Надо думать, вальдшнепа еще не прилетали, — говоритъ Слюнка. — А можетъ, ужъ и есть.

— Костька сказывалъ, что еще нѣту.

— Можетъ, и нѣту... Кто ихъ знаетъ! Годъ въ годъ не приходится. Одначе грязь!

— А постоять надо бы.

— Стало-быть, надо! Отчего не постоять? Постоять можно. Оно бы не мѣшало пойти въ лѣсъ поглядѣть. Ежели есть, Костькѣ скажемъ, а то и сами, можетъ, достанемъ ружье и завтра выйдемъ. Эка напасть, прости Господи, надоумилъ же меня нечистый ружье въ кабакъ снести! Этакое горе, что и сказать тебѣ, Игнаша, не умѣю!

Бесѣдуя такимъ образомъ, охотники подходятъ къ лѣсу. Солнце уже сѣло и оставило послѣ себя красную, какъ пожарное зарево, полосу, перерѣзанную коегдѣ облаками; цвѣтъ этихъ облаковъ не поймешь: края ихъ красны, но сами они то сѣры, то лиловы, то пепельны. Въ лѣсу между густыми вѣтвями елей и подъ кустами березняка темно, и въ воздухѣ ясно вырисовываются только крайнія, обращенныя къ солнцу вѣтки съ ихъ пузатыми почками и лоснящейся корой. Пахнетъ тающимъ снѣгомъ и перегнивающими листьями. Тихо, ничто не шевелится. Издали доносится утixaющій крикъ грачей.

— Теперь бы въ Живкахъ постоять, — шепчетъ Слюнка, съ ужасомъ глядя на Рябова. — Тамъ важная тяга.

Рябовъ тоже съ ужасомъ глядитъ на Слюнку, не мигая и раскрывъ ротъ.

— Славное время, — говоритъ дрожащимъ шопотомъ Слюнка. — Хорошую весну Господь посылаетъ... А надо думать, вальдшнепа уже есть... Отчего имъ не быть... День теперь стоитъ теплый... Поутру журавли летѣли — видимо-невидимо!

Слюнка и Рябовъ, осторожно шлепая по талому снѣгу и увязая въ грязи, проходятъ по краю лѣса шаговъ двѣсти и останавливаются. Лица ихъ выражаютъ испугъ и ожиданіе чего-то страшнаго, необыкновеннаго. Они стоятъ, какъ вкопанные, молчатъ, не шевелятся, и руки ихъ постепенно принимаютъ такое положеніе, какъ будто они держатъ ружья съ взведенными курками...

Большая тѣнь ползетъ слѣва и заволакиваетъ землю. Наступаютъ вечернія сумерки. Если поглядѣть направо, то сквозь кусты и стволы деревьевъ видны багровыя пятна зари. Тихо и сыро...

— Не слышать, — шепчетъ Слюнка, пожимаясь отъ холода и всхлипывая своимъ озябшимъ носикомъ.

Но, испугавшись своего шопота, онъ грозитъ кому-то пальцемъ, дѣлаетъ большіе глаза и сжимаетъ губы. Слышится легкій трескъ. Охотники значительно переглядываются и взглядами сообщаютъ другъ другу, что это пустяки, трещитъ сухая вѣточка, или кора. Вечерняя тѣнь все растетъ и растетъ, багряныя пятна мало-помалу тускнѣютъ, и сырость становится непріятною.

Долго стоятъ охотники, но ничего они не слышатъ и не видятъ. Каждое мгновеніе ждутъ они, что вот-вотъ пронесется въ воздухъ тонкій листъ, послышится то-ропливое карканье, похожее на кашель оспиваго дѣтскаго горла, хлопанье крыльевъ.

— Нѣтъ, не слышать! — говоритъ вслухъ Слюнка, оцупывая руки и начиная мигать глазами. — Знать, не прилетали еще

— Рано!

— То-то, что рано...

Охотники не видятъ лица другъ друга. Воздухъ темнѣетъ быстро.

— Деньковъ пять еще подождать, — говоритъ Слюнка, выходя съ Рябовымъ изъ-за куста. — Рано!

Оба идутъ домой и молчатъ всю дорогу.

КАЗАКЪ.

Арендаторъ Нижняго хутора Максимъ Торчаковъ, бердяскій мѣщанинъ, ѣхаль со своей молодой женой изъ церкви и везъ только-что освященный куличъ. Солнце еще не всходило, но востокъ уже румянился, золотился и гналь отъ себя ту муть, какая обыкновенно ранними утрами заслоняетъ отъ глазъ синеву неба. Было тихо... Птицы еще не совсѣмъ проснулись... Перепелъ кричалъ свое: «пить пойдѣмъ! пить пойдѣмъ!», да далеко надъ курганчикомъ, тяжело взмахивая крыльями, носился заспанный коршунъ, а больше во всей степи не было замѣтно ни одного живого существа.

Торчаковъ ѣхаль и думаль о томъ, что цѣтъ лучше и веселѣе праздника, какъ Христово Воскресенье. Женатъ онъ былъ недавно и теперь справлялъ съ женой первую Пасху. На что бы онъ ни глядѣль, о чемъ бы ни думаль, все представлялось ему свѣтлымъ, радостнымъ и счастливымъ. Думаль онъ о своемъ хозяйствѣ и находилъ, что все у него исправно, домашнее убранство — лучше и не надо, всего довольно и все хорошо; глядѣль онъ на жену — и она казалась ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востокѣ, и молодая травка, и его визгливая бричка, и коршунъ... А когда онъ по пути забѣжалъ въ кабакъ закурить напиросу и выпилъ стаканчикъ, ему стало еще веселѣе...

— Сказано, Великъ день! — болтаетъ онъ. — Вотъ и великъ! Погоди, Лиза, сейчасъ солнце начнетъ играть. Оно каждую Пасху играетъ! Стало-быть, и оно радуется!

— Оно не живое, — замѣтила жена.

— Да на немъ люди есть! — воскликнулъ Торчаковъ. — Ей-Богу, есть! Мнѣ Иванъ Степанычъ рассказываль, что на всѣхъ планетахъ есть люди, на солнцѣ и на мѣсяцѣ! Право... А можетъ, ученые и брешутъ, нечистый ихъ знаетъ! Постой, никакъ лошадь стоитъ! Тамъ и есть!

На полдорогѣ къ дому, у Кривой балочки Торчаковъ и его жена увидѣли осѣдланную лошадь, которая стояла неподвижно и обнюхивала прошлогодній бурьянъ. У самой дороги на кочкѣ сидѣлъ рыжій казакъ и, согнувшись, глядѣлъ себѣ въ ноги.

— Христось воскресъ! — крикнулъ ему Максимъ. — Тпррр!

— Воистину воскресъ, — отвѣтилъ казакъ, не поднимая головы.

— Куда ѣдешь?

— Домой, на льготу.

— Зачѣмъ же ты тутъ сидишь?

— Да такъ... захворалъ... Нѣтъ мочи ѣхать.

— Чтò жъ у тебя болитъ?

— Весь болю.

— Гм... вотъ напасть! У людей праздникъ, а ты хвораешь! Да ты бы въ деревню, или на постоянный ѣхалъ, а чтò такъ сидѣть?

Казакъ поднялъ голову и обвелъ утомленными, больными глазами Максима, его жену, лошадь.

— Вы это изъ церкви? — спросилъ онъ.

— Изъ церкви.

— А меня праздникъ въ дорогѣ засталъ. Не привелъ Богъ доѣхать. Сейчасъ сѣсть бы да ѣхать, а мочи нѣтъ... Вы бы, православные, дали мнѣ проѣзжему свяченой пасочки*) разговѣться!

— Пасочки? — спросилъ Торчаковъ. — Оно можно, ничего... Пстой, сейчасъ...

Максимъ быстро пошарилъ у себя въ карманахъ, взглянулъ на жену и сказалъ:

— Нѣту у меня ножика, отрѣзать нечѣмъ. А лопать-то — не рука, всю паску испортишь. Вотъ задача! Поищи-ка, нѣтъ ли у тебя ножика?

Казакъ съ кряхтѣньемъ поднялся и пошелъ къ своему сѣдлу достать ножъ.

— Вотъ еще выдумали! — сердито сказала жена Торчакова. — Не дамъ я тебѣ паску кромсать! Съ какими глазами я ее домой привезу порѣзанную! Поѣзжай на деревню къ мужикамъ, да тамъ и разговляйся!

Жена взяла изъ рукъ мужа салфетку съ куличомъ и сказала:

*) На югѣ куличъ зовется «паской», или «пасхой».

— Не дамъ! Надо порядокъ знать. Это не булка, а свяченая паска, и грѣхъ ее безъ толку кромсать.

— Ну, казакъ, не прогнѣвайся! — засмѣялся Торчаковъ. — Не велить жена! Прощай, путь-дорога!

Максимъ тронулъ вожжи, чмокнулъ, и бричка съ визгомъ покатила дальше. Жена долго еще ворчала и доказывала, что рѣзать куличъ, не доѣхавъ до дому — грѣхъ и не порядокъ. На востокъ, разсѣкая пушистыя облака, засіяли первые лучи восходящаго солнца, и съ неба послышалась пѣсня жаворонка. Ужъ не одинъ, а три коршуна, въ почтительномъ отдаленіи другъ отъ друга, носились надъ степью. Въ молодой травѣ затрещали кузнечики.

Отѣхавъ отъ Кривой балочки версту, Торчаковъ оглянулся и пристально поглядѣлъ вдаль.

— Не видать казака... — сказалъ онъ. — Экій сердяга, вздумалъ же въ дорогѣ хворать! Нѣтъ хуже напасти: ѣхать надо, а мочи нѣтъ... Чего добраго, помретъ въ дорогѣ... Не дали мы ему, Лизавета, паски, а надо было дать. Небось, и ему разговѣться хочется.

Солнце взошло, но играло оно, или нѣтъ, Торчаковъ не видѣлъ. Во всю дорогу до самаго дома онъ молчалъ, о чемъ-то думалъ и не спускалъ глазъ съ чернаго хвоста лошади. Неизвѣстно отчего, имъ овладѣла скука, и отъ праздничной радости въ груди не осталось и слѣда. Приѣхавъ домой и христосуясь съ работниками, онъ опять повеселѣлъ и сталъ болтать, но, сѣвши разговляться и откусивъ кусочекъ свяченаго кулича, онъ невесело поглядѣлъ на жену и сказалъ:

— А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговѣться.

— Чудной ты, ей-Богу! — сказала Лизавета, удивленно пожимая плечами. — Гдѣ ты взялъ такую моду, чтобъ свяченую паску раздавать по дорогѣ? Нешто это булка? Теперь она порѣзана, на столѣ лежитъ, пушай ѣсть, кто хочеть, хоть и казакъ твой! Развѣ мнѣ жалко?

— Такъ-то оно такъ, а казаку надо бы дать... Вѣдь онъ хуже нищаго и сироты. Въ дорогѣ, далеко отъ дома, да и боленъ.

Торчаковъ выпилъ полстакана чаю и ужъ больше ничего не пилъ и не ѣлъ. Ёсть ему не хотѣлось, чай не лѣзь въ глотку, и опять стало скучно. Послѣ розговѣнья онъ и его жена легли спать. Когда часа черезъ

два Лизавета проснулась, онъ стоялъ у окна и глядѣлъ во дворъ.

— Ты уже всталъ? — спросила жена.

— Не спится что-то... Эхъ, Лизавета, — вздохнулъ онъ: — обидѣли мы съ тобой казака!

— Ты опять съ казакомъ! — зѣвнула жена. — Дался тебѣ этотъ казакъ.

— Онъ царю служилъ, можетъ, кровь проливалъ, а мы съ нимъ какъ съ свиньей обошлись. Надо бы его больного домой привезть и покормить, а мы ему даже кусочка хлѣба не дали.

— Да, такъ и дамъ я тебѣ зря паску портить! Да еще свяченную! Ты бы ее дорогой порѣзалъ, а я бы дома глазами лупала? Ишь ты какой!

Максимъ потихоньку отъ жены пошелъ въ кухню, завернулъ въ салфетку кусокъ кулича и пятокъ яицъ и пошелъ въ сарай къ работникамъ.

— Кузьма, брось гармонію, — сказалъ онъ одному изъ нихъ. — Сѣдлай Гнѣдого или Иванчика и ѣзжай поживѣ къ Кривой балочкѣ. Тамъ ты больного казака съ лошадыю увидишь, такъ вотъ отдай ему это. Можетъ, онъ еще не уѣхалъ.

Максимъ опять повеселѣлъ, но, прождавъ нѣсколько часовъ Кузьму, не вытерпѣлъ, осѣдлалъ лошадь и поскакалъ къ нему навстрѣчу. Встрѣтилъ онъ его у самой балочки.

— Ну что? Видалъ казака?

— Нигдѣ нѣту. Должно, уѣхалъ.

— Гм... исторія!

Торчаковъ взялъ у Кузьмы узелокъ и поскакалъ дальше. Доѣхавъ до Шустрова, онъ спросилъ у мужиковъ:

— Братцы, не видали ли вы больного казака съ лошадыю? Не проѣзжалъ ли тутъ? Рыжій, на гнѣдомъ конѣ.

Мужики поглядѣли другъ на друга и сказали, что казака они не видѣли.

— Обратный почтовый ѣхалъ, это точно, а чтобъ казакъ, или кто другой — такого не было.

Вернулся Максимъ домой къ обѣду.

— Сидить у меня этотъ казакъ въ головѣ и хоть бы тебѣ что! — сказалъ онъ женѣ. — Не даетъ покоя! Я все думаю: а что ежели это Богъ насъ испытать хотѣлъ и ангела или святого какого-нибудь въ видѣ казака намъ

навстрѣчу послалъ. Вѣдь бываетъ это. Нехорошо, Лизавета, обидѣли мы человѣка!

— Да что ты ко мнѣ съ казакомъ присталъ? — вышла изъ терпѣнія Лизавета. — Присталъ, какъ смола!

— А ты, знаешь, не добрая... — сказалъ Максимъ, всматриваясь въ лицо жены.

И онъ впервые послѣ женитьбы замѣтилъ, что его жена не добрая.

— Пушай я не добрая, — крикнула Лизавета, сердито стукнувъ ложкой: — а только не стану я всякимъ пьяницамъ свяченную паску раздавать!

— А нешто казакъ пьяный?

— Пьяный!

— Ну, и дура!

Максимъ сердито всталъ изъ-за стола и началъ укорять свою молодую жену въ немилосердіи и глуности. Та, тоже разсердившись, на попреки отвѣчала попреками, заплакала и ушла въ спальню, пообщавшись уѣхать къ отцу. За все время брачнаго сожителства у Торчакова это была первая супружеская сцена. До самой вечерни онъ ходилъ у себя по двору, воображалъ лицо жены, и оно казалось ему теперь злымъ, некрасивымъ. И какъ нарочно, казакъ все не выходилъ изъ головы, и Максиму мерещились то его больные глаза, то невѣрная походка.

— Эхъ, обидѣли мы человѣка! — бормоталъ онъ.

Вечеромъ, когда стемнѣло, имъ овладѣла нестерпимая скука, какой онъ раньше никогда не зналъ. Отъ скуки и сердясь на жену онъ напился, какъ напивался, когда былъ холостымъ. Въ хмелю онъ бранился скверными словами и кричалъ женѣ, что у нея злое, некрасивое лицо, и что завтра же онъ прогонитъ ее къ отцу. Утромъ на другой день праздника онъ захотѣлъ опохмелиться и опять напился.

Съ этого и началось разстройство

Лошади, коровы, овцы и ульи мало-по-малу, другъ за дружкой стали исчезать со двора, Максимъ все чаще и чаще напивался, долги росли, жена постылѣла. Всѣ свои напасти Максимъ объяснялъ тѣмъ, что у него не добрая жена, а главное — что Богъ прогнѣвался на него за большого казака.

Лизавета же видѣла напасти, но кто виноватъ, она не понимала.

УДАВЪ И КРОЛИКЪ.

Петръ Семеновичъ, истасканный плѣшивый субъектъ въ бархатномъ халатѣ съ малиновыми кистями, погладилъ свои пушистые бакены и продолжалъ:

— А вотъ, mon cher, если хотите, еще одинъ способъ. Этотъ способъ самый тонкій, умный, ехидный и самый опасный для мужей. Понятенъ онъ только психологамъ и знатокамъ женскаго сердца. При немъ *conditio sine qua non*: терпѣніе, терпѣніе и терпѣніе. Кто не умѣетъ ждать и терпѣть, для того онъ не годится. По этому способу вы, покоря чью-нибудь жену, держите себя какъ можно дальше отъ нея. Почувствовавъ къ ней влеченье, родъ недуга, вы перестаете бывать у нея, встрѣчаетесь съ ней возможно рѣже, мелькомъ, при чемъ отказываете себѣ въ удовольствіи бесѣдовать съ ней. Тутъ вы дѣйствуете на разстояніи. Все дѣло въ нѣкотораго рода гипнотизации. Она не должна видѣть, но должна чувствовать васъ, какъ кроликъ чувствуетъ взглядъ удава. Гипнотизируете вы ее не взглядомъ, а ядомъ вашего языка, при чемъ самой лучшей передаточной проволокой можетъ служить самъ мужъ.

Напримѣръ, я влюбленъ въ особу N. N. и хочу покорить ее. Гдѣ-нибудь въ клубѣ или въ театрѣ я встрѣчаю ея мужа.

— А какъ поживаетъ ваша супруга? — спрашиваю я его между прочимъ. — Милѣйшая женщина, доложу я вамъ! Ужасно она мнѣ нравится! То-есть чортъ знаетъ какъ нравится!

— Гм... Чѣмъ же это она вамъ такъ понравилась? — спрашиваетъ довольный супругъ.

— Прелестнѣйшее, поэтическое созданіе, которое можетъ тронуть и влюбить въ себя даже камень! Впрочемъ, вы, мужья, прозанки и понимаете своихъ женъ только

въ первый мѣсяць послѣ свадьбы... Поймите, что ваша жена идеальнѣйшая женщина! Поймите и радуйтесь, что судьба послала вамъ такую жену! Такихъ-то именно въ наше время и нужно женщинъ... именно такихъ!

— Что же въ ней такого особеннаго? — недоумѣваетъ супругъ.

— Помилуйте, красавица, полная граціи, жизни и правды, поэтичная, искренняя и въ то же время загадочная! Такія женщины если разъ полюбятъ, то любятъ сильно, всѣмъ пыломъ...

И прочее въ такомъ родѣ. Супругъ въ тотъ же день, ложась спать, не утерпѣлъ, чтобы не сказать женѣ:

— Видаль я Петра Семеныча, ужасно тебя расхваливалъ. Въ восторгѣ... И красавица ты, и граціозная, и загадочная... и будто любить ты способна какъ-то особенно. Съ три короба наговорилъ... Ха-ха...

Послѣ этого, не видясь съ нею, я опять норовлю встрѣтиться съ супругомъ.

— Кстати, милый мой... — говорю я ему. — Заѣзжалъ вчера ко мнѣ одинъ художникъ. Получилъ онъ отъ какого-то князя заказъ: написать за двѣ тысячи рублей головку типичной русской красавицы. Просилъ меня поискать для него натурщицу. Хотѣлъ-было я направить его къ вашей женѣ, да постѣснялся. А ваша жена какъ разъ бы подошла! Прелестная головка! Мнѣ чертовски обидно, что эта чудная модель не попадаетъ на глаза художниковъ! Чертовски обидно!

Нужно быть слишкомъ нелюбезнымъ супругомъ, чтобы не передать этого женѣ. Утромъ жена долго глядится въ зеркало и думаетъ:

«Откуда онъ взялъ, что у меня чисто русское лицо?»

Послѣ этого, заглядывая въ зеркало, она всякій разъ ужъ думаетъ обо мнѣ. Между тѣмъ нечаянныя встрѣчи мои съ ея мужемъ продолжаются. Послѣ одной изъ встрѣчъ мужъ приходитъ домой и начинаетъ всматриваться въ лицо жены.

— Что ты такъ вглядываешься? — спрашиваетъ она.

— Да тотъ чудакъ, Петръ Семенычъ, нашелъ, что будто у тебя одинъ глазъ темнѣе другого. Не нахожу этого, хоть убей!

Жена опять къ зеркалу. Она долго оглядываетъ себя и думаетъ:

«Да, кажется, лѣвый глазъ нѣсколько темнѣе пра-

ваго... Нѣтъ, кажется, правый темнѣ лѣваго... Впрочемъ, быть-можетъ, это ему такъ показалось!»

Послѣ восьмой или девятой встрѣчи мужъ говорить женѣ:

— Видалъ въ театрѣ Петра Семеныча. Просить извиненія, что не можетъ заѣхать къ тебѣ: некогда! Говорить, что очень занятъ. Кажется, ужъ мѣсяца четыре онъ у насъ не былъ... Я его распекать сталъ за это, а онъ извиняется и говоритъ, что не приѣдетъ къ намъ, пока не кончитъ какой-то работы.

— А когда же онъ кончитъ? — спрашиваетъ жена.

— Говорить, что не раньше, какъ черезъ годъ или два. А какая такая работа у этого свистуна, чортъ его знаетъ. Чудакъ, ей-Богу! Присталъ ко мнѣ, какъ съ ножомъ къ горлу: отчего ваша жена на сцену не поступаетъ? Съ этакой, говоритъ, благородной наружностью, съ такимъ развитіемъ и умѣньемъ чувствовать, грѣшно жить дома. Она, говоритъ, должна бросить все и итти туда, куда зоветъ ее внутренній голосъ. Житейскія рамки созданы не для нея. Такія, говоритъ, натуры, какъ она, должны находиться внѣ времени и пространства.

Жена, конечно, смутно понимаетъ это витійство, но все-таки таетъ и захлебывается отъ восторга.

— Какой вздоръ! — говоритъ она, стараясь казаться равнодушной. — А еще чтò онъ говорилъ?

— Не будь, говоритъ, занятъ, отбилъ бы я у васъ ее. «Чтò жъ, говорю, отбивайте, на дуэли драться не буду». — «Вы, кричите, не понимаете ея! Ее понять нужно! Это, говоритъ, натура недюжинная, могучая, ищущая выхода! Жалѣю, говоритъ, что я не Тургеневъ, а то давно бы я ее описалъ». Ха-ха... Далась ты ему! Ну, думаю, братецъ, пожилъ бы ты съ ней годика два-три, такъ другое бы зашѣлъ... Чудакъ!»

И бѣдной женой постоянно овладѣваетъ страстная жажда встрѣчи со мной. Я единственный человѣкъ, который понялъ ее, и только мнѣ она можетъ рассказать многое! Но я упорно не ѣду и не попадаюсь ей на глаза. Не видѣла она меня давно, но мой мучительно-сладкій ядъ уже отравилъ ее. Мужъ, зѣвая, передаетъ ей мои слова, а ей кажется, что она слышитъ мой голосъ, видитъ блескъ моихъ глазъ.

Наступаетъ пора ловить моментъ. Въ одинъ изъ вечеровъ приходитъ мужъ домой и говорить:

— Встрѣтилъ я сейчасъ Петра Семеныча. Скучный такой, грустный, носъ повѣсилъ.

— Отчего? Чтѣ съ нимъ?

— Не разберешь. Жалуется, что тоска одолѣла. Я, говорить, одинокъ; нѣтъ, говорить, у меня ни близкихъ ни друзей, нѣтъ той души, которая поняла бы меня и слилась бы съ моей душой. Меня, говорить, никто не понимаетъ, и я хочу теперь только одного: смерти...

— Какія глупости! — говорить жена, а сама думаетъ:—«Бѣдный! Я его отлично понимаю! Я тоже одинока, меня никто не понимаетъ, кромѣ него, кому же, какъ не мнѣ, понять состояніе его души?»

— Да, большой чудакъ... — продолжаетъ мужъ. — Съ тоски, говорить, и домой не хожу, всю ночь по N—скому бульвару гуляю.

Жена вся въ жару. Ей страстно хочется пойти на N—скій бульваръ и взглянуть хотя однимъ глазомъ на человѣка, который сумѣлъ понять ее и который теперь въ тоскѣ. Кто знаетъ? Поговори она теперь съ нимъ, скажи ему слова два утѣшенія, быть-можетъ, онъ пересталъ бы страдать. Скажи она, что у него есть другъ, который понимаетъ его и цѣнитъ, онъ воскресъ бы духомъ.

«Но это невозможно... дико... — думаетъ она. — Объ этомъ и думать даже не слѣдуетъ. Пожалуй, еще влюбисься, чего добраго, а это дико... глупо».

Дождавшись, когда уснетъ мужъ, она поднимаетъ свою горячую голову, прикладываетъ палецъ къ губамъ и думаетъ: что, если она рискнетъ выйти сейчасъ изъ дому? Послѣ можно будетъ соврать что-нибудь, сказать, что она бѣгала въ аптеку, къ зубному врачу.

«Пойду!» — рѣшаетъ она.

Планъ у нея уже готовъ: изъ дома по черной лѣстницѣ, до бульвара на извозчикѣ, на бульварѣ она пройдетъ мимо него, взглянетъ и назадъ. Этимъ она не скомпрометируетъ ни себя ни мужа.

И она одѣвается, тихо выходитъ изъ дому и спѣшитъ къ бульвару. На бульварѣ темно, пустынно. Голыя деревья спятъ. Никого нѣтъ. Но вотъ она видитъ чей-то силуэтъ. Это, должно-быть, онъ. Дрожа всѣмъ тѣломъ, не помня себя, медленно приближается она къ мнѣ... я иду къ ней. Минуту мы стоимъ молча и глядимъ другъ другу въ глаза. Проходитъ еще минута молчанія и... кроликъ беззавѣтно падаетъ въ пасть удава.

КРИТИКЪ.

Старый и сгорбленный «благородный отецъ» съ кривымъ подбородкомъ и малиновымъ носомъ встрѣчается въ буфетѣ одного изъ частныхъ театровъ со своимъ стариннымъ пріятелемъ-газетчикомъ. Послѣ обычныхъ привѣтствій, разспросовъ и вздоховъ, благородный отецъ предлагаетъ газетчику выпить по маленькой.

— Стоить ли?—морщится газетчикъ.

— Ничего, пойдѣмъ, выпьемъ. Я и самъ, братъ, не пью, да тутъ нашему брату актеру скидка, почти полцѣны — не хочешь, такъ выпьешь. Пойдемъ!

Пріятели подходятъ къ буфету и выпиваютъ.

— Наглядѣлся я на ваши театры. Хороши, нечего сказать, — ворчитъ благородный отецъ, сардонически улыбаясь. — Мерси, не ожидалъ. А еще тоже столица, центръ искусства! Глядѣть стыдно.

— Въ Александринкѣ былъ? — спрашиваетъ газетчикъ.

Благородный отецъ презрительно машетъ рукой и ухмыляется. Малиновый носъ его морщится и издаетъ смѣющийся звукъ.

— Былъ! — отвѣчаетъ онъ какъ бы нехотя.

— Что жъ? Нравится?

— Да, постройка нравится. Снаружи хорошъ театръ, не стану спорить, но насчетъ самихъ артистовъ — извини. Можетъ-быть, они и хорошіе люди, гении, Дидероты, но съ моей точки зрѣнія они для искусства убійцы и больше ничего. Ежели бъ въ моей власти, я бы ихъ изъ Петербурга выслалъ. Кто надъ ними у васъ главный?

— Потѣхнѣ.

— Гм... Потѣхнѣ. Какой же онъ антрепренеръ? Ни фигуры, ни вида наружности, ни голоса. Антрепренеръ,

или директоръ, который настоящій, долженъ имѣть видъ, солидность, внушительность, чтобъ вся труппа чувствовала! Труппу надо держать въ ежовыхъ, во какъ!

Благородный отецъ протягиваетъ впередъ сжатый кулакъ и издаетъ губами звукъ, всхлипывающій, какъ масло на сковородѣ.

— Во какъ! А ты думалъ, какъ? Нашему брату актеру, особливо которому молодому, нельзя давать волю. Нужно, чтобъ онъ понималъ и чувствовалъ, какой онъ человѣкъ есть. Ежели антрепренеръ начнетъ ему «вы» говорить да по головкѣ гладить, такъ онъ на антрепренера верхомъ сядетъ. Покойный Савва Трифонычъ, можетъ-быть, помнишь, бывало, съ тобой за панибрата, какъ съ ровней, а гдѣ касалось искусства, тамъ онъ—громъ и молнія!! Бывало, или оштрафуетъ, осрамить при всей публикѣ, или такъ тебя выругаетъ, что потомъ три дня плюешь. А нешто Потѣхинъ можетъ такъ? Ни силы у него ни настоящаго голоса. Не то что трагикъ или резонеръ, а самый послѣдній пискунъ изъ свиты Фортинбраса его не испугается. Нешто еще по одной намъ выпить, а?

— Стѣить ли? — морщится газетчикъ.

— Оно, пожалуй, пить къ ночи глядя не совсѣмъ того... но нашему брату скидка — грѣхъ не выпить.

Пріятели выпиваютъ.

— Все-таки, если безпристрастно разсуждать, то труппа у насъ приличная,—говоритъ газетчикъ, закусывая красной капустой.

— Труппа? Гм... Приличная, нечего сказать... Нѣтъ, братъ, перевелись нынче въ Россіи хорошіе актеры! Ни одного не осталось!

— Ну, такъ ужъ и ни одного! Не то что во всей Россіи, но даже у насъ въ Питерѣ хорошіе найдутся. Напримѣръ, Свободинъ...

— Сво-бо-динъ? — говоритъ благородный отецъ, въ ужасѣ отступая назадъ и всплескивая руками.— Да нешто это актеръ? Побойся ты Бога, нешто этакіе актеры бываютъ? Это дилетантъ!

— Но все-таки...

— Чтѣ все-таки? Коли бъ моя власть, я бъ этого твоего Свободина изъ Петербурга выслалъ! Развѣ такъ можно играть, а? Развѣ можно? Холоденъ, сухъ, ни капли чувства, однообразенъ, безъ всякой экспрессіи... Нѣтъ, пойдемъ, еще выпьемъ! Не могу! Душно!

— Нѣтъ, братъ, избавь... не могу больше пить!

— Я угощаю! Нашему брату скидка — мертвецъ и тотъ зыпнетъ! Люди по гривеннику платять, а мы по пятаку. Дешевле грибовъ!

Пріятели выпиваютъ, при чемъ газетчикъ мотаешь головою и крикаетъ такъ рѣшительно, точно рѣшилъ итти умереть за правду

— Играетъ онъ не сердцемъ, а умомъ! — продолжаетъ благородный отецъ. — Настоящій актеръ играетъ нервами и поджилками, а этотъ лупитъ тебѣ, точно по грамматкѣ или прописи... А потому и однообразенъ. Во всѣхъ роляхъ онъ одинаковъ! Подъ какими ты соусами ни подавай щуку, а она все щука! Такъ-то, братъ... Пути ты его въ мелодраму или трагедію, такъ и увидишь, какъ онъ съезжится... Въ комедіи всякій сыграетъ: нѣтъ, ты въ мелодрамѣ или трагедіи сыграй! Почему у всѣхъ мелодрамъ не ставятъ? Боятся! Людей нѣтъ! Вашъ актеръ не умѣетъ ни одѣться, ни крикнуть, ни позу пинять.

— Пстой, мнѣ все-таки странно... Если Свободинъ не клантъ, то кромѣ его у насъ есть Сазоновъ, Далмавъ, былъ Петипа, да въ Москвѣ есть Киселевскій, радовъ-Соколовъ, въ провинціи Андреевъ-Бурлакъ...

— Послушай, я съ тобой серьезно говорю, а ты шутики путишь, — обижается благородный отецъ. — Если по-твоему все это артисты, то я не знаю, какъ и говорить съ тобой. Развѣ это актеры? Самыя настоящія посредственности! Шаржъ, утрировка, нытье и больше ничего! Я бы ихъ всѣхъ, ежели бы моя власть, къ театру на пушечный выстрѣлъ не подпускалъ! Такъ они мою душу воротять, что на дуэль готовъ ихъ вызвать! Помилуй, развѣ это актеры? Они умирать на сценѣ будутъ, а такую гримасу скорчатъ, что въ райкѣ всѣ животы порвутъ. Намедни предлагали познакомиться съ Варламовымъ — ни за что!

Благородный отецъ злобно таращитъ глаза на газетчика, дѣлаетъ негодующій жестъ и говоритъ тономъ презирающаго трагика:

— Какъ хочешь, а я еще выпью!

— Ахъ... ну, къ чему? Ужъ довольно пилъ!

— Да что ты морщишься? Вѣдь скидка! Я самъ не пью, да какъ не выпить, ежели...

Пріятели выпиваютъ и минуту тупо глядятъ другъ на друга, вспоминая тему разговора.

— Конечно, у всякаго свой взглядъ, — бормочетъ газетчикъ: — но надо быть очень пристрастнымъ и предубѣжденнымъ, чтобы не согласиться, что, напримѣръ, Горева...

— Раздули! — перебиваетъ благородный отецъ. — Кусокъ льда! Талантливая рыба! Цирлихъ-манирлихъ Талантишко есть, не спору, но нѣтъ огня, силы, нѣтъ этого, понимаешь ты, перцу! Чтò такое ея игра? Порція фисташковаго мороженаго! Лимонадная водица! Когда она играетъ, у хорошаго, понимающаго зрителя на ухахъ и бородѣ изморозь садится! Да и вообще въ Россіи нѣтъ ужъ настоящихъ актрисъ... нѣтъ! Днемъ съ огнемъ не найдешь... Ежели и бываютъ талантишки, то скоро мѣлаются и погибаютъ отъ нынѣшняго направленія... И актеровъ нѣтъ... Напримѣръ, взять хоть вѣшнаго Пярева... Чтò это такое?

Благородный отецъ отступаетъ шагъ назадъ и изумленно таращитъ глаза.

— Чтò это такое? Развѣ это актеръ? Нѣтъ, ты мнѣ по совѣсти скажи: развѣ это актеръ? Развѣ его можно пускать на сцену? Кричить какимъ-то дикимъ голосом, стучить, руками безъ пути махаетъ... Ему не люди играть, а ихтиозавровъ и мамонтовъ допотопныхъ... Да

Благородный отецъ стучитъ кулакомъ по столу и кричитъ:

— Да!

— Ну, ну... тише! — успокаиваетъ его газетчикъ. — Неловко, публика глядитъ...

— Такъ нельзя, братецъ ты мой! Это не игра, не искусство! Это значитъ губить, рѣзать искусство! Погляди ты на Савину... Чтò это такое?! Таланта—ни Боже мой, одна только напускная бойкость и игривость, которую нельзя допускать на серьезную сцену! Глядишь на нее и просто, понимаешь ли ты, ужасаешься: гдѣ мы? Куда идемъ? Къ чему стремимся? Пра-а-пало искусство!

Пріятели молча, понявъ другъ друга, вѣроятно, бишопизмомъ, подходятъ къ буфету и выпиваютъ.

— Ты... ты ужъ очень стр...рого, — заикается газетчикъ.

— Не-е могу иначе! Я классикъ, Гамлета игралъ и требую, чтобы святое искусство было искусствомъ... Я старикъ... Въ сравненіи со мной они все ма...мальчишки... Да... Погубили русское искусство! Напримѣръ, москов-

ская Оедотова, или Ермолова... Юбилеи справляютъ, а что онѣ путнаго сдѣлали для искусства? Чтѣ? Вкусъ у публики испортили только! Или, положимъ, хваленые московскій Ленскій и Ивановъ-Козельскій... Какіе у нихъ таланты? Напускное... И какъ они понимаютъ, ей-Богу! Вѣдь для того, чтобъ играть, мало одного же...желанія, тутъ нуженъ еще и даръ, искра! Развѣ по послѣдней вышть, а?

— Да вѣдь только-что пи...пили!

— Ну! Все равно... я угощаю... Нашему брату скидка, не пропешь много.

Пріятели еще выпиваютъ. Они уже чувствуютъ, что сидѣть гораздо удобнѣе, чѣмъ стоять, и садятся за столы.

— Или взять остальныхъ прочихъ... — бормочетъ благородный отецъ. — Одно только несчастье и срамъ роду человѣческому... Иному еще и 20 лѣтъ нѣтъ, а онъ ужъ испорченъ до мозга костей... Человѣкъ молодой, здоровый, красивый, а норовитъ играть какого-нибудь Сви-стюлькина или Пицалочкина, что полегче и райку нравится, а чтобъ за классическія роли браться, того и въ мечтахъ нѣтъ. Въ наше же, братъ, время Гамлета всякій актеръ игралъ... Помню, въ Смоленскѣ покойникъ суфлеръ Васька по болѣзни актера взялся герцога Ришелье играть... Мы серьезно на искусство глядѣли, не то что нынѣшніе... Трудились мы. Бывало, въ праздники утромъ короля Лира канифолишь, а вечеромъ Коверлея раздракониваешь, да такъ, что театръ трещить отъ апплодисментовъ.

— Нѣтъ, и теперь попадаютъ хорошіе актеры. Напримеръ, въ Москвѣ у Корша Давыдовъ — мое почтение! Видалъ? Гигантъ! Ко...колосье!

— Песс... Впрочемъ, ничего... полезный актеръ... Только, братъ, выправки нѣтъ, школы... Его бы къ хорошему антрепренеру, да пустить въ настоящую выучку — ухъ, какой бы актеръ вышелъ! А теперь безцвѣтень... ни то ни се... Даже кажется мнѣ, что и таланта-то у него нѣтъ. Такъ, ра...раздули, преувеличили. Че-экъ! Дай-ка сюда двѣ рюмки очищенной! Живо!

Долго еще бормочетъ благородный отецъ. Скидкой Buffetной онъ пользуется до тѣхъ поръ, пока малиновая краска не расплывается съ его носа по всему лицу, и пока у газетчика самъ собою не закрывается лѣвый глазъ.

Лицо его попрежнему строго и сковано сардонической улыбкой, голосъ глухъ, какъ голосъ изъ могилы, и глаза глядятъ неумолимо-злобно. Но вдругъ лицо, шея и даже кулаки благороднаго отца озаряются блаженнѣйшей и нѣжнѣйшей, какъ пухъ, улыбкой. Таинственно подмигивая глазомъ, онъ нагибается къ уху газетчика и шепчетъ:

— А вотъ ежели бы выкурить изъ вашей Александринки Потѣхина, да всю бы его трупшу—фюить! Да набрать бы новую труппу, настоящую, неизбалованную, да поискать бы въ Рязаняхъ да въ Казаняхъ этакого антрепренера, чтобъ, знаешь, въ ежахъ держать умѣлъ...

Благородный отецъ захлебывается и продолжаетъ, мечтательно глядя на газетчика:

— Да поставить бы «Смерть Уголино» и «Велизарія», да отжарить какого ни на есть разанаѣмскаго Отеллу или раздраконить, понимаешь ли ты, «Ограбленную почту», поглядѣль бы ты тогда, какіе бы у меня сборы были! Увидалъ бы ты, что значитъ настоящая игра и таланты!

1887.

ОБЫВАТЕЛИ.

Десятый часъ утра. Иванъ Казимировичъ Ляшкевскій, поручикъ изъ поляковъ, раненый когда-то въ голову и теперь живущій пенсіей въ одномъ изъ южныхъ губернскихъ городовъ, сидитъ въ своей квартирѣ у настѣжь открытаго окна и бесѣдуетъ съ зашедшимъ къ нему на минутку городовымъ архитекторомъ Францемъ Степанычемъ Финксъ. Оба высунули свои головы изъ окна и глядятъ въ сторону на ворота, около которыхъ на лавочкѣ сидитъ домохозяинъ Ляшкевскаго, пухленькій обыватель въ разстегнутой жилеткѣ, въ широкихъ синихъ панталонахъ и съ отвислыми, потными щечками. Обыватель о чемъ-то глубоко задумался и разсѣянно ковыряетъ палочкой носокъ своего сапога.

— Удивительный, я вамъ скажу, народъ! — ворчить Ляшкевскій, со злобой глядя на обывателя. — Вотъ какъ сѣлъ на лавочку, такъ и будетъ проклятый сидѣть, сложа

руки, до самаго вечера. Рѣшительно ничего не дѣлають, дармоѣды и тунеядцы! Добро бы у тебя, подлеца этакого, въ банкѣ деньги лежали, или былъ свой хуторъ, гдѣ бы за тебя другіе работали, а то вѣдь ни шиша за душой нѣтъ, ѣшь чужое, задолжалъ кругомъ, семью голодомъ моришь, шутъ бы тебя взялъ! Просто, вы не повѣрите, Францъ Степанычъ, иной разъ такая злость беретъ, что выскочилъ бы изъ окна и отхлесталъ бы его, каналью, плетью. Ну, отчего ты не работаешь? Зачѣмъ сидишь?

Обыватель равнодушно взглядываетъ на Ляшкевскаго, хочетъ что-то отвѣтить, но не можетъ; зной и лѣнь парализовали его разговорную способность... Лѣниво зѣвнувъ, онъ крестить ротъ и поднимаетъ глаза къ небу, гдѣ, купаясь въ горячемъ воздухѣ, летаютъ голуби.

— Нельзя строго судить, мой почтеннѣйшій, — вздыхаетъ Финксъ, вытирая платкомъ свою большую, лысую голову. — Войдите тоже въ ихъ положеніе: дѣла теперь тихія, всюду безработица, неурожай, въ торговлѣ застой.

— А, Боже мой, какъ вы разсуждаете! — возмущается Ляшкевскій, сердито залахивая полы халата. — Допустимъ, что служить и торговать негдѣ, но отчего онъ у себя дома не работаетъ, чортъ бы его подралъ! Послушай, развѣ у тебя дома нѣтъ работы? Погляди, скотъ! Крыльцо у тебя развалилось, тротуаръ ползетъ въ канаву, заборъ подгнилъ. Взялъ бы да и починилъ все это, а если не умѣешь, то ступай на кухню женѣ помогать. Жена каждую минуту бѣгаетъ то за водой, то иномы выносить. Отчего бы тебѣ, подлецу, вмѣсто нея не сбѣгать? Да вы имѣйте еще въ виду, Францъ Степанычъ, что у него десятины три сада и огородъ при домѣ, у него есть помѣщеніе для свиней и птицы, но все это пропадаетъ даромъ, безъ всякой пользы. Садъ бурьяномъ заросъ и почти высохъ, а на огородѣ мальчишки въ мячикъ играютъ. Ну, не скотъ ли? Я вамъ скажу, у меня при квартирѣ только полдесятины, но у меня вы всегда найдете и редиску, и салатъ, и укропъ, и лукъ, а этотъ мерзавецъ покупаетъ все это на базарѣ.

— Русскій человекъ, ничего не подѣлаешь! — говоритъ Финксъ, снисходительно улыбаясь. — У русскаго кровь такая... Очень, очень лѣнивые люди! Если бъ все это добро отдать нѣмцамъ или полякамъ, то вы черезъ годъ не узнали бы города.

Обыватель въ синихъ панталонахъ подзываетъ къ себѣ дѣвчонку съ рѣшетомъ, покунаетъ у нея на копейку подсолнуховъ и начинается «лускать».

— Пся кровь! — злится Ляшкевскій. — Вотъ только этимъ и занимаются! Подсолнухи лускають да о политику говорить! О, чортъ подери!

Злобно оглядывая синія панталоны. Ляшкевскій постепенно вдохновляется и входитъ въ такой азартъ, что на губахъ его выступаетъ пѣна. Говорить онъ съ польскимъ акцентомъ, ядовито отчеканивая каждый слогъ; подъ конецъ мѣшочки подъ его глазами надуваются, онъ оставляетъ русскихъ подлецовъ, мерзавцевъ и каналий въ покоѣ и, тараща глаза, кашляя отъ напряженія, начинаетъ сыпать польскими ругательствами:

— Лайдаки, пся кровь! Цобъ ихъ дьябли взяли!

Обыватель отлично слышитъ эту брань, но, судя по выраженію его помятой фигурки, она не трогаетъ его. Повидимому, онъ давно уже привыкъ къ ней, какъ къ жужжанью мухъ, и находитъ излишнимъ протестовать. Финксу въ каждый визитъ приходится слушать на тему о лѣнивыхъ, никуда негодныхъ обывателяхъ и каждый разъ аккуратно одно и то же.

— Однако... мнѣ пора, — говоритъ онъ, вспомнивъ, что ему некогда. — Прощайте!

— Куда же вы?

— Я вѣдь къ вамъ только на минутку зашелъ. Въ женской гимназій въ подвалѣ стѣна треснула, такъ меня просили прійти поскорѣе посмотреть. Надо сходить.

— Гм... А я велѣлъ Варварѣ самоваръ поставить! — удивляется Ляшкевскій. — Погодите, напьемся чаю, тогда и пойдете.

Финксъ послушно кладетъ шляпу на столъ и остается пить чай. За чаемъ Ляшкевскій доказываетъ, что обыватели погибли уже безвозвратно, что есть только одинъ выходъ — забрать ихъ всѣхъ огуломъ и подъ строгимъ конвоемъ отправить на казенныя работы.

— Да помилуйте! — горячится онъ. — Вы спросите, чѣмъ живетъ вотъ этотъ гусь, что сидитъ! Онъ отдаетъ мнѣ свой домъ подъ квартиру за семь рублей въ мѣсяцъ да на именины ходитъ — только этимъ и сытъ прохвость, цобъ его дьябли взяли! Нѣтъ ни заработковъ ни доходовъ. Мало того, что они лѣвтяи и дармоѣды, но еще и мошенники. То и дѣло берутъ изъ городского

банка деньги, а куда дѣвають ихъ? Пустятся въ какую-нибудь аферу въ родѣ отправки быковъ въ Москву или устройства маслобойни по новому способу, а чтобы быковъ въ Москву гнать или масло бить, надо имѣть голову на плечахъ, ну, а у этихъ каналовъ на плечахъ тыквы. Конечно, всякая афера къ чорту. Потратятъ зря деньги, залутаются и показываютъ потомъ банку кукиши. Что съ нихъ возьмешь? Дома заложены и перезаложены, другого имущества никакого — давно уже все съѣдено и пропито. Девять десятыхъ измощенничались, подлецы! Задолжать и не отдать — это у нихъ правило. Городской банкъ трещитъ по ихъ милости!

— А я вчера у Егорова былъ, — перебиваетъ Финксъ поляка, желая перемѣнить разговоръ. — Представьте, выигралъ у него въ пикетъ шесть съ половиной.

— Я за пикетъ остался, кажется, вамъ что-то долженъ, — вспоминаетъ Ляшкевскій. — Надо бы отыграться. Не хотите ли одну партійку?

— Развѣ только одну, — мнется Финксъ. — Мнѣ вѣдь въ гимназію спѣшить нужно.

Ляшкевскій и Финксъ садятся у открытаго окна и начинаютъ партію въ пикетъ. Обыватель въ синихъ панталонахъ аппетитно потягивается, и со всего его тѣла сыплется на землю скорлупа подсолнуховъ. Въ это время изъ воротъ vis-a-vis показывается другой обыватель въ желто-сѣрой, помятой каламянкѣ и съ длинной бородой. Онъ ласково щуритъ глаза на синія панталоны и кричитъ:

— Съ добрымъ утромъ, Семень Николаичъ! Имѣю честь васъ съ четвергомъ поздравить!

— И васъ также, Капитонъ Петровичъ:

— Пожалуйте ко мнѣ на лавочку! У меня холодокъ!

Синія панталоны кряхтя поднимаются и, переваливаясь съ боку на бокъ, какъ утка, идутъ черезъ улицу.

— Терць-мажоръ... — бормочетъ Ляшкевскій. — Картъ отъ дамы... пять и пятнадцать... О политикъ подлецы говорятъ... Слышите? Про Англію пачали... У меня шесть червей.

— У меня семь пикъ. Карты мои.

— Да, карты ваши. Слышите? Биконсфильда ругаютъ. Того не знаютъ, свиньи, что Биконсфильдъ давно уже умеръ. Значитъ, у меня двадцать девять... Вамъ ходить...

— Восемь... девять... десять... Да, удивительный народъ

эти русскіе! Одиннадцать... двѣнадцать. Русская инертность — единственная на всемъ земномъ шарѣ.

— Тридцать... тридцать одинъ. Взять бы, знаете, хорошую плетку, выйти да и показать имъ Биконсфильда. Ишь вѣдь какъ языками брешутъ! Брехать легче, чѣмъ работать. Стало-быть, вы даму трефъ сбросили, а я-то и не сообразилъ.

— Тринадцать... четырнадцать... Невыносимо жарко! Какимъ надо быть чугуномъ, чтобы сидѣть въ такую жару на лавочкѣ на припекѣ! Пятнадцать.

За первой партіей слѣдуетъ вторая, за второй третья... Финксъ проигрываетъ, мало-по-малу входитъ въ картежный азартъ и забываетъ про треснувшія стѣны гимназическаго подвала. Ляшковскій играетъ и то и дѣло поглядываетъ на обывателей. Ему видно, какъ тѣ, усладивши другъ друга бесѣдой, идутъ въ открытыя ворота, проходятъ черезъ грязный дворъ и садятся въ жидкой тѣни подъ осиною. Въ первомъ часу жирная кухарка съ бурыми икрами разстилаетъ передъ ними что-то въ родѣ дѣтской простыни съ коричневыми пятнами и подаетъ обѣдъ. Они ѣдятъ деревянными ложками, отмахиваются отъ мухъ и продолжаютъ о чемъ-то говорить.

— Это чортъ знаетъ что такое! — возмущается Ляшковскій. — Я очень радъ, что у меня нѣтъ ружья или револьвера, иначе бы я стрѣлялъ въ этихъ клячъ. У меня четыре валета—четырнадцать... Карты ваши... Ей-Богу, у меня даже судороги въ икрахъ дѣлаются. Не могу равнодушно видѣть этихъ архаровцевъ.

— Вы не волнуйтесь, вамъ вредно.

— Да помилуйте, тутъ камень выйдетъ изъ терпѣнія!

Накушавшись, обыватель въ синихъ панталонахъ, изнеможенный, изнуренный, спотыкаясь отъ лѣни и излишней сытости, идетъ черезъ улицу къ себѣ и въ безсиліи опускается на свою лавочку. Онъ борется съ дремотой и комарами и поглядываетъ вокругъ себя съ такимъ уныніемъ, точно съ минуты на минуту ожидаетъ своей кончины. Его безпомощный видъ окончательно выводитъ Ляшковскаго изъ терпѣнія. Подякъ высовывается изъ окна и, брызжа пѣной, кричитъ ему:

— Натрескался? А, мамочка! Прелестъ! Налопался и теперь не знаетъ, куда дѣвать свой животикъ! Уйди ты, проклятый, съ моихъ глазъ! Провались!

Обыватель кисло взглядываетъ на него и вмѣсто отвѣта

шевелить только пальцами. Мимо него проходит знакомый гимназистъ съ ранцемъ на спинѣ. Остановивъ его, обыватель долго думаетъ, о чемъ бы спросить, и спрашиваетъ:

— Ну, ну что?

— Ничего.

— Какъ же такъ ничего?

— Да такъ-таки и ничего.

— Гм... А какая наука самая трудная?

— Смотря для кого, — пожимаетъ плечами гимназистъ.

— Такъ... А... какъ будетъ по-латынски дерево?

— Арборъ.

— Ага... И все вѣдь это надо знать! — вздыхаютъ сѣнія панталоны. — Во все вникать нужно... Дѣла, дѣла! Мамашенька здоровы?

— Ничего, благодарю васъ.

— Такъ... Ну, ступай.

Проигравъ два рубля, Финксъ вспоминаетъ про гимназію и приходитъ въ ужасъ.

— Батюшки, уже три часа! — восклицаетъ онъ. — Какъ однако я у васъ засидѣлся! Прощайте, побѣгу!

— Пообѣдайте ужъ заодно у меня, тогда идите, — говоритъ Ляшкевскій. — Успѣете.

Финксъ остается, но съ условіемъ, что обѣдъ будетъ продолжаться не долѣе десяти минутъ. Пообѣдавъ же, онъ минутъ пять сидитъ на диванѣ и думаетъ о треснувшей стѣнѣ, потомъ рѣшительно кладетъ голову на подушку и оглашаетъ комнату пронзительнымъ носовымъ свистомъ. Пока онъ спитъ, Ляшкевскій, не признающій послѣобѣденнаго сна, сидитъ у окошка, смотритъ на дремлющаго обывателя и брюзжитъ:

— У, пся кровь! И какъ это ты не околѣешь отъ лѣпи! Ни труда ни нравственныхъ и умственныхъ интересовъ, а одни только растительные процессы... Гадость! Тьфу!

Въ шесть часовъ просыпается Финксъ.

— Поздно ужъ въ гимназію, — говоритъ онъ, потягиваясь. — Придется завтра сходить, а теперь... отыграться, что ли? Давайте еще одну партію...

Проводивъ въ десятомъ часу вечера гостя, Ляшкевскій долго глядитъ ему въ слѣдъ и говоритъ:

— Проклятый, цѣлый день просидѣлъ безъ всякаго дѣла... Только жалованье даромъ получаютъ, чортъ бы ихъ побралъ... Нѣмецкая свинья...

Онъ выглядываетъ въ окно, но обывателя уже нѣтъ: ушелъ спать. Ворчать не на кого, и онъ впервые за весь день закрываетъ свой ротъ, но проходитъ минутъ десять, онъ не выдерживаетъ охватывающей его тоски и начинаетъ ворчать, толкая старое, ошарпанное кресло:

— Только мѣсто занимаешь, старая дрянь! Давно бы пора тебя сжечь, да все забываю приказать порубить. Безобразіе!

А. ложась спать, онъ нажимаетъ ладонью пружину матраца, морщится и брюзжитъ:

— Про-кля-тая пружина! Она всю ночь будетъ мнѣ бокъ рѣзать. Завтра же велю раснороть матраць и выбросить тебя, негодная рухлядь.

Засыпаетъ онъ къ полночи, и снится ему, что онъ обливааетъ киняткомъ обывателей, Финкса, старое кресло.

1887.

ОДИНЪ ИЗЪ МНОГИХЪ. *)

За часъ до отхода поѣзда, дачный отецъ семейства, держа въ рукахъ стеклянный шаръ, двѣ лампы, игрушечный велосипедъ и дѣтскій гробикъ, входитъ къ своему пріятелю и въ изнеможеніи опускается на диванъ.

— Голубчикъ, милый мой... — бормочетъ онъ, задыхаясь и безсмысленно поводя глазами. — У меня къ тебѣ просьба. Христомъ Богомъ молю... одолжи до завтрашняго дня револьверъ. Будь другомъ!

— На что тебѣ револьверъ?

— Нужно... Охъ, Боже мой! Дай-ка воды. Скорѣй воды!.. Нужно... Ночью придется ѣхать темнымъ лѣсомъ, такъ вотъ я... на всякій случай... Одолжи, сдѣлай милость!..

Пріятель глядитъ на блѣдное, измученное лицо отца семейства, на его вспотѣвшій лобъ, безумные глаза, и пожимаетъ плечами.

*) Этотъ рассказъ, написанный въ 1887 г., Ант. Павл. Чеховъ впоследствии передѣлалъ въ пьесу—путку въ 1 дѣйствіи «Трагикъ по невольѣ». *Примѣч. ред.*

— Ой, врешь, Иванъ Ивановичъ! — говоритъ онъ. — Какой тамъ темный лѣсъ у чорта? Вѣроятно, задумалъ что-нибудь! По лицу вижу, что задумалъ недоброе! Да что съ тобой? Зачѣмъ это у тебя гробъ? Послушай, тебѣ дурно!

— Воды... О, Боже мой... Пстой, дай отдышаться... Замучился, какъ собака. Во всемъ тѣлѣ и въ башкѣ такое ощущеніе, какъ будто изъ меня всѣ жилы вытянули и на вертелѣ изжарили... Не могу больше терпѣть... Будь другомъ, ничего не спрашивай, не вдавайся въ подробности... дай револьвера! Умоляю!

— Ну, полно! Иванъ Ивановичъ, что за малодушіе? Отецъ семейства, статскій совѣтникъ! Стыдись!

— Тебѣ легко... стыдить другихъ, когда живешь тутъ въ городѣ и этихъ проклятыхъ дачъ не знаешь... Еще воды дай... А если бы пожилъ на моемъ мѣстѣ, не то бы запѣлъ... Я мученикъ! Я вьючная скотина, рабъ, подлецъ, который все еще чего-то ждетъ и не отправляетъ себя на тотъ свѣтъ! Я тряпка, болванъ, идіотъ! Зачѣмъ я живу? Для чего?

Отецъ семейства вскакиваетъ и, отчаянно всплескивая руками, начинаетъ шагать по кабинету.

— Ну, ты скажи мнѣ, для чего я живу? — кричитъ онъ, подсакивая къ пріятелю и хватая его за пуговицу. Къ чему этотъ непрерывный рядъ нравственныхъ и физическихъ страданій! Я понимаю быть мученикомъ идею, да! Но быть мученикомъ чортъ знаетъ чего, дамскихъ юбокъ да дѣтскихъ гробиковъ, нѣтъ—слуга покорный! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Довольно съ меня! Довольно!

— Ты не кричи, сосѣдямъ слышно!

— Пусть и сосѣди слышатъ, для меня все равно! Кончено! Не дашь ты револьвера, такъ другой дастъ, а ужъ мнѣ не быть въ живыхъ! Рѣшено!

— Пстой, ты мнѣ пуговку оторвалъ... Говори хладнокровно. Я все-таки не понимаю, чѣмъ же плоха твоя жизнь?

— Чѣмъ? Ты спрашиваешь: чѣмъ? Изволь, я расскажу тебѣ! Изволь! Выскажусь передъ тобой, и, можетъ-быть, у меня на душѣ будетъ не такъ гнусно! Сядемъ... Я буду коротокъ, потому что скоро на вокзалъ ѣхать, да еще нужно забѣжать къ Тотрюмову взять у него двѣ банки килекъ и фунтъ мармеладу для Марьи Осиповны, чтобъ у нея на томъ свѣтѣ черти языкъ вытянули! У,

проклятая баба! Ну, слушай... Возьмемъ для примѣра хоть сегодняшній день. Возьмемъ... Какъ ты знаешь, отъ десяти часовъ до четырехъ приходится трубить въ канцеляріи. Жарища, духота, мухи и несомвѣстимѣйшій, братецъ ты мой, хаосъ. Секретарь отпускъ взялъ, Храповъ жениться поѣхалъ, канцелярская мелюзга помѣшалась на дачахъ, амурахъ да любительскихъ спектакляхъ. Всѣ заспаные, уморенные, испитые, такъ что не добьешься никакого толку, ничего не подѣлаешь ни убѣжденіями ни ораньемъ... Должность секретаря справляетъ субъектъ, глухой на лѣвое ухо и влюбленный, едва отличающій входящую отъ исходящей; дубина ничего не смыслить, и я самъ все за него дѣлаю. Безъ секретаря и Храпова никто не знаетъ, гдѣ что лежитъ, куда что послать, а просители обалдѣлые все куда-то спѣшать и торопятся, сердятся, грозятъ, — такой кавардакъ со стихіями, что хоть караулъ кричи! Путалица и дымъ коромысломъ... А работа анаѳемская: одно и то же, одно и то же, справка, отношеніе, справка, отношеніе — однообразно, какъ зыбъ морская. Просто, понимаешь ли ты, глаза вонъ изъ-подъ лба лѣзутъ, а тутъ еще на мое горе начальство съ супругой разводится и ишіасомъ страдаетъ; такъ ноетъ и кукуситъ, что житья никому нѣтъ. Невыносимо!

Отецъ семейства вскакиваетъ и тотчасъ же опять садится.

— Все это пустяки, ты послушай, что дальше,—говорить онъ.—Выходишь изъ присутствія разбитый, измочаленный; тутъ бы обѣдать итти и спать завалиться, анъ нѣтъ, помни, что ты дачникъ, т.-е. рабъ, дрянъ, мочалка, и изволь, какъ курицынъ сынъ, сейчасъ же бѣжать по городу исполнять порученія. На нашихъ дачахъ установился милый обычай: если дачникъ ѣдетъ въ городъ, то, не говоря ужъ о его супругѣ, всякая дачная мразь и тля имѣетъ власть и право навязать ему тьму порученій. Супруга требуетъ, чтобы я заѣхалъ къ модисткѣ и выругалъ ее за то, что лифъ вышелъ широкъ, а въ плечахъ узко; Сонечкѣ нужно перемѣнить башмаки, своячинницѣ пунцоваго шелку по образчику на 20 коп. и три аршина тесьмы... Да вотъ постой, я тебѣ сейчасъ прочту.

Отецъ семейства вытаскиваетъ изъ жилетнаго кармана скомканную записочку и съ остервенѣніемъ читаетъ:

— «Шаръ для лампы; 1 фунтъ ветчинной колбасы; гвоздики и корицы на 5 коп.; кастороваго масла для

Миши; 10 ф. сахарнаго песку; взять изъ дома мѣдный тазъ и ступку для сахара; карболовой кислоты, персидскаго порошку на 20 копеекъ; 20 бутылокъ пива и 1 бутылку уксусной эссенци; корсетъ для m-lle Шансо № 82 у Гвоздева и взять дома Мишино осеннее пальто и калоши». Это приказъ супруги и семейства. Теперь порученія милыхъ знакомыхъ и сосѣдей, чортъ бы ихъ съѣлъ! У Власиныхъ завтра именинникъ Володя, ему нужно велосипедъ привезти; у Куркиныхъ очокурился младенецъ, и я долженъ гробикъ купить; У Марьи Михайловны варятъ варенье, и по этому случаю я ежедневно долженъ ей таскать по полпуда сахару; подполковница Вихрина въ интересномъ положеніи; я въ этомъ не виноватъ ни сномъ ни духомъ, но почему-то обязанъ заѣхать къ акушеркѣ и приказать ей пріѣхать тогда-то... А о такихъ порученіяхъ, какъ письма, колбаса, телеграммы, зубной порошокъ — и говорить нечего. Пять записокъ у меня въ карманахъ! Отказаться отъ порученій невозможно: не прилично, не любезно! Чортъ возьми! Навязать человѣку пудъ сахару и акушерку — это прилично, а отказаться — кель ореръ, послѣднее слово неприличія! Откажи я какимъ-нибудь Куркинымъ, первая супружница станетъ на дыбы: что скажетъ княгиня Марья Алексѣевна?! о! ахъ! Не оберешься потомъ обмороковъ, ну его къ чорту! Этакъ, батенька, въ промежуткѣ между службой и поѣздомъ бѣгаешь по городу, какъ собака, высунувъ языкъ, бѣгаешь, бѣгаешь и жизнь проклянешь. Изъ магазина въ аптеку, изъ аптеки къ модисткѣ, отъ модистки въ колбасную, а тамъ опять въ аптеку. Тутъ спотыкаешься, тамъ деньги потеряешь, въ третьемъ мѣстѣ заплатитъ забудешь и за тобой гонятъ со скандаломъ, въ четвертомъ мѣстѣ дамѣ на шлейфъ наступишь... тьфу! Отъ такого моціона такъ осатапънешь и такъ тебя разломаетъ, что потомъ всю ночь кости трещать и поджилки сводить. Ну-съ, порученія исполнены, все куплено, теперь какъ прикажешь упаковать всю эту музыку? Какъ ты, напримѣръ, уложишь вмѣстѣ тяжелую мѣдную ступку и толкачъ съ ламповымъ шаромъ, или карболку съ чаемъ? Ну, вотъ и смекай. Какъ ты скомбинируешь воедино пивныя бутылки и этотъ велосипедъ? Это, братъ, египетская работа, задача для ума, ребусъ! Какъ тамъ ни упаковывай, какъ ни увязывай, а въ концѣ концовъ навѣрное что-нибудь расколотишь и рассыплешь, а на вок-

залѣ и въ вагонѣ будешь стоять, растопыривши обѣ руки, раскорячившись и поддерживая подбородкомъ какой-нибудь узелъ, весь въ кулъкахъ, въ картонкахъ и въ прочей дряни. А тронется поѣздъ, публика начинаетъ швырять во все стороны твой багажъ: ты своими вещами чужія мѣста занялъ. Кричатъ, зовутъ кондуктора, грозятъ высадить, а я-то что подѣлаю? Не бросать же мнѣ вещи въ окна! Сдайте въ багажъ! Легко сказать, да вѣдь для этого нуженъ ящикъ, нужно уложить всю эту дрянъ, а гдѣ я каждый день могу брать ящикъ и какъ уложу шаръ со ступкой? Этакъ всю дорогу въ вагонѣ стойтъ вой и скрежетъ зубовный, пока не доѣдешь. А погоди, что сегодня пассажирки запоютъ мнѣ за этотъ гробикъ! Уфъ! Дай-ка, братъ, воды. Теперь слушай далѣе. Давать порученія принято, деньги же давать на расходы — накося выкуси! Потратилъ я денегъ тьму, а получу половину. Я гробикъ этотъ пошлю Куркинымъ съ горничной, а они теперь въ горѣ, стало-бытъ не время имъ думать о деньгахъ. Такъ и не получу. Напоминать же о долгахъ, да еще дамамъ, — не могу, хоть зарѣжь. Рубли еще такъ и сякъ, хоть мнутея, да отдають, а конейки — ниши пропало. Разорили подлыя! Ну-съ; прѣвзжаю я къ себѣ на дачу. Тутъ бы выпить хорошенько отъ трудовъ праведныхъ, пожрать да лечь — не правда ли? — но не тутъ-то было. Моя супружница ужъ давно стережетъ. Едва ты поѣлъ сушь, какъ она цань-царапъ раба Божьяго, и не угодно ли вамъ пожаловать куда-нибудь на любительскій спектакль или танцевальный кругъ. Протестовать не могли. Ты мужъ, а слово «мужъ» въ переводѣ на дамскій языкъ значить тряпка, идиотъ и безсловесное животное, на которомъ можно ѣздить и возить клади, сколько угодно, не боясь вмѣшательства общества покровительства животныхъ. Идешь и тарачишь глаза на «Скандалъ въ благородномъ семействѣ» или «Мотю», аплодируешь по приказанію супруги и чувствуешь, что ты вотъ-вотъ издохнешь. А на кругу гляди на танцы и подыскивай для супруги танцоровъ, а если недостаетъ кавалера, то и самъ изволь плясать кадриль. Танцуешь съ какой-нибудь Кривулей Ивановной, улыбаешься по-дурачки, а самъ думаешь: «доколѣ, о Господи?» Вернешься въ полночь изъ театра или съ бала, а ужъ ты не человѣкъ, а дохлятина, хоть брось. Но вотъ ты наконецъ достигъ цѣли: разобла-

члся и легъ въ постель. Закрывай глаза и спи... Отлично... Все такъ хорошо: и тепло, и ребята за стѣной не визжать, и супруги иѣтъ около, и совѣсть чиста — лучше и не надо. Засыпаешь ты и вдругъ... и вдругъ слышишь: дззз... Комары! Комары, будь они трижды анаемы прокляты, комары!

Отецъ семейства вскакиваетъ и потрясаетъ кулаками.

— Комары! Это казнь египетская, инквизиція! Дззз... Дзююкаетъ этакъ жалобно, печально, точно прощенья просить, но такъ тебя подлецъ укуситъ, что потомъ цѣлый часъ чешешься. Ты и куришь, и бьешь ихъ, и съ головой укрываешься — ничего не помогаетъ! Въ концѣ концовъ плюнешь и отдашь себя на растерзаніе: жрите, проклятые! Не успѣешь ты привыкнутьъ къ комарамъ, какъ въ залѣ супруга начинаетъ со своими тенорами разучивать романсы. Днемъ спать, а по ночамъ къ любительскимъ концертамъ готовится. О, Боже мой! Тенора — это такое мученье, что никакіе комары не сравнятся.

Отецъ семейства дѣлаетъ плачущее лицо и поетъ:

— «Не говори, что молодость стубила... Я вновь предъ тобою стою очарованъ». О, по-о-одные! Всю душу мою вытянули! Чтобы ихъ хоть немного заглушить, я на такой фокусъ пускаюсь: стучу себѣ пальцемъ по виску около уха. Этакъ стучу часовъ до четырехъ, пока не разойдутся... А только-что они разошлись, какъ новая казнь: пожалуетъ донна супруга и предъявляетъ на мою особу свои законныя права. Она разлмонится тамъ съ луной да съ своими тенорами, а я отдувайся. Вѣришь ли, до того напуганъ, что, когда она входитъ ко мнѣ ночью, меня въ жаръ бросаетъ и оторош беретъ. Охъ, дай-ка, братъ, еще воды... Ну-съ, этакъ, не поспавши, встанешь въ шесть часовъ и маршь на станцію къ поѣзду. Бѣжишь, боишься опоздать, а тутъ грязь, туманъ, холодь, бррр! А пріѣдешь въ городъ, заводи шарманку сначала. Такъ-то, братъ... Жизнь, доложу я тебѣ, анаемская, и врагу такой жизни не пожелаю! Понимаешь, заболѣлъ! Одышка, изжога, вѣчно чего-то боюсь, желудокъ не варить... однимъ словомъ, не жизнь, а грусть одна! И никто не жалѣетъ, не сочувствуетъ, а какъ будто это такъ и надо. Даже смѣются. Дачный мужъ, дачный отецъ семейства, ну, такъ значитъ, такъ ему и нужно, пусть околѣваетъ. Но вѣдь пойми, я животное,

я жить хочу! Тутъ не водевиль, а трагедія! Послушай, если не даешь револьвера, то хоть посочувствуй!

— Я сочувствую.

— Вижу, какъ вы сочувствуете... Прощай... Поѣду за кильками и на вокзалъ.

— Ты гдѣ на дачѣ живешь? — спрашиваетъ пріятель.

— На Дохлой рѣчкѣ...

— Да? Я знаю это мѣсто... Послушай, ты не знаешь тамъ дачницу Ольгу Павловну Финбергъ?

— Знаю... Знакомъ даже...

— Да что ты! — удивился пріятель, и лицо его принимаетъ радостное, изумленное выраженіе. — А я не зналъ! Въ такомъ случаѣ... голубчикъ, милый, не можешь ли исполнить одну маленькую просьбу? Будь другомъ, милый Иванъ Ивановичъ! Ну, дай честное слово, что исполнишь!

— Да что такое?

— Не въ службу, а въ дружбу. Умоляю, голубчикъ. Во-первыхъ, поклонись Ольгѣ Павловнѣ, а во-вторыхъ, свези ей одну вещичку. Она поручила мнѣ купить ручную швейную машину, а доставить ей некому. Свези, милый!

Дачный отецъ семейства съ минуту тупо глядитъ на пріятеля, какъ бы ничего не понимая, потомъ багровѣетъ и начинаетъ кричать, топая ногами:

— На-те, ѣшьте человѣка! Добивайте его! Терзайте! Давайте машину! Садитесь сами верхомъ! Воды! Дайте воды! Для чего я живу? Зачѣмъ?

1887.

НЕПРІЯТНА ІСТОРІЯ.

— У тебя, извозчикъ, сердце вымазано дегтемъ. Ты, братецъ, никогда не былъ влюбленъ, а потому тебѣ не понять моей психики. Этому дождю не потушить пожара душъ моей, какъ пожарной командѣ не потушить солнца! Чортъ возьми, какъ я поэтически выражаюсь! Вѣдь ты, извозчикъ, не поэтъ?

— Никакъ нѣтъ.

— Ну вотъ видишь ли...

Жирковъ нащупалъ наконецъ у себя въ карманѣ портмонэ и сталъ расплачиваться.

— Договорились мы съ тобой, друже, за рубль съ четвертакомъ. Получай гонорарій. Вотъ тебѣ рубль, вотъ три гривенника. Пятаецъ прибавки. Прощай и помни обо мнѣ. Впрочемъ, сначала снеси эту корзину и поставь на крыльцо. Поосторожиѣй, въ корзину бальное платье женщины, которую я люблю больше жизни.

Извозчикъ вздохнулъ и неохотно слѣзъ съ козелъ. Балансируя въ потемкахъ и шлепая по грязи, онъ дотащилъ корзину до крыльца и опустилъ ее на ступени.

— Ну, погода! — проворчалъ онъ укоризненно и, крикнувъ со вздохомъ, издавъ носомъ всхлипывающій звукъ, неохотно взобраhea на козла.

Онъ чмокнулъ губами, и лошаденка его нерѣшительно зашлепала по грязи.

— Кажется, со мной все, что нужно, — разсуждалъ Жирковъ, шаря рукой по косяку и ница звонка. — Надя просила захватить къ модисткѣ и взять платья — есть, просила конфетъ и сыру — есть, букетъ — есть. «Привѣтъ тебѣ, пріютъ священный...» — заплѣлъ онъ. — Но гдѣ же, чортъ возьми, звонокъ?

Жирковъ находился въ благодушномъ настроеніи чело-вѣка, который недавно поужиналъ, хорошо выпилъ и отлично знаетъ, что завтра ему не пужно рано вставать. Къ тому же, послѣ полуторачасовой ѣзды изъ города по грязи и подъ дождемъ, его ожидали тепло и молодая женщина... Пріятно озябнуть и промокнуть, если знаешь, что сейчасъ согрѣешься.

Жирковъ поймалъ въ потемкахъ шинечку звонка и дернулъ два раза. За дверью послышались шаги.

— Это вы, Дмитрій Григорьевичъ? — спросилъ женскій шопоть.

— Я, восхитительная Дуняша! — отвѣтилъ Жирковъ. — Отворяйте скорѣе, а то я промокаю до костей.

— Ахъ, Боже мой! — зашептала встревоженно Дуняша, отворяя дверь. — Не говорите такъ громко и не стучите ногами. Вѣдь баринъ изъ Парижа пріѣхалъ! Нынче подъ вечеръ вернулся!

При словѣ «баринъ» Жирковъ сдѣлалъ шагъ назадъ отъ двери, и имъ на мгновеніе овладѣлъ малодушный, чисто мальчишескій страхъ, какой испытываютъ даже очень храбрые люди, когда неожиданно наталкиваются на возможность встрѣчи съ мужемъ.

«Вотъ-те клоква! — подумалъ онъ, прислушиваясь, съ какою осторожностью Дуняша запираетъ дверь и уходитъ назадъ по коридорчику. — Чтò же это такое? Это значитъ — поворачивай назадъ оглобли? Мерсі, не ожидалъ!»

И ему стало вдругъ смѣшно и весело. Его поѣздка къ ней изъ города на дачу, въ глубокую ночь и подъ проливнымъ дождемъ, казалась ему забавнымъ приключеніемъ; теперь же, когда онъ нарвался на мужа, это приключеніе стало казаться ему еще курьезнѣе.

— Презанимательная исторія, ей-Богу! — сказалъ онъ себѣ вслухъ. — Куда же я теперь дѣнусь? Назадъ ѣхать?

Шелъ дождь, и отъ сильнаго вѣтра шумѣли деревья, но въ потемкахъ не видно было ни дождя ни деревьевъ. Точно посмѣиваясь и ехидно поддразнивая, въ канавкахъ и въ водосточныхъ трубахъ журчала вода. Крыльцо, на которомъ стоялъ Жирковъ, не имѣло навѣса, такъ что онъ въ самомъ дѣлѣ сталъ промокать.

«И какъ нарочно принесло его именно въ такую погоду, — думалъ онъ, смѣясь. — Чортъ бы подралъ всѣхъ мужей!»

Съ Надеждой Осиповной начался у него романъ мѣсяць тому назадъ, но мужа ея онъ еще не зналъ. Ему было только извѣстно, что мужъ ея родомъ французъ, фамилія его Буазо, и что занимается онъ комиссіонерствомъ. Судя по фотографіи, которую видѣлъ Жирковъ, это былъ дожинный буржуа лѣтъ сорока, съ усатой, франко-солдатской рожей, глядя на которую почему-то такъ и хочется потрепать за усы и за бородку à la Napoléon и спросить: «Ну, что новенькаго, г. сержантъ?»

Шлепая по жидкой грязи и спотыкаясь, Жирковъ отошелъ нѣсколько въ сторону и крикнулъ:

— Извозчикъ! Извозчикъ!!!

Отвѣта не послѣдовало.

— Ни гласа ни воздыханія, — проворчалъ Жирковъ, возвращаясь ощупью къ крыльцу. — Своего извозчика услабь, а тутъ и днемъ-то извозчиковъ не найдешь. Ну, положеніе! Придется до утра ждать! Чортъ подери, корзина промокнетъ, и платье изгадится. Двѣсти рублей стоить... Ну, положеніе!

Раздумывая, куда бы спрятаться съ корзиной отъ дождя, Жирковъ вспомнилъ, что на краю дачнаго поселка у танцевальнаго круга есть будка для музыкантовъ.

— Нешто пойти въ будку? — спросилъ онъ себя. — Идея! Но дотащу ли я корзину? Громоздкая, проклятая... Сыръ и букетъ можно къ чорту.

Онъ поднялъ корзину, но тотчасъ же вспомнилъ, что, пока онъ дойдетъ до будки, корзина успѣетъ промокнуть пять разъ.

— Ну, задача! — засмѣялся онъ. — Батюшки, вода за шею потекла! Бррр... Промокъ, озябъ, пьянъ, извозчика нѣтъ... недостаетъ только, чтобы мужъ выскочилъ на улицу и отколотилъ меня палкой. Но что же однако дѣлать? Нельзя тутъ до утра стоять, да и къ чорту платье пропадетъ... Вотъ что... Я позвоню еще разъ и сдамъ Дуняшѣ вещи, а самъ пойду въ будку.

Жирковъ осторожно позвонилъ. Черезъ минуту за дверью послышались шаги и въ замочной скважинѣ мелькнулъ свѣтъ.

— Кто издѣсь? — спросилъ хриплый мужской голосъ съ нерусскимъ акцентомъ.

«Батюшки, должно-быть, мужъ, — подумалъ Жирковъ. — Надо соврать чтонибудь»... — Послушайте, — спросилъ онъ: — это дача Злючкина?

— Четгъ возьми, никакой Злюшкинъ издѣсь нѣтъ. Убигайтесь къ четгу зъ вашей Злюшкинѣ!

Жирковъ почему-то сконфузился, виновато кашлянулъ и отошелъ отъ крыльца. Наступивъ въ лужу и набравъ въ калошу, онъ сердито плюнулъ, но тотчасъ же опять засмѣялся. Приключеніе его съ каждою минутою становилось все курьезнѣе и курьезнѣе. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ думалъ о томъ, какъ завтра онъ будетъ списывать пріятелямъ и самой Надѣ свое приключеніе, какъ передразнить голосъ мужа и всхлипыванье калошъ... Пріятели, навѣрное, будутъ рвать животы отъ смѣха.

«Одно только подло: платье промокнетъ! — думалъ онъ. — Не будь этого платья, я давно бы уже въ будкѣ спалъ».

Онъ сѣлъ на корзину, чтобы заслонить ее собою отъ дождя, но съ его промокшей крылатки и со шляпы потекло сльезъ, чѣмъ съ неба.

— Тьфу, чтобъ тебя чортъ взялъ!

Простоявъ полчаса на дождѣ, Жирковъ вспомнилъ о своемъ здоровьѣ.

«Этакъ, чего добраго, горячку схватишь, — подумалъ онъ. — Удивительное положеніе! Нешто еще разъ позвонить? А? Честное слово, позвоню... Если мужъ отворить, то соврну что-нибудь и отдамъ ему платье... Не до утра же мнѣ здѣсь сидѣть! Э, была не была! Звони!»

Въ школьническомъ задорѣ, показывая двери и потемкамъ языкъ, Жирковъ дернулъ за шпичечку. Прошла минута въ молчаніи; онъ еще разъ дернулъ.

— Кто издѣсь? — спросилъ сердитый голосъ съ акцентомъ.

— Здѣсь m-me Буазо живетъ? — спросилъ почтительно Жирковъ.

— А-а? Какому четгу вамъ надо?

— Модистка m-me Катинь прислала г-жѣ Буазо платье. Извините, что такъ поздно. Дѣло въ томъ, что г-жа Буазо просила прислать платье какъ можно скорѣе... къ утру... погода отвратительная... едва доѣхалъ... Я выѣхалъ изъ города вечеромъ, но... Я не...

Жирковъ не договорилъ, потому что передъ нимъ отворилась дверь, и на порогѣ, при колеблющемся свѣтѣ лампочки, предсталъ предъ нимъ m-г Буазо, точно такой же, какъ и на карточкѣ, съ солдатской рожей и съ длинными усами; впрочемъ, на карточкѣ онъ былъ изоб-

раженъ франтомъ, теперь же стоялъ въ одной сорочкѣ.

— Я не сталъ бы васъ беспокоить, — продолжалъ Жирковъ: — m-me Буазо просила прислать платью какъ можно скорѣе. Я братъ m-me Катись... и.. и къ тому же по года отвратительная.

— Карьошо, — сказалъ Буазо угрюмо, двигая бровями и принимая корзину. — Благодарите вашъ сестра. Моя жена сегодня до первой часъ ждала платью. Ей обѣщаль привезти его какой-то мусье.

— Также вотъ потрудитесь передать сыръ и букетъ, которые ваша супруга забыла у m-me Катись.

Буазо принялъ сыръ и букетъ, понохалъ то и другое и, не запирая двери, остановился въ ожидательной позѣ. Онъ глядѣлъ на Жиркова, а Жирковъ на него. Прошла минута въ молчаніи. Жирковъ вспомнилъ своихъ пріятелей, которымъ будетъ завтра рассказывать о своемъ приключеніи, и ему захотѣлось въ довершеніе курьеза устроить какую-нибудь штуку посмѣшнѣе. Но штука не придумывалась, а французъ стоялъ и ждалъ, когда онъ уйдетъ.

— Ужасная погода, — пробормоталъ Жирковъ. — Темно, грязно и мокро. Я весь промокъ.

— Да, monsieur, вы совѣтъ мокрый.

— И къ тому же мой извозчикъ уѣхалъ. Не знаю, куда дѣваться. Вы были бы очень любезны, если бы позволили мнѣ побыть здѣсь въ сѣняхъ, пока пройдетъ дождь.

— А? Bien, monsieur. Вы снимайте калоши и идите сюда. Это ничто, можно.

Французъ заперъ дверь и ввелъ Жиркова въ маленькую, очень знакомую залу. Въ залѣ было все по-старому, только на столѣ стояла бутылка съ краснымъ виномъ и на стульяхъ, поставленныхъ въ рядъ среди залы, лежалъ узенькій, тощенькій матрасикъ.

— Холодно, — сказалъ Буазо, ставя на столъ лампу. — Я только вчера пріѣхалъ изъ Парижъ. Вездѣ карьошо, тепло, а тутъ въ Росея холодъ и эти кумыри.. крамори.. les cousins. Проклятый кузаются.

Буазо налилъ полстакана вина, сдѣлалъ очень сердитое лицо и вышилъ.

— Всю ночь не спалъ, — сказалъ онъ, садясь на матрасикъ. — Les cousins и какой-то скотинъ все звонить, спрашиваетъ Злюшкинъ.

И французъ умолкъ и поникъ головою, вѣроятно, въ

ожиданіи, когда пройдетъ дождь. Жирковъ почелъ долгомъ приличія поговорить съ нимъ.

— Вы, значить, были въ Парижѣ въ очень интересное время, — сказалъ онъ. — При васъ Буланже въ отставку вышелъ.

Далѣе Жирковъ поговорилъ про Гриви, Деруледа, Зола и могъ убѣдиться, что эти имена французъ слышалъ отъ него только впервые. Въ Парижѣ онъ зналъ только нѣсколько торговыхъ фирмъ и свою tante m-me Blesser и больше никого. Разговоръ о политикѣ и литературѣ кончился тѣмъ, что Буазо еще разъ сдѣлалъ сердитое лицо, выпилъ вина и разлегся во всю свою длину на тощенькомъ матрацикѣ.

«Ну, права этого супруга, вѣроятно, не особенно широки, — думалъ Жирковъ. — Чортъ знаетъ что за матраць!»

Французъ закрылъ глаза; пролежавъ покойно съ четверть часа, онъ вдругъ вскочилъ и тупо, точно ничего не понимая, уставился своими оловянными глазами на гостя, потомъ сдѣлалъ сердитое лицо и выпилъ вина.

— Проклятый кумари, — проворчалъ онъ и, потерявъ одной шершавой ногой о другую, вышелъ въ сосѣдную комнату.

Жирковъ слышалъ, какъ онъ разбудилъ кого-то и сказалъ:

— П у а là un monsieur roux, qui t'a apporté une robe.

Скоро онъ вернулся и еще разъ приложился къ бутылкѣ.

— Сейшачъ жена выйдетъ, — сказалъ онъ, зѣвая. — Я понимаю, вамъ деньги нужно?

«Часъ отъ часу не легче, — думалъ Жирковъ. — Прекурьезно! Сейчасъ выйдетъ Надежда Осиповна. Конечно, сдѣлаю видъ, что не знаю ея».

Послышалось шуршанье юбокъ, отворилась слегка дверь, и Жирковъ увидѣлъ знакомую кудрявую головку съ заспанными щеками и глазами.

— Кто отъ m-me Катишь? — спросила Надежда Осиповна, но тотчасъ же, узнавъ Жиркова, вскрикнула, засмѣялась и вошла въ залу. — Это ты? — спросила она. — Что это за комедія? Да откуда ты такой грязный?

Жирковъ покраснѣлъ, сдѣлалъ строгіе глаза и, рѣшительно не зная, какъ держать себя, покосился на Буазо.

— Ахъ, понимаю! — догадалась барыня. — Ты, вѣроятно, Жака испугался? Забыла я предупредить Дуняшу... Вы

знакомы? Это мой мужъ Жакъ, а это Степанъ Андреевичъ... Платье привезъ? Ну, merci, другъ... Пойдемъ же, а то я спать хочу. А ты, Жакъ, спи... — сказала она мужу. — Ты усталъ въ дорогѣ.

Жакъ удивленно поглядѣлъ на Жиркова, пожалъ плечами и съ сердитымъ лицомъ направился къ бутылкѣ. Жирковъ тоже пожалъ плечами и пошелъ за Надеждой Осиповной.

Онъ глядѣлъ на мутное небо, на грязную дорогу и думалъ:

— Грязно! И куда только ни заноситъ нелегкая интеллигентнаго человѣка!

И онъ сталъ думать о томъ, что нравственно и что безнравственно, о чистомъ и нечистомъ. Какъ часто случается это съ людьми, попавшими въ нехорошее мѣсто, онъ вспомнилъ съ тоской о своемъ рабочемъ кабинетѣ съ бумагами на столѣ, и его потянуло домой.

Онъ прошелъ тихо черезъ залу мимо спавшаго Жака.

Всю дорогу онъ молчалъ, старался не думать о Жакѣ, который почему-то лѣзъ ему въ голову, и ужъ не заговаривалъ съ извозчикомъ. На душѣ у него было такъ же нехорошо, какъ и на желудкѣ.

1887.

ДОКТОРЪ.

Въ гостиной было тихо, такъ тихо, что явственно слышалось, какъ стучалъ по потолку залетѣвшій со двора слѣпень. Хозяйка дачи, Ольга Ивановна, стояла у окна, глядѣла на цвѣточную клумбу и думала. Докторъ Цвѣтковъ, ея домашній врачъ и старинный знакомый, приглашенный лѣчить Мишу, сидѣлъ въ креслѣ, покачивалъ своей шляпой, которую держалъ въ обѣихъ рукахъ, и тоже думалъ. Кромѣ нихъ въ гостиной и въ смежныхъ комнатахъ не было ни души. Солнце уже зашло, и въ углахъ, подъ мебелью и на карнизахъ стали ложиться вечернія тѣни.

Молчаніе было прервано Ольгой Ивановной.

— Волѣе ужаснаго несчастья и придумать нельзя,— сказала она, не оборачиваясь отъ окна. — Вы знаете, безъ этого мальчика жизнь не имѣетъ для меня никакой цѣны.

— Да, я знаю это,—сказалъ докторъ.

— Никакой цѣны!—повторила Ольга Ивановна, и горло ея дрогнуло.—Онъ для меня все. Онъ моя радость, мое счастье, мое богатство, и если, какъ вы говорите, я перестану быть матерью, если онъ... умретъ, то отъ меня останется только тѣнь. Я не переживу.

Ломая руки, Ольга Ивановна прошла отъ одного окна къ другому и продолжала:

— Когда онъ родился, я хотѣла отослать его въ воспитательный домъ, вы это помните, но, Боже мой, развѣ можно сравнивать тогда и теперь? Тогда я была пошла, глупа, вѣтрена, но теперь я мать... понимаете? Я мать и больше знать ничего не хочу. Между теперешнимъ и прошлымъ цѣлая пропасть.

Наступило опять молчаніе. Докторъ пересѣлъ съ кресла на диванъ и, нетерпѣливо играя шляпой, устремилъ взглядъ

на Ольгу Ивановну. По лицу его видно было, что онъ хотѣлъ говорить и ждалъ для этого удобной минуты.

— Вы молчите, но я все-таки не теряю надежды,— сказала хозяйка, оборачиваясь. — Что же вы молчите?

— Я былъ бы радъ надеждѣ не меньше васъ, Ольга, но ея нѣтъ,— отвѣтилъ Цвѣтковъ.— Нужно глядѣть чудовищу прямо въ глаза. У мальчика бугорчатка мозга, и нужно постараться приготовить себя къ его смерти, такъ какъ отъ этой болѣзни никогда не выздоравливаютъ.

— Николай, вы увѣрены въ томъ, что не ошибаетесь?

— Такіе вопросы ни къ чему не ведутъ. Я готовъ отвѣчать, сколько угодно, но отъ этого намъ не станетъ легче.

Ольга Ивановна припала лицомъ къ оконной драпировкѣ и горько заплакала. Докторъ поднялся и нѣсколько разъ прошелся по гостиной, затѣмъ подошелъ къ плачущей и слегка коснулся ея руки. Судя по его нерѣшительнымъ движеніямъ, по выраженію угрюмаго лица, которое было темно отъ вечернихъ сумерекъ, ему хотѣлось что-то сказать.

— Послушайте, Ольга, — началъ онъ. — Удѣлите мнѣ минуту вниманія. Мнѣ нужно спросить васъ кое о чемъ. Впрочемъ, вамъ теперь не до меня. Я потомъ... послѣ...

Онъ опять сѣлъ и задумался. Горькій, умоляющій плачь, похожій на плачь дѣвочки, продолжался. Не дожидаясь его конца, Цвѣтковъ вздохнулъ и вышелъ изъ гостиной. Онъ направился въ дѣтскую къ Мишѣ. Мальчикъ попережнему лежалъ на спинѣ и неподвижно глядѣлъ въ одну точку, точно прислушиваясь. Докторъ сѣлъ на ея кровать и пощупалъ пульсъ.

— Миша, болитъ голова?—спросилъ онъ.

Миша отвѣтилъ не сразу:

— Да. Мнѣ все снится.

— Что же тебѣ снится?

— Все...

Докторъ, не умѣвшій говорить ни съ плачущими женщинами ни съ дѣтми, погладилъ его по горячей головѣ и пробормоталъ:

— Ничего, бѣдный мальчикъ, ничего... На этомъ свѣтѣ нельзя прожить безъ болѣзней... Миша, кто я? Ты узнаешь?

Миша не отвѣчалъ.

— Очень голова болитъ?

— О...очень. Миѣ все снится.

Осмотрѣвъ его и задавъ нѣсколько вопросовъ горничной, которая ходила за больнымъ, докторъ не слѣща вернулся въ гостиную. Тамъ уже было темно, и Ольга Ивановна, стоявшая у окна, казалась силуэтомъ.

— Зажечь огонь?—спросилъ Цвѣтковъ.

Отвѣта не послѣдовало. Слѣпень продолжалъ летать и стучать по потолку. Со двора не доносилось ни звука, точно весь міръ заодно съ докторомъ думалъ и не рѣшался говорить. Ольга Ивановна уже не плакала, а попрежнему въ глубокомъ молчаніи глядѣла на цвѣточную клумбу. Когда Цвѣтковъ подошелъ къ ней и сквозь сумерки взглянулъ на ея блѣдное, истомленное горемъ лицо, у нея было такое выраженіе, какое ему случалось видѣть ранѣе во время приступовъ сильнѣйшаго, одуряющаго мигрена.

— Николай Трофимычъ! — позвала она. — Послушайте, а если позвать консилиумъ?

— Хорошо, я приглашу завтра.

По тону доктора легко можно было судить, что онъ плохо вѣрилъ въ пользу консилиума. Ольга Ивановна хотѣла еще что-то спросить, но рыданія помѣшали ей. Она опять припала лицомъ къ драпировкѣ. Въ это время со двора отчетливо донеслись звуки оркестра, игравшаго на дачномъ кругу. Слышны были не только трубы, но даже скрипки и флейты.

— Если онъ страдаетъ, то почему же онъ молчитъ?—спросила Ольга Ивановна.—За весь день ни звука. Онъ никогда не жалуется и не плачетъ. Я знаю, Богъ беретъ отъ насъ этого бѣднаго мальчика, потому что мы не умѣли цѣнить его. Какое сокровище!

Оркестръ кончилъ маршь и минуту спустя, для начала бала, заигралъ веселый вальсъ.

— Господи, да неужели нельзя ничѣмъ помочь?—простонала Ольга Ивановна.—Николай! Ты докторъ и долженъ знать, чтò дѣлать! Поймите, что я не перенесу этой потери! Я не переживу!

Докторъ, не умѣвшій говорить съ плачущими женщинами, вздохнулъ и тихо зашагалъ по гостиной. Прошелъ рядъ томительныхъ паузъ, прерываемыхъ плачемъ и вопросами, которые ни къ чему не ведутъ. Оркестръ успѣлъ уже сыграть кадрили, польку и еще кадрили. Стало совсемъ темно. Въ смежной залѣ горничная зажгла лампу,

а докторъ все время не выпускалъ изъ рукъ шляпы и собирався сказать что-то. Ольга Ивановна нѣсколько разъ уходила къ сыну, сидѣла около него по полчаса и возвращалась въ гостиную; то и дѣло она принималась плакать и роптать. Время мучительно тянулось — и вечеръ, казалось, не имѣлъ конца.

Въ полночь, когда оркестръ сыгралъ котильонъ и умолкъ, докторъ собрался уѣзжать.

— Я завтра приѣду, — сказалъ онъ, пожимая холодную руку хозяйки. — Вы ложитесь спать.

Надѣвъ въ передней пальто и взявъ въ руки трость, онъ постоялъ, подумалъ и вернулся въ гостиную.

— Я, Ольга, завтра приѣду, — повторилъ онъ дрожащимъ голосомъ. — Слышите?

Она не отвѣчала и, казалось, отъ горя потеряла способность говорить. Въ пальто и не выпуская изъ рукъ трости, Цвѣтковъ сѣлъ рядомъ съ ней и заговорилъ тихимъ, нѣжнымъ полушопотомъ, который совсѣмъ не шелъ къ его солидной, тяжелой фигурѣ:

— Ольга! Во имя вашего горя, которое я раздѣляю... Теперь, когда ложь преступна, я умоляю васъ сказать мнѣ правду. Вы всегда увѣряли, что этотъ мальчикъ мой сынъ. Правда ли это?

Ольга Ивановна молчала.

— Вы были единственной привязанностью въ моей жизни, — продолжалъ Цвѣтковъ: — и вы не можете себя представить, какъ глубоко мое чувство оскорблялось ложью... Ну, прошу васъ, Ольга, хоть разъ въ жизни скажите мнѣ правду... Въ эти минуты невозможно лгать... Скажите, что Миша не мой сынъ... Я жду.

— Онъ вашъ.

Лица Ольги Ивановны не было видно, но въ ея голосѣ Цвѣткову послышалось колебаніе. Онъ вздохнулъ и поднялся.

— Даже въ такія минуты вы рѣшаетесь говорить ложь, — сказалъ онъ своимъ обыкновеннымъ голосомъ. — У васъ нѣтъ ничего святого! Послушайте, поймите меня... Въ моей жизни вы были единственной привязанностью. Да, были вы порочны, пошлы, но кромѣ васъ въ жизни я никого не любилъ. Эта маленькая любовь теперь, когда я становлюсь старъ, составляетъ единственное свѣтлое пятно въ моихъ воспоминаніяхъ. Зачѣмъ же вы затемняете его ложью? Къ чему?

— Я васъ не понимаю.

— А, Воже мой! — крикнулъ Цвѣтковъ. — Вы лжете, вы отлично понимаете! — крикнулъ онъ еще громче и зашагалъ по гостиной, сердито размахивая тростью. — Или вы забыли? Такъ я же вамъ напомню! Отечественія права на этого мальчика въ одинаковой степени раздѣляютъ со мной и Петровъ, и адвокатъ Куровскій, которые, такъ же, какъ и я, до сихъ поръ выдаютъ вамъ деньги на воспитаніе сына! Да-съ! Все это мнѣ отлично извѣстно! Я прощаю прошлую ложь, Богъ съ ней, но теперь, когда вы постарѣли, въ эти минуты, когда умираетъ мальчикъ, ваше лганье душитъ меня! Какъ я жалѣю, что не умѣю говорить! Какъ жалѣю!

Цвѣтковъ разстегнулъ пальто и, продолжая шагать, говорилъ:

— Дрянная женщина! На нее не дѣйствуютъ даже такія минуты! Она и теперь лжетъ такъ же свободно, какъ девять лѣтъ тому назадъ въ ресторанѣ «Эрмитажъ»! Она боится, что если откроетъ мнѣ истину, то я перестану выдавать ей деньги! Она думаетъ, что если бы она не лгала, то я не любилъ бы этого мальчика! Вы лжете! Это низко!

Цвѣтковъ стукнулъ тростью по полу и крикнулъ:

— Это гадко! Изломанное, исковерканное созданіе! Васъ надо презирать, и я долженъ стыдиться своего чувства! Да! Ваша ложь во всѣ девять лѣтъ стоитъ у меня поперекъ горла, я терпѣлъ ее, но теперь — довольно! Довольно!

Изъ темнаго угла, гдѣ сидѣла Ольга Ивановна, послышался плачь. Докторъ замолчалъ и крикнулъ. Наступило молчаніе. Докторъ медленно застегнулъ пальто и сталъ искать шляпу, которую онъ уронилъ, шагая.

— Я вышелъ изъ себя, — бормоталъ онъ, низко нагибаясь къ полу. — Совсѣмъ выпустилъ изъ виду, что вамъ теперь не до меня... Богъ знаетъ, чего наговорилъ. Вы, Ольга, не обращайтесь вниманія.

Онъ нашелъ шляпу и направился къ темному углу.

— Я оскорбилъ васъ, — сказалъ онъ тихимъ, ибжнмымъ полушопотомъ. — Но еще разъ умоляю васъ, Ольга. Скажите мнѣ правду. Между нами не должна стоять ложь... Я проговорился, и вы теперь знаете, что Петровъ и Куровскій не составляютъ для меня тайны. Стало-быть, вамъ теперь легко сказать правду.

Ольга Ивановна подумала и, замѣтно колеблясь, сказала:

— Николай, я не лгу. Миша вашъ.

— Боже мой, — простоналъ Цвѣтковъ: — такъ я же вамъ скажу еще больше: у меня хранится ваше письмо къ Петрову, гдѣ вы называете его отцомъ Миши! Ольга, я знаю правду, но мнѣ хочется слышать ее отъ васъ! Слышите?

Ольга Ивановна не отвѣчала и продолжала плакать. Подождавъ отвѣта, Цвѣтковъ пожалъ плечами и вышелъ.

— Я завтра приѣду, — крикнулъ онъ изъ передней.

Всю дорогу, сидя въ своей каретѣ, онъ поднималъ плечами и бормоталъ:

— Какъ жаль, что я не умѣю говорить! У меня нѣтъ дара убѣждать и увѣрять. Очевидно, она не понимаетъ меня, если лжетъ! Очевидно! Какъ же ей объяснить? Какъ?

1887.

ПЕРЕДЪ ЗАТМЕНИЕМЪ.

(Отрывокъ изъ ФЕЕРИ).

(Солнце и мѣсяцъ сидятъ за горизонтомъ и пьютъ пиво).

Солнце (задумчиво). М-да, братецъ ты мой... Четвертную изволь, а больше не могу.

Мѣсяцъ. Вѣрьте совѣсти, ваше сіятельство, самому дорожке стѣдить. Извольте сами посудить: господамъ астрономамъ желательно, чтобы затменіе началось въ Царствѣ Польскомъ въ 5 часовъ утра и кончилось въ Верхнеудинскѣ въ 12, стало-быть, я долженъ буду участвовать въ церемоніи семь часовъ-съ... Если положите мнѣ по пяти цѣлковыхъ за часъ, то и то дешево-съ (хватаетъ за шлейфъ мимо идущее облако и сморкается въ него). А вы не извольте скупиться, ваше сіятельство. Такое вамъ затменіе устрою, что даже адвокатамъ завидно станетъ. Останетесь довольны-съ...

Солнце (послѣ паузы). Странно, что ты торгуешься... Ты забываешь, что я приглашаю тебя принять участіе въ церемоніи, имѣющей міровой характеръ, что это затменіе дастъ тебѣ популярность...

Мѣсяцъ (со вздохомъ и съ горечью). Знаемъ мы эту популярность, ваше сіятельство! «Спрятался мѣсяцъ за тучку» и больше ничего. Одна только диффамация... (пѣть). Или: «На штыкѣ у часового горитъ полночная луна». И тоже вотъ: «Мѣсяцъ плыветъ по почнымъ небесамъ»... Отродясь не плавалъ, ваше сіятельство, за что же такая обида?

Солнце. М-да, дѣйствительно, отношеніе печати къ тебѣ по меньшей мѣрѣ странно... Но потерпи, братецъ... Придетъ время, и тебя оцѣнитъ исторія... (По землѣ съ грохотомъ проѣзжаетъ ассенизація; обѣ планеты хватаютъ по тучкѣ и зажимаютъ ими носы).

Мѣсяцъ. Не продохнешь... Порядки на землѣ, нечего сказать! Нестоящая планета! (Пѣть). Не забыть мнѣ по гробъ жизни, какъ меня господинъ Пушкинъ обругалъ. «Эта глупая луна на этомъ глупомъ небосклонѣ»...

Солнце. Конечно, обидно, но все-таки, братъ, реклама! Я думаю, Юганнъ Гоффъ и Качъ дорого бы дали за то, чтобъ ихъ Пушкинъ выбранилъ нехорошими словами... Реклама — великая штука. Вотъ, погоди, будетъ затменіе, и о тебѣ заговорять.

Мѣсяцъ. Нѣтъ, ужъ это атанде, ваше сіятельство. Въ затменіи ежели кому и будетъ слава, то только вамъ. Того не знаютъ, что вы безъ меня какъ безъ рукъ... Кому васъ заслонять безъ меня? Ежели какого адвоката позовете, то онъ съ васъ тысячи двѣ сдеретъ. А я, такъ и быть ужъ, извольте, за три красненькихъ.

Солнце (подумавъ). Ну, ладно, только смотри, не просить потомъ на чай. Пей! (Наливаетъ). Надѣюсь, что ты постарашься...

Мѣсяцъ. Это будьте покойны... Затменіе выйдетъ по зовѣсти, первый сортъ-съ... Съ самага сотворенія міра лунный свѣтъ поставляю и никакихъ неудовольствіевъ... Все будетъ честно и благородно. Позвольте задаточекъ...

Солнце (даетъ задатокъ). Я слышу, какъ выѣхали водовозы... Пора мнѣ восходить... Ну, затменіе я думаю устроить 7-го августа, утромъ... Къ этому времени ты будь готовъ... Ты заслонишь меня такъ, чтобы затменіе было по возможности полное...

Мѣсяцъ. А на какія мѣста прикажете тѣнь наводить?

Солнце (подумавъ). Пріятно было бы щегольнуть передъ Западной Европой, но едва ли тамъ оцѣнятъ нашу затѣю... Тамошніе дипломаты считаютъ себя специалистами

по части затмений, а потому удивить ихъ трудно.... Остается, стало-быть, Россія... Такъ хотять и астрономы. Ну-съ, наводи тѣнь на Москву, но тоже съ умомъ. Постарайся, чтобы затменіе вышло тенденціозно. Ты покрой потемками только сѣверную часть Москвы, а южную оставь... Пусть Замоскворѣчье, которое находится въ южной части, увидитъ, какъ мы его игнорируемъ... Темное царство!

Мѣсяцъ. Слушаю, ваше сіятельство.

Солнце. И къ тому же купцы не поймутъ затменія... Многіе изъ нихъ вернулись изъ Нижняго и еще не проспались, а купчихи вообразятъ чортъ знаетъ чтѣ... Ну-съ, тронемъ мы слегка Клинь, Завидово, вообще мѣста, гдѣ собрались астрономы, потомъ къ Казани и т. д. Я еще подумаю... (пауза).

Мѣсяцъ. Ваше сіятельство, скажите по совѣсти, за какимъ лѣшимъ вы это затменіе затѣяли?

Солнце. Видишь ли... но, надѣюсь, это между нами... я придумалъ затменіе, чтобы возстановить свою популярность... Въ послѣднее время я замѣчалъ равнодушіе публики... Обо мнѣ какъ-то мало говорили и не замѣчали моего свѣта. Я даже слышалъ, что солнце устарѣло, что оно — абсурдъ, что и безъ него легко обойтись... Многіе отрицали меня даже въ печати... Я думаю, что затменіе заставитъ всѣхъ говорить обо мнѣ. Это разъ. Вторыхъ, человѣчеству все пріѣлось и надоѣло... Ему хочется разнообразія... Знаешь, когда купчихѣ надоѣдаетъ варенье и пастила, она начинаетъ жрать крупу; такъ, когда человѣчеству надоѣдаетъ дневной свѣтъ, нужно угощать его затменіемъ... Однако пора мнѣ восходить... Охотнорядскіе молодцы уже идутъ на рынокъ. Прощай.

Мѣсяцъ. Еще одно слово, ваше сіятельство... (Несмѣло) На случай затменія вы воздержались бы отъ этой штуки... (указываетъ на пивныя бутылки). Не ровень часъ будете подъ шафе, и какъ бы конфуза не вышло.

Солнце. Да, нужно будетъ воздержаться... (Сообразивъ) Впрочемъ, если случится грѣхъ, выпью не въ мѣру, то... мы небо закроемъ облаками, и насъ никто не увидитъ... Однако прощай, пора... (восходитъ—увы—закрываетъ облаками и туманами).

Мѣсяцъ. Грѣхи наши тяжкіе! (ложится и укрывается облакомъ; черезъ минуту слышится храпъ).

ДОБРЫЙ НѢМЕЦЪ.

Иванъ Карловичъ Швей, старшій мастеръ на сталелитейномъ заводѣ Функъ и К^о, былъ посланъ хозяиномъ въ Тверь исполнить на мѣстѣ какой-то заказъ. Провозился онъ съ заказомъ мѣсяца четыре и такъ соскучился по своей молодой женѣ, что потерялъ аппетитъ и раза два принимался плакать. Возвращаясь назадъ въ Москву, онъ всю дорогу закрывалъ глаза и воображалъ себѣ, какъ онъ пріѣдетъ домой, какъ кухарка Марья отворитъ ему дверь, какъ жена Наташа бросится къ нему на шею и вскрикнетъ...

«Она не ожидаетъ меня,—думалъ онъ.—Тѣмъ лучше. Неожиданная радость — это очень хорошо...»

Пріѣхалъ онъ въ Москву съ вечернимъ поѣздомъ. Пока артельщикъ ходилъ за его багажомъ, онъ успѣлъ выпить въ буфетѣ двѣ бутылки пива... Отъ пива онъ сталъ очень добрымъ, такъ что, когда извозчикъ везъ его съ вокзала на Прѣсную, онъ все время бормоталъ:

— Ты, извозчикъ, хорошій извозчикъ... Я люблю русскихъ людей!.. Ты русскій, и моя жена русскій, и я русскій... Мой отецъ нѣмецъ, а я русскій человѣкъ... Я желаю драться съ Германіей...

Какъ онъ и мечталъ, дверь отворила ему кухарка Марья.

— И ты русскій и я русскій...—бормоталъ онъ, отдавая Марьѣ багажъ. — Всѣ мы русскіе люди и имѣемъ русскіе языки... А гдѣ Наташа?

— Она спитъ.

— Ну, не буди ея... Тсс... Я самъ разбужу... Я желаю ее испугать и буду сюрпризъ... Тссс!

Сонная Марья взяла багажъ и ушла въ кухню.

Улыбаясь, потирая руки и подмигивая глазомъ, Иванъ Карлычъ на цыпочкахъ подошелъ къ двери, ведущей въ спальную, и осторожно, боясь скрипнуть, отворилъ ее...

Въ спальнѣ было темно и тихо...

«Я сейчасъ буду ее испугать»,—подумалъ Иванъ Карлычъ и зажегъ спичку...

Но—бѣдный нѣмецъ!—пока на его спичкѣ разгоралась синимъ огонькомъ сѣра, онъ увидѣлъ такую картину. На кровати, что ближе къ стѣнѣ, спала женщина, укрытая съ головою, такъ что видны были однѣ только голыя пятки; на другой кровати лежалъ громадный мужчина съ большой рыжей головой и съ длинными усами...

Иванъ Карлычъ не повѣрилъ глазамъ своимъ и зажегъ другую спичку... Сжегъ онъ одну за другой пять спичекъ — и картина представлялась все такую же невѣроятной, ужасной и возмутительной. У нѣмца подкосились ноги и одеревянѣла отъ холода спина. Пивной хмель вдругъ вышелъ изъ головы, и ему уже казалось, что душа перевернулась вверхъ ногами. Первою его мыслью и желаніемъ было — взять стулъ и хватить имъ со всего размаха по рыжей головѣ, потомъ схватить невѣрную жену за голую пятку и швырнуть ее въ окно такъ, чтобы она выбила обѣ рамы и со звономъ полетѣла внизъ на мостовую.

«О, нѣтъ, этого мало!—рѣшилъ онъ послѣ нѣкотораго размышленія. — Сначала я буду срамить ихъ, пойду позову полицію и родню, а потомъ буду убивать ихъ...»

Онъ надѣлъ шубу и черезъ минуту уже шелъ по улицѣ. Тутъ онъ горько заплакалъ. Онъ плакалъ и думалъ о людской неблагодарности. Эта женщина съ голыми пятками была когда-то бѣдной швейкой, и онъ осчастливилъ ее, сдѣлавъ женою ученаго мастера, который у Функа и К^о получаетъ 750 рублей въ годъ! Она была ничтожной, ходила въ ситцевыхъ платьяхъ, какъ горничная, а благодаря ему она ходитъ теперь въ шляпкѣ и перчаткахъ, и даже Функъ и К^о говорить ей «вы»...

И онъ думалъ: какъ ехидны и лукавы женщины! Наташа дѣлала видъ, что выходила за Ивана Карлыча по страстной любви, и каждую недѣлю писала ему въ Тверь нѣжныя письма...

«О, змѣя,—думалъ Швей, идя по улицѣ. — О, зачѣмъ я женился на русскомъ чловѣкѣ? Русскій нехорошій че-

ловѣкъ! Варваръ, мужикъ! Я желаю драться съ Россіей, чортъ меня возьми!»

Немного погодя онъ думалъ:

«И удивительно, промѣняла меня на какого-то каналью съ рыжей головой! Ну, полюби она Функа и К^о, я простилъ бы ей, а то полюбила какого-то чорта, у котораго нѣтъ въ карманѣ гривенника! О, я несчастный человѣкъ!»

Отеревъ глаза, Швей зашелъ въ трактиръ.

— Дай мнѣ бумаги и чернилъ!—сказалъ онъ половому. — Я желаю писать!

Дрожащею рукою онъ написалъ сначала письмо къ родителямъ жены, живущимъ въ Серпуховѣ. Онъ писалъ старикамъ, что честный ученый мастеръ не желаетъ жить съ распутной женщиной, что родители свиньи и дочери ихъ свиньи, что Швей желаетъ плевать на кого угодно... Въ заключеніе онъ требовалъ, чтобы старики взяли къ себѣ свою дочь вмѣстѣ съ ея рыжимъ мерзавцемъ, котораго онъ не убилъ только потому, что не желаетъ марать рукъ.

Затѣмъ онъ вышелъ изъ трактира и опустилъ письмо въ почтовый ящикъ. До четырехъ часовъ утра блуждалъ онъ по городу и думалъ о своемъ горѣ. Вѣдняя поху-дѣлъ, осунулся и пришелъ къ заключенію, что жизнь — это горькая насмѣшка судьбы, что жить — глупо и недостойно порядочнаго нѣмца. Онъ рѣшилъ не мстить ни женѣ ни рыжему человѣку. Самое лучшее, что онъ могъ сдѣлать, это — наказать жену великодушіемъ.

«Пойду, выскажу ей все,—думалъ онъ, идя домой:—а потомъ лишу себя жизни... Пусть будетъ счастлива со своимъ рыжимъ, а я мѣшать не буду...»

И онъ мечталъ, какъ онъ умретъ, и какъ жена будетъ томиться отъ угрызеній совѣсти.

— Мое имущество я ей оставляю, да!—бормоталъ онъ, дергая за свой звонокъ. — Рыжій лучше меня, пусть-ка тоже заработаетъ 750 рублей въ годъ!

И на этотъ разъ дверь отворила ему кухарка Марья, которая очень удивилась, увидѣвъ его.

— Позови Наталью Петровну,—сказалъ онъ, не снимая шубы. — Я желаю разговаривать...

Черезъ минуту предъ Иваномъ Карлычемъ стояла молодая женщина въ одной сорочкѣ, босая и съ удивленнымъ лицомъ... Плача и поднимая обѣ руки вверхъ, обманутый мужъ говорилъ:

— Я все знаю! Меня нельзя обмануть! Я собственными глазами видѣлъ рыжаго скотину съ длинными усами!

— Ты съ ума сошелъ!—крикнула жена.—Что ты такъ кричишь? Разбудишь жильцовъ!

— О, рыжій мошенникъ!

— Говорю же тебѣ, не кричи! Напился пьянъ и кричить! Ступай спать!

— Не желаю я спать съ рожимъ на одной кровати! Прощай!

— Да ты съ ума сошелъ!—разсердилась жена.—Вѣдь у насъ жильцы! Въ той комнатѣ, гдѣ была наша спальня, слесарь съ женой живетъ!

— А...а? Какой слесарь?

— Да рыжій слесарь съ женой. Я ихъ пустила за четыре рубля въ мѣсяць... Не кричи, а то разбудишь!

Нѣмецъ выпучилъ глаза и долго смотрѣлъ на жену; потомъ нагнулъ голову и медленно свиснулъ...

— Теперь я понимаю...—сказалъ онъ.

Немного погоды нѣмецкая душа опять уже приняла свое прежнее положеніе, и Иванъ Карлычъ чувствовалъ себя прекрасно.

— Ты у меня русскій,—бормоталъ онъ:—и кухарка русскій, и я русскій... Всѣ имѣемъ русскіе языки... Слесарь хорошій слесарь, и я желаю его обнимать... Функъ и К^о тоже хорошій Функъ и К^о... Россія великолѣпная земля... Съ Германіей я желаю драться...

1887.

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ.

(Разсказъ очевидцевъ).

Когда половой перечислилъ ему тѣ немногія кушанья, какія можно достать въ трактирѣ, онъ подумалъ и сказалъ :

— Въ такомъ случаѣ дай намъ двѣ порціи щей со свѣжей капустой и цыпленка, да спроси у хозяина, нѣтъ ли у васъ тутъ краснаго вина...

Затѣмъ всѣ видѣли, какъ онъ поглядѣлъ на потолокъ и сказалъ, обращаясь къ половому :

— Удивительно, какъ много у васъ мухъ!

Мы говоримъ онъ, потому что ни половые, ни хозяинъ, ни посѣтители трактира не знали, кто онъ, какого званія, откуда и зачѣмъ пріѣхалъ въ нашъ городъ. Это былъ солидный, достаточно уже пожилой господинъ, прилично одѣтый и, повидимому, благонамѣренный. По одеждѣ его можно было принять даже за аристократа. Мы замѣтили на немъ золотыя часы, булавку съ жемчужиной, а въ кастановой шляпѣ его лежали перчатки съ модными застежками, какія мы видѣли раньше у вице-губернатора. Обѣдая, онъ все время старался блеснуть передъ нами своей воспитанностью: держалъ вилку въ лѣвой рукѣ, утирался салфеткой и морщился, когда въ рюмки падали мухи. Всякій знаетъ, что тамъ, гдѣ есть мухи, посуда не можетъ быть чистой; не говоря ужъ о простыхъ посѣтителяхъ, даже такія лица, какъ исправникъ, становой и проѣзжіе помѣщики, обѣдая въ трактирѣ, никогда не жалуются, если имъ подають тарелку или рюмку, загаженную мухами; онъ же не сталъ ѣсть прежде, чѣмъ половой не помылъ тарелки въ горячей водѣ. Очевидно, форсиль и старался показаться благороднѣе, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ.

Когда ему подали щи, къ его столу подошла еще новая, столь же незнакомая личность съ лысиной, съ бритымъ лицомъ и въ золотыхъ очкахъ. Этотъ новый господинъ былъ одѣтъ въ шелковый костюмъ и тоже имѣлъ золотые часы. Все время онъ говорилъ по-французски, съ любопытствомъ осматривалъ кушанья и посѣтителей, такъ что нетрудно было узнать въ немъ иностранца. Кто онъ, откуда и зачѣмъ пожаловалъ въ нашъ городъ, мы тоже не знали.

Съѣвъ первую ложку щей, онъ, т.-е. тотъ, у котораго была булавка съ жемчужиной, покрутилъ головой и сказалъ насмѣшливо:

— Эти балбесы умудряются даже свѣжей капустѣ придавать запахъ тухлятины. Невозможно ѣсть. Послушай, любезный, неужели у васъ тутъ все живутъ по-свински? Во всемъ городѣ нельзя достать порцію мало-мальски приличныхъ щей. Это удивительно!

Затѣмъ онъ сталъ говорить что-то по-французски своему товарищу-иностранцу. Изъ его рѣчи мы помнимъ только слово «кошонъ». Вытащивъ изъ щей прусака, онъ обратился къ половому и сказалъ:

— Я просилъ щей съ мясомъ, а не съ прусаками. Болванъ!

— Сударь, — отвѣтилъ половой: — вѣдь не я его въ щи посадилъ, а онъ самъ туда попалъ. А вы не извольте беспокоиться: тараканы не кусаются.

Потребовавъ послѣ цыпленка листъ бумаги и карандашъ, онъ сталъ рисовать какіе-то круги и писать цифры. Иностранецъ не соглашался и долго спорилъ съ нимъ, мотая въ знакъ несогласія головой. Листъ, исписанный кругами и цифрами, до сихъ поръ хранится у хозяина трактира; штатный смотритель уѣздныхъ училищъ, которому хозяинъ показывалъ этотъ листъ, долго смотрѣлъ на круги, потомъ вздохнулъ и сказалъ: — «Темна вода во облацѣхъ!» Расплачиваясь за обѣдъ, онъ, т.-е. тотъ, у котораго была на галстукѣ жемчужина, далъ половому новую пятирублевую бумажку. Настоящая эта бумажка или фальшивая, намъ неизвѣстно, такъ какъ посмотреть на нее мы не догадались.

— Послушай, въ которомъ часу утра вы отворяете трактиръ? — спросилъ онъ у полового.

— Съ восходомъ солнца...

— Отлично. Завтра въ пять часовъ утра мы придемъ

пить чай. Приготовишь порцію, только безъ мухъ. А тебѣ извѣстно, что будетъ завтра утромъ?—спросилъ онъ, лукаво подмигнувъ глазомъ.

— Никакъ нѣтъ.

— А! Завтра утромъ вы будете поражены и ошеломлены.

Пригрозивъ такимъ образомъ, онъ, смѣясь, сказалъ что-то иностранцу и вмѣстѣ съ нимъ вышелъ изъ трактира. Оба они ночевали у Марьи Егоровны, одинокой, благочестивой вдовы, которая нисколько не виновата и не могла быть соучастницей. Тенерь она все время плачетъ, боясь, что ее заберутъ. Зная ея образъ мыслей, мы удостоверяемъ, что она не виновата. Къ тому же, судите сами, развѣ она, пуская къ себѣ постояльцевъ, могла знать заранѣе, какія у нихъ мысли?

На другой день утромъ, равно въ пять часовъ незнакомцы были уже въ трактирѣ. Въ этотъ разъ они явились съ портфелями, книгами и какими-то футлярами странной формы. Въ ихъ рѣчахъ и движеніяхъ были замѣтны волненіе и спѣшка. Онъ, т.-е. не иностранецъ, сказалъ:

— Съ сѣверо-запада идетъ туча. Какъ бы она намъ не помѣшала!

Выпивъ стаканъ чаю, онъ позвалъ хозяина трактира и приказалъ ему поставить около трактира на площади столъ и два стула. Хозяинъ, человекъ необразованный, хотя предчувствовалъ недоброе, но исполнилъ это приказаніе. Незнакомцы забрали свои вещи и, выйдя изъ трактира, сѣли около стола на стулья. Разсѣлись среди площади при всемъ народѣ— какъ это глупо! О чемъ-то говоря между собою, они разложили на столѣ бумаги, чертежи, черныя стекла и какія-то трубки. Когда хозяинъ несмѣло подошелъ къ нимъ и нагнулся къ столу, то онъ, т.-е. тотъ, у котораго была жемчужина, отстранилъ его рукой и сказалъ:

— Не суй своего толстаго носа, куда не слѣдуетъ.

Затѣмъ онъ взглянулъ на часы и, сказавъ что-то иностранцу, сталъ смотрѣть въ темное стекло на солнце. Иностранецъ взялъ одну изъ трубокъ и сталъ смотрѣть туда же... Вскорѣ послѣ этого произошло страшное, доселѣ невиданное несчастье. Мы всѣ вдругъ стали замѣчать, что небо и земля начали темнѣть, какъ бы отъ приближающейся грозы. Когда же иностранецъ положилъ трубку и, что-то быстро записавъ, взялъ въ руки темное стекло, мы услышали, какъ кто-то крикнулъ:

— Господа, солнце закрывается!

Дѣйствительно, что-то черное, очень похожее на сковороду, надвигалось на солнце и заслоняло его отъ земли. Видя, что уже нѣтъ половины солнца, и что все-таки незнакомцы продолжаютъ свои странныя дѣйствія, нѣкоторые изъ насъ обратились къ городовому Власову и сказали ему:

— Городовой, что же ты не обращаешь вниманія на безпорядокъ?

Онъ отвѣтилъ:

— Солнце не въ моемъ участкѣ.

Благодаря такой халатности мѣстныхъ властей, скоро мы увидѣли, что исчезло все солнце. Наступила ночь, а куда дѣвался день, никому изъ насъ неизвѣстно. На небѣ появились звѣзды. Отъ такого несвоевременнаго наступленія ночи въ нашемъ городѣ произошли слѣдующія событія. Всѣ мы страшно перепугались и пришли въ смятеніе. Не зная, что дѣлать, мы въ ужасѣ бѣгали по площади и, толкая другъ друга, кричали: «Городовой! Городовой!» Коровы, быки и лошади (въ это время у насъ была скотская ярмарка), задравъ хвосты и ревя, въ страхѣ носились по городу, пугая жителей. Собаки выли. Клопы въ трактирныхъ номерахъ, вообразивъ, что настала ночь, вылѣзли изъ щелей и принялись отчаянно жалить спящихъ. Дьяконъ Фантазмагорскій, который въ это время везъ къ себѣ изъ огорода огурцы, ужаснувшись, выскочилъ изъ телѣги и спрятался подъ мостъ, а его лошадь въѣхала съ телѣгой въ чужой дворъ, гдѣ огурцы были съѣдены свиньями. Акцизный Лыстецовъ, ночевавшій не дома, а у сосѣдки (въ интересахъ правосудія мы не можемъ скрыть эту подробность), выскочилъ на улицу въ одномъ нижнемъ бѣльѣ и, вбѣжавъ въ толпу, закричалъ дикимъ голосомъ:

— Спасайся, кто можетъ!

Многія дамы, разбуженные шумомъ, выскочили на улицу, не надѣвъ даже башмаковъ. Произошло еще много такого, что мы рѣшимся рассказать только при закрытыхъ дверяхъ. Не испугались и сохранили присутствіе духа одни только пожарные, которые въ это время крѣпко спали, что мы и спѣшимъ удостовѣрить. Все это произошло 7-го августа утромъ.

Незнакомцы, папакостивши такимъ образомъ, уложили свои бумаги въ портфели и, когда солнце показалось вновь,

сѣли въ коляску и укатили неизвѣстно куда. Кто они, мы до сихъ поръ не знаемъ. Сообщаемъ ихъ вримѣты. Онъ, т.-е. тотъ, у котораго была булавка съ жемчужиной: ростъ средній, лицо чистое, подбородокъ умѣренный, на лбу морщины; иностранецъ: ростъ средній, тѣлосложеніе полное, лицо бритое, чистое, подбородокъ умѣренный; издали похожъ на помѣщика Карасевича; близорукъ, почему и носить очки.

Не австрійскіе ли это шпионы?

1887.

У ЗНАКОМЫХЪ.

Утромъ пришло письмо:

«Милый Миша, вы насъ забыли совсѣмъ, пріѣзжайте поскорѣе, мы хотимъ васъ видѣть. Умоляемъ васъ обѣ на колѣняхъ, пріѣзжайте сегодня, покажите ваши ясныя очи. Ждемъ съ нетерпѣніемъ.

«Та и Ва».

„Кузьминки, 7 іюня“.

Письмо было отъ Татьяны Алексѣевны Лосевой, которую лѣтъ десять-двѣнадцать назадъ, когда Подгоринъ живалъ въ Кузьминкахъ, называли сокращенно «Та». Но кто же «Ва»? Вспомнились Подгорину длинные разговоры, веселый смѣхъ, романы, прогулки по вечерамъ и цѣлый цвѣтникъ дѣвушекъ и молодыхъ женщинъ, жившихъ когда-то въ Кузьминкахъ и около, и вспомнилось простое, живое, умное лицо съ веснушками, которыя такъ шли къ темно-рыжимъ волосамъ, — это Варя, или Варвара Павловна, подруга Татьяны. Она кончила на медицинскихъ курсахъ и служитъ гдѣ-то за Тулой, на фабрикѣ, и теперь, очевидно, пріѣхала въ Кузьминки погостить.

«Милая Ва! — думалъ Подгоринъ, отдаваясь воспоминаніямъ. — Какая она славная!»

Татьяна, Варя и онъ были почти однихъ лѣтъ; но тогда онъ былъ студентомъ, а онѣ уже взрослыми дѣвушками-невѣстами, и на него смотрѣли, какъ на маль-

чика. И теперь, хотя онъ былъ уже адвокатомъ и начиналъ сѣдѣть, они все еще называли его Мишей и считали молодымъ, и говорили, что онъ еще ничего не испыталъ въ жизни.

Онъ любилъ ихъ очень, но больше, кажется, любилъ въ своихъ воспоминаніяхъ, чѣмъ такъ. Настоящее было ему мало знакомо, непонятно и чуждо. Было чуждо и это короткое, игривое письмо, которое, вѣроятно, сочиняли долго, съ напряженіемъ, и когда Татьяна писала, то за ея спиной, навѣрное, стоялъ ея мужъ Сергѣй Сергѣичъ... Кузьминки попли въ приданое только шесть лѣтъ назадъ, но уже разорены этимъ самымъ Сергѣемъ Сергѣичемъ, и теперь всякій разъ, когда приходится платить въ банкъ или по закладнымъ, къ Подгорину обращаются за совѣтомъ, какъ къ юристу, и мало того, уже два раза просили у него займы. Очевидно, и теперь хотѣли отъ него совѣта или денегъ.

Уже не тянуло въ Кузьминки, какъ прежде. Грустно тамъ. Нѣтъ уже ни смѣха, ни шума, ни веселыхъ, безпечныхъ лицъ, ни свиданій въ тихія лунныя ночи, а главное—нѣтъ уже молодости; да и все это, вѣроятно, очаровательно только въ воспоминаніяхъ... Кромѣ Та и Ва, тамъ есть еще На, сестра Татьяны, Надежда, которую въ шутку и серьезно называли его невѣстой; она выросла на его глазахъ, рассчитывали, что онъ на ней женится, и одно время онъ былъ влюбленъ въ нее и собирался сдѣлать предложеніе; но вотъ ей уже двадцать четвертый годъ, а онъ все еще не женился...

«Какъ все это сложилось однако, — думалъ онъ теперь, въ смущеніи перечитывая письмо. — А не поѣхать нельзя, обидятся...»

То, что онъ давно уже не былъ у Лосевыхъ, камнемъ лежало у него на совѣсти. И, походивъ по комнатѣ, подумавъ, онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе и рѣшилъ поѣхать къ нимъ дня на три, отбыть эту повинность и потомъ быть свободнымъ и покойнымъ по крайней мѣрѣ до будущаго лѣта. И, собираясь послѣ завтрака на Брестскій вокзалъ, онъ сказалъ прислугѣ, что вернется черезъ три дня.

Отъ Москвы до Кузьминокъ было два часа ѣзды и потомъ отъ станціи на лошадахъ минутъ двадцать. Уже со станціи виденъ былъ лѣсъ Татьяны и три высокихъ, узкихъ дачи, которыя началъ строить и не достроилъ

Лосевъ, пускавшійся въ первые годы послѣ женитьбы на разныя аферы. Разорили его и эти дачи, и разныя хозяйственныя предпріятія, и частыя поѣздки въ Москву, гдѣ онъ завтракалъ въ Славянскомъ Базарѣ, обѣдалъ въ Эрмитажѣ и кончалъ день на Малой Бронной или на Живодеркѣ у цыганъ (это называлъ онъ «встряхнуться»). Подгоринъ самъ и выпивалъ, иногда по многу, и бывалъ у женщинъ безъ разбора, но лѣнливо, холодно, не испытывая никакого удовольствія, и имъ овладѣвало брезгливое чувство, когда въ его присутствіи этому отдавались со страстью другіе, и онъ не понималъ людей, которые на Живодеркѣ чувствуютъ себя свободнѣе, чѣмъ дома, около порядочныхъ женщинъ, и не любилъ такихъ людей; ему казалось, что всякая нечистота пристаётъ къ нимъ, какъ репейникъ. И Лосева онъ не любилъ и считалъ его неинтереснымъ, ни на что не способнымъ, лѣнливымъ малымъ, и въ его обществѣ не разъ испытывалъ брезгливое чувство...

Тотчасъ за лѣсомъ его встрѣтили Сергѣй Сергѣичъ и Надежда.

— Дорогой мой, что же это вы насъ забыли? — говорилъ Сергѣй Сергѣичъ, цѣлуясь съ нимъ три раза и потомъ держа его за талию обѣими руками. — Вы насъ совсѣмъ разлюбили, дружище.

У него были крупныя черты, толстый носъ, негустая русая борода; волосы онъ зачесывалъ на бокъ, покупечески, чтобы казаться простымъ, чисто русскимъ. Онъ, когда говорилъ, дышалъ собесѣднику прямо въ лицо, а когда молчалъ, то дышалъ носомъ, тяжело. Его унитанное тѣло и излишняя сытость стѣсняли его, и онъ, чтобы легче дышать, все выпячивалъ грудь, и это придавало ему надменный видъ. Рядомъ съ нимъ Надежда, его свояченица, казалась воздушной. Это была свѣтлая блондинка, блѣдная, съ добрыми, ласковыми глазами, стройная; красивая или нѣтъ — Подгоринъ понять не могъ, такъ какъ зналъ ее съ дѣтства и приглядѣлся къ ея наружности. Теперь она была въ бѣломъ платьѣ, съ открытой шеей, и это впечатлѣніе бѣлой, длинной, голой шеи было для него ново и не совсѣмъ пріятно.

— Мы съ сестрой ждемъ васъ съ утра, — сказала она. — У насъ Варя, и тоже ждетъ васъ.

Она взяла его подъ руку и вдругъ засмѣялась безъ причины и издала легкій, радостный крикъ, точно была

внезапно очарована какою-то мыслью. Поле съ цвѣтущей рожью, которое не шевелилось въ тихомъ воздухѣ, и лѣсъ, озаренный солнцемъ, были прекрасны; и было похоже, что Надежда замѣтила это только теперь, идя рядомъ съ Подгоринымъ.

— Я пріѣхалъ къ вамъ на три дня, — сказалъ онъ. — Простите, раньше никакъ не могъ выбратъся изъ Москвы.

— Нехорошо, нехорошо, забыли насъ совсѣмъ, — говорилъ Сергѣй Сергѣичъ съ добродушной укоризной. — *Jamais de ma vie!* — сказалъ онъ вдругъ и щелкнулъ пальцами.

У него была манера неожиданно для собесѣдника произносить въ формѣ восклицанія какую-нибудь фразу, не имѣвшую никакого отношенія къ разговору, и при этомъ щелкать пальцами. И всегда онъ подражалъ кому-нибудь; если закатывалъ глаза, или небрежно откидывалъ назадъ волосы, или впадалъ въ паѳосъ, то это значило, что наканунѣ онъ былъ въ театрѣ или на обѣдѣ, гдѣ говорили рѣчи. Теперь онъ шелъ, какъ подагрикъ, мелкими шагами, не сгибая колѣнъ, — должно-быть, тоже подражалъ кому-то.

— Знаете, Таня не вѣрила, что вы пріѣдете, — сказала Надежда. — У меня же в у Вари было предчувствіе; я почему-то знала, что вы пріѣдете именно съ этимъ поѣздомъ.

— *Jamais de ma vie!* — повторилъ Сергѣй Сергѣичъ.

Въ саду на террасѣ поджидали дамы. Десять лѣтъ назадъ Подгоринъ — онъ былъ тогда бѣднымъ студентомъ — преподавалъ Надеждѣ математику и исторію, за столъ и квартиру; и Варя, курсистка, кстати брала у него уроки латинскаго языка. А Таня, тогда уже красивая, взрослая дѣвушка, ни о чемъ не думала, кромѣ любви, и хотѣла только любви и счастья, страстно хотѣла, и ожидала жениха, который грезился ей дни и ночи. И теперь, когда ей было уже болѣе тридцати лѣтъ, такая же красивая, видная, какъ прежде, въ широкомъ пенюарѣ, съ полными, бѣлыми руками, она думала только о мужѣ и о своихъ двухъ дѣвочкахъ, и у нея было такое выраженіе, что хотя вотъ она говоритъ и улыбается, но все же она себѣ на умѣ, все же она на стражѣ своей любви и своихъ правъ на эту любовь и всякую минуту готова броситься на врага, который захотѣлъ бы отнять у нея мужа и дѣтей. Она любила

сильно и, казалось ей, была любима взаимно, по ревность и страхъ за дѣтей мучили ее постоянно и мѣшали ей быть счастливой.

Послѣ шумной встрѣчи на террасѣ, всѣ, кромѣ Сергѣя Сергѣича, пошли въ комнату Татьяны. Сквозь опущенныя шторы сюда не проникали солнечные лучи, было сумеречно, такъ что всѣ розы въ большомъ букетѣ казались одного цвѣта. Подгорина усадили въ старое кресло у окна, Надежда сѣла у его ногъ, на низкой скамеечкѣ. Онъ зналъ, что кромѣ ласковыхъ попрековъ, шутокъ, которые слышались теперь и такъ напоминали ему прошлое, будетъ еще неприятный разговоръ о векселяхъ и закладныхъ, — этого не миновать, — и подумалъ, что, пожалуй, было бы лучше поговорить о дѣлахъ теперь же, не откладывая; отдѣлаться поскорѣе и — потомъ въ садъ, на воздухъ...

— Не поговорить ли намъ сначала о дѣлахъ? — сказалъ онъ. — Что у васъ тутъ въ Кузьминкахъ новенькаго? Все ли благополучно въ датскомъ королевствѣ?

— Нехорошо у насъ въ Кузьминкахъ, — отвѣтила Татьяна и печально вздохнула. — Ахъ, наши дѣла такъ плохи, такъ плохи, что хуже, кажется, и быть не можетъ, — сказала она и въ волненіи прошла по комнатѣ. — Имѣніе наше продается, торги назначены на седьмое августа, уже вездѣ публикации, и покупатели прѣзжаютъ сюда, ходятъ по комнатамъ, смотрять... Всякій теперь имѣетъ право входить въ мою комнату и смотрѣть. Юридически это, быть-можетъ, справедливо, но это меня унижаетъ, оскорбляетъ глубоко. Платить намъ нечѣмъ и взять займы уже негдѣ. Однимъ словомъ, ужасно, ужасно! Клянусь вамъ, — продолжала она, оставаясь среди комнаты, голосъ ея дрожалъ и изъ глазъ брызнули слезы: — клянусь вамъ всѣмъ святымъ, счастьемъ моихъ дѣтей, безъ Кузьминокъ я не могу! Я здѣсь родилась, это мое гнѣздо, и если у меня отнимутъ его, то я не переживу, я умру съ отчаянія.

— Миѣ кажется, вы слишкомъ мрачно смотрите, — сказалъ Подгоринъ. — Все обойдется. Вашъ мужъ будетъ служить, вы войдете въ новую колею, будете жить по-новому.

— Какъ вы можете это говорить! — крикнула Татьяна; теперь она казалась очень красивой и сильной, и то, что она каждую минуту была готова броситься на врага, ко-

торый захотѣлъ бы отнять у нея мужа, дѣтей и гнѣздо, было выражено на ея лицѣ и во всей фигурѣ особенно рѣзко. — Какая тамъ новая жизнь! Сергѣй хлопочетъ, ему обѣщали мѣсто податного инспектора гдѣ-то тамъ въ Уфимской или Пермской губерніи, и я готова куда угодно, хоть въ Сибирь, я готова жить тамъ десять, двадцать лѣтъ, но я должна знать, что рано или поздно я все-таки вернусь въ Кузьминки. Безъ Кузьминокъ я не могу. И не могу и не хочу. Не хочу! — крикнула она и топнула ногой.

— Вы, Миша, адвокатъ, — сказала Варя: — вы крючокъ, и это ваше дѣло посовѣтовать, что дѣлать.

Быль только одинъ отвѣтъ, справедливый и разумный: «ничего нельзя сдѣлать», но Подгоринъ не рѣшился сказать это прямо и пробормоталъ нерѣшительно:

— Надо будетъ подумать... Я подумаю.

Въ немъ было два человѣка. Какъ адвокату, ему случилось вести дѣла грубыя, въ судѣ и съ кліентами онъ держался высокомерно и выражалъ свое мнѣніе всегда прямо и рѣзко, съ пріятелями покучивалъ грубо; но въ своей личной интимной жизни, около близкихъ или давно знакомыхъ людей онъ обнаруживалъ необыкновенную деликатность, былъ застѣнчивъ и чувствителенъ и не умѣлъ говорить прямо. Достаточно было одной слезы, косога взгляда, лжи или даже некрасиваго жеста, какъ онъ весь сжимался и терялъ волю. Теперь Надежда сидѣла у его ногъ, и ея голая шея ему не нравилась, и это его смущало, даже хотѣлось уѣхать домой. Какъ-то, годъ назадъ, онъ встрѣтился съ Сергѣемъ Сергѣичемъ у одной барыни на Бронной, и теперь ему неловко было передъ Татьяной, точно онъ самъ участвовалъ въ измѣнѣ. А этотъ разговоръ о Кузьминкахъ поставилъ его въ большое затрудненіе. Онъ привыкъ къ тому, что всѣ щекотливые и непріятные вопросы рѣшались судьями, или присяжными, или просто какой-нибудь статьёй закона, когда же вопросъ предлагали ему лично, на его разрѣшеніе, то онъ терялся.

— Миша, вы нашъ другъ, всѣ мы васъ любимъ, какъ своего, — продолжала Татьяна: — и я вамъ скажу откровенно: на васъ вся надежда. Научите Бога ради, что намъ дѣлать? Можетъ-быть, пужно подать куда-нибудь прошеніе? Можетъ-быть, еще не поздно перевести имѣніе на имя Нади или Вари?.. Что дѣлать?

— Выручайте, Миша, выручайте, — сказала Варя, закуривая. — Вы всегда были умницей. Вы мало жили, еще ничего не испытали в жизни, по у васъ на плечахъ хорошая голова... Вы поможете Тань, я знаю.

— Надо подумать... Можетъ-быть, придумаю что-нибудь.

Пошли гулять в садъ, потомъ в поле. Гулялъ и Сергѣй Сергѣичъ также. Онъ взялъ Подгорина подъ руку и все уводилъ его впередъ, видимо, собираясь поговорить съ нимъ о чемъ-то, вѣроятно, о плохихъ дѣлахъ. А идти рядомъ съ Сергѣемъ Сергѣичемъ и говорить съ нимъ было мучительно. Онъ то и дѣло цѣловался, и все по три раза, бралъ подъ руку, обнималъ за талию, дышалъ въ лицо, и казалось, что онъ покрытъ сладкимъ клеємъ и сейчасъ прилипнетъ къ вамъ; и это выраженіе въ глазахъ, что ему что-то нужно отъ Подгорина, что онъ о чемъ-то сейчасъ попроситъ, производило тягостное впечатлѣніе, какъ будто онъ прицѣвливался изъ револьвера.

Зашло солнце, стало темнѣть. По линіи желѣзной дороги тамъ и сямъ зажглись огни, зеленые, красные... Варя остановилась и, глядя на эти огни, стала читать:

Прямо дороженька: насыпи узкія,
Столбики, рельсы, мосты,
А по бокамъ-то все косточки русскія...
Сколько ихъ!..

— Какъ дальше? Ахъ, Боже мой, забыла все!

Мы надрывались подъ зноемъ, подъ холодомъ,
Съ вѣчно согнутой спиной...

Она читала великолѣпнымъ груднымъ голосомъ, съ чувствомъ; на лицѣ у нея загорѣлся живой румянецъ, и на глазахъ показались слезы. Это была прежняя Варя, Варя-курсистка, и, слушая ее, Подгоринъ думалъ о прошломъ и вспоминалъ, что и самъ онъ, когда былъ студентомъ, зналъ наизусть много хорошихъ стиховъ и любилъ читать ихъ.

Не разогнуть свою спину горбатую,
Онъ и теперь еще тупо молчить...

Но дальше Варя не помнила... Она замолчала и слабо и вяло улыбнулась, и послѣ ея чтенія зеленые и красные огни стали казаться печальнымъ...

— Эхъ, забыла!

Зато Подгоринъ вдругъ вспомнилъ, — какъ-то случайно

уцѣлѣло у него въ памяти со студенчества, — и про-
чень тихо, вполголоса:

Вынесъ достаточно русскій народъ,
Вынесъ и эту дорогу желѣзную, —
Вынесетъ все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложить себѣ...
Жаль только...

— Жаль только, — перебила его Варя, вспомнивъ: —
жаль только, жить въ эту пору прекрасную уже не при-
дется ни мнѣ, ни тебѣ!

И она засмѣялась и хлопнула его рукой по плечу.

Вернулись домой и сѣли ужинать. Сергѣй Сергѣичъ
небрежно ткнулъ уголь салфетки за воротъ, подра-
жая кому-то.

— Давайте выпьемъ, — сказалъ онъ, наливая водки
и Подгорину. — Мы, старые студенты, умѣли и выпить,
и красно говорить, и дѣло дѣлать. Пью за ваше здо-
ровье, дружище, а вы выпейте за здоровье стараго дура-
лея-идеалиста и пожелайте ему, чтобы онъ такъ идеа-
листомъ и умеръ. Горбатаго могилка исправить.

Татьяна все время за ужиномъ посматривала нѣжно
на мужа, ревнуя и беспокоясь, какъ бы онъ не съѣлъ
или не выпилъ чего-нибудь вреднаго. Ей казалось, что
онъ избалованъ женщинами, усталъ, — это ей нравилось
въ немъ, и въ то же время она страдала. Варя и Надя
также были нѣжны съ нимъ и смотрѣли на него съ без-
покойствомъ, точно боялись, что онъ вдругъ возьметъ и
уйдетъ отъ нихъ. Когда онъ хотѣлъ налить себѣ вто-
рую рюмку, Варя сдѣлала сердитое лицо и сказала:

— Вы отравляете себя, Сергѣй Сергѣичъ. Вы нервный,
впечатлительный человѣкъ и легко можете стать алкого-
ликомъ. Таня, вели убрать водку.

Вообще Сергѣй Сергѣичъ имѣлъ большой успѣхъ у
женщинъ. Онѣ любили его ростъ, сложеніе, крупныя черты
лица, его праздноствіе и его несчастья. Онѣ говорили, что онъ
очень добръ — и потому расточителенъ; онъ идеалистъ —
и потому непрактиченъ; онъ честенъ, чистъ душой, не
умѣетъ приспособляться къ людямъ и обстоятельствамъ —
и потому ничего не имѣетъ и не находитъ себѣ опре-
дѣленныхъ занятій. Ему онѣ вѣрили глубоко, обожали его
и избаловали его своимъ поклоненіемъ, такъ что онъ
самъ сталъ вѣрить, что онъ идеалистъ, непрактиченъ,

честепь, чисть душой и что онъ на цѣлую голову выше и лучше этихъ женщинъ.

— Что же вы не похвалите моихъ дѣвочекъ? — говорила Татьяна, глядя съ любовью на своихъ двухъ дѣвочекъ, здоровыхъ, сытыхъ, похожихъ на булки, и накладывая имъ полныя тарелки рису. — Вы только взгляните на нихъ! Говорятъ, что всѣ матери хвалятъ своихъ дѣтей, но, увѣряю васъ, я безпристрастна, мои дѣвочки необыкновенныя. Особенно старшая.

Подгоринъ улыбался ей и дѣвочкамъ, но ему было странно, что эта здоровая, молодая, неглупая женщина, въ сущности, такой большой, сложный организмъ, всю свою энергію, всѣ силы жизни расходуетъ на такую несложную, мелкую работу, какъ устройство этого гиѣзда, которое и безъ того уже устроено.

«Можетъ-быть, это такъ и нужно, — думалъ онъ: — но это не интересно и не умно».

— Онъ ахнуть не успѣлъ, какъ на него медвѣдь наскѣлъ, — сказалъ Сергѣй Сергѣичъ и щелкнулъ пальцами.

Поужинали. Татьяна и Варя посадили Подгорина въ гостиной на диванъ и стали говорить съ нимъ вполголоса, опять о дѣлахъ.

— Мы должны выручить Сергѣя Сергѣича, — сказала Варя: — это наша нравственная обязанность. Онъ имѣетъ свои слабости, онъ не бережливъ, не думаетъ о черномъ днѣ, но это оттого, что онъ очень добръ и щедръ. Душа у него совсѣмъ дѣтская. Если дать ему миллионъ, то черезъ мѣсяцъ же у него ничего не останется, все раздастъ.

— Правда, правда, — сказала Татьяна, и слезы потекли у нея по щекамъ. — Я пострадалась съ нимъ, но должна сознаться, это чудный человекъ.

И объ онѣ, Татьяна и Варя, не могли удержаться отъ маленькой жестокости, чтобы не попрекнуть Подгорина:

— А ваше поколѣніе, Миша, уже не то!

«А при чемъ тутъ поколѣніе? — подумалъ Подгоринъ. — Вѣдь Лосевъ старше меня лѣтъ на шесть, не больше...»

— Не легко жить на этомъ свѣтѣ, — сказала Варя и вздохнула. — Человеку постоянно угрожаетъ какая-нибудь потеря. То хотятъ отнять у тебя имѣніе, то заболѣлъ кто-нибудь изъ близкихъ и боишься, какъ бы онъ не умеръ — и такъ изо дня въ день. Но что дѣлать, друзья мои. Надо безъ ропота подчиняться высшей волѣ, надо по-

мнить, что на этомъ свѣтѣ ничто не случайно, все имѣетъ свои отдаленныя цѣли. Вы, Миша, еще мало жили и мало страдали, и вы будете смѣяться надо мной; смѣйтесь, но я все-таки скажу: въ пору моихъ самыхъ жгучихъ тревогъ у меня было нѣсколько случаевъ ясновидѣнія, и это произвело въ моей душѣ переворотъ, и теперь я знаю, что ничто не случайно и все, что происходитъ въ нашей жизни, необходимо.

Какъ эта Варя, уже сѣдая, затянутая въ корсетъ, въ модномъ платьѣ съ высокими рукавами, Варя, вертящая папиросу длинными, худыми пальцами, которые почему-то дрожатъ у нея, Варя, легко впадающая въ мистицизмъ, говорящая такъ вяло и монотонно, — какъ она не похожа на Варю-курсистку, рыжую, веселую, шумную, смѣлую...

«И куда оно все дѣвалось?» — думалъ Подгоринъ, слушая ее со скукой.

— Спойте, Ва, что-нибудь, — сказалъ онъ ей, чтобы прекратить этотъ разговоръ объ ясновидѣніи. — Когда вы хорошо пѣли.

— Э, Миша, что было, то быльемъ поросло.

— Ну, изъ Некрасова прочтите.

— Все забыла. Давеча это у меня нечаянно вышло.

Несмотря на корсетъ и высокіе рукава, было замѣтно, что она нуждалась и у себя на фабрикѣ за Тулой жила впроголодь. И было очень замѣтно, что она заработалась; тяжелый, однообразный трудъ и это ея постоянное вмѣшательство въ чужія дѣла, заботы о другихъ переутомили и состарили ее, и Подгоринъ, глядя теперь на ея печальное, уже поблекшее лицо, думалъ, что въ сущности слѣдовало бы помочь не Кузьминкамъ и не Сергѣю Сергѣичу, за которыхъ она такъ хлопочетъ, а ей самой.

Высшее образованіе и то, что она стала врачомъ, казалось, не коснулись въ ней женщины. Она такъ же, какъ Татьяна, любила свадьбы, роды, крестины, длинные разговоры о дѣтяхъ, любила страшные романы съ благопріятной развязкой, въ газетахъ читала только про пожары, наводненія и торжественныя церемоніи; ей очень хотѣлось, чтобы Подгоринъ сдѣлалъ предложеніе Надеждѣ, и если бы это случилось, то она расплакалась бы отъ умиленія.

Онъ не зналъ, произошло ли это случайно, или такъ устроила Варя, — онъ остался одинъ съ Надеждой, но

одно подозрѣніе, что за нимъ наблюдаютъ и что отъ него чего-то хотятъ, стѣсняло и смущало его, и подлѣ Надежды онъ чувствовалъ себя такъ, какъ будто его посадили вмѣстѣ съ ней въ одну клѣтку.

— Пойдемте въ садъ, — сказала она.

Они пошли въ садъ, онъ — недовольный, съ досаднымъ чувствомъ, не зная, о чемъ говорить съ ней, а она — радостная, гордая его близостью, очевидно, довольная, что онъ проживетъ здѣсь еще три дня, и полная, быть-можетъ, сладкихъ грезъ и надеждъ. Ему было неизвѣстно, любить ли она его, но онъ зналъ, что она привыкла и привязалась къ нему уже давно и все еще видитъ въ немъ своего учителя, и что теперь у нея на душѣ происходитъ то же, что когда-то происходило у ея сестры Татьяны, т.-е. она думаетъ только о любви, о томъ, какъ бы поскорѣе выйти замужъ, имѣть мужа, дѣтей и свой уголь. Чувство дружбы, которое бываетъ такъ сильно въ дѣтяхъ, она сохранила до сихъ поръ, и очень возможно, что она только уважала Подгорина и любила какъ друга, влюблена же была не въ него, а въ эти свои мечты о мужѣ и дѣтяхъ.

— Становится тепло, — сказалъ онъ.

— Да. Луна восходитъ теперь поздно.

Они ходили все по одной аллеѣ, около дома. Подгорину не хотѣлось идти въ глубь сада: тамъ темно, пришлось бы взять Надежду подъ руку, быть очень близко къ ней. На террасѣ двигались какія-то тѣни, и ему казалось, что это Татьяна и Варя наблюдаютъ за нимъ.

— Мнѣ нужно съ вами посоветоваться, — сказала Надежда, останавливаясь. — Если Кузьминки продадутъ, то Сергѣй Сергѣичъ поѣдетъ служить, и тогда наша жизнь должна измѣниться совершенно. Я не поѣду съ сестрой, мы разстанемся, потому что я не хочу быть бременемъ для ея семьи. Надо работать. Я поступлю въ Москвѣ куда-нибудь, буду зарабатывать, помогать сестрѣ и ея мужу. Вы поможете мнѣ совѣтомъ, не правда ли?

Совершенно незнакомая съ трудомъ, она теперь была воодушевлена мыслью о самостоятельной, трудовой жизни, строила планы будущаго — это было написано на ея лицѣ, и та жизнь, когда она будетъ работать и помогать другимъ, казалась ей прекрасной, поэтичной. Онъ видѣлъ близко ея блѣдное лицо и темныя брови и вспоминалъ, какая это была умная, смѣтливая ученица, съ какими

хорошими задатками, и какъ пріятно было давать ей уроки. И теперь, вѣроятно, это была не просто барышня, которая хочетъ жениха, а умная, благородная дѣвушка, доброты необыкновенной, съ кроткой, мягкой душой, изъ которой, какъ изъ воска, можно слѣшить все, что угодно, и, попади она въ подходящую среду, изъ нея вышла бы превосходная женщина.

«Отчего бы и не жениться на ней, въ самомъ дѣлѣ?»— подумалъ Подгоринъ, но тотчасъ же почему-то испугался этой мысли и пошелъ къ дому.

Въ гостиной за роялемъ сидѣла Татьяна, и ея игра живо напоминала прошлое, когда въ этой самой гостиной играли, пѣли и танцевали до глубокой ночи, при открытыхъ окнахъ, и птицы въ саду и на рѣкѣ тоже пѣли. Подгоринъ развеселился, сталъ шалить, протанцевалъ и съ Надеждой и съ Варей, потомъ пѣлъ. Его стѣсняла мозоль на ногѣ, и онъ попросилъ позволенія надѣть туфли Сергѣя Сергѣича—и, странное дѣло, въ туфляхъ почувствовалъ себя своимъ человѣкомъ, роднымъ («Точно зять...»—мелькнуло у него въ мысляхъ), и ему стало еще веселѣй. Глядя на него, всѣ ожили, повеселѣли, точно помолодѣли; у всѣхъ лица засіяли надеждой: Кузьминки спасены! Вѣдь это такъ просто сдѣлать: стѣдить только придумать что-нибудь, порыться въ законахъ, или Надѣ выйти за Подгорина... И, очевидно, дѣло уже идетъ на ладъ. Надя, розовая, счастливая, съ глазами, полными слезъ, въ ожиданіи чего-то необыкновеннаго, кружилась въ танцѣ, и бѣлое платье ея надувалось, и видны были ея маленькія, красивыя ноги въ чулкахъ тѣлеснаго цвѣта... Варя, очень довольная, взяла Подгорина подъ руку и сказала ему вполголоса, съ значительнымъ выраженіемъ:

— Миша, не бѣгите своего счастья. Берите его, пока оно само дается вамъ въ руки, а потомъ и сами побѣжите за нимъ, да ужъ будетъ поздно, не догоните.

Подгорину хотѣлось обѣщать, обнадежить, и уже онъ самъ вѣрилъ, что Кузьминки спасены, и что это такъ просто сдѣлать.

— «И бу-удешь ты царицей мі-іра...»—запѣлъ онъ, становясь въ позу, но вдругъ вспомнилъ, что ничего не можетъ сдѣлать для этихъ людей, рѣшительно ничего, и притихъ, какъ виноватый.

И потомъ сидѣлъ въ углу молча, поджимая ноги, обу-тая въ чужія туфли.

Глядя на него, и остальные поняли, что сдѣлать уже ничего нельзя, и притихли. Закрыли рояль. И всѣ замѣтили, что уже поздно, пора спать, и Татьяна погасила въ гостиной большую лампу.

Подгорину была приготовлена постель въ томъ самомъ флигелѣ, гдѣ онъ жилъ когда-то. Сергѣй Сергѣичъ пошелъ проводить его, держа высоко надъ головой свѣчу, хотя уже восходила луна и было свѣтло. Они шли по аллеѣ между кустами сирени, и у обоихъ подъ ногами шуршала гравій.

— Онъ ахнуть не успѣлъ, какъ на него медвѣдь на-сѣлъ, — сказалъ Сергѣй Сергѣичъ.

И Подгорину казалось, что эту фразу онъ слышалъ уже тысячу разъ. Какъ она ему надоѣла! Когда пришли во флигель, Сергѣй Сергѣичъ досталъ изъ своего просторнаго пиджака бутылку и двѣ рюмки и поставилъ ихъ на столъ.

— Это коньякъ, — сказалъ онъ. — Нумеръ ноль-ноль. Тамъ въ домѣ Варя, пить при ней нельзя, сейчасъ начнетъ объ алкоголизмѣ, а здѣсь намъ вольготно. Коньякъ великолѣпный.

Сѣли. Коньякъ въ самомъ дѣлѣ оказался хорошимъ.

— Давайте выпьемъ сегодня основательно, — продолжалъ Сергѣй Сергѣичъ, закусывая лимономъ. — Я старый буршъ, люблю иногда встряхнуться. Это необходимо.

А въ глазахъ было все то же выраженіе, что ему что-то нужно отъ Подгорина и что онъ о чемъ-то сейчасъ попросить.

— Выпьемъ, душа моя, — продолжалъ онъ, вздыхая: — а то ужъ очень тяжело стало. Нашему брату-чудаку конецъ пришелъ, крышка. Идеализмъ теперь не въ модѣ. Теперь царить рубль, и если хочешь, чтобы не спихнули съ дороги, то распластайся передъ рублемъ и благоговѣй. Но я не могу. Ужъ очень претить!

— Когда назначены торги? — спросилъ Подгоринъ, чтобы переменить разговоръ.

— На седьмое августа. Но я вовсе не рассчитываю, дорогой мой, спасти Кузьминки. Недоимка скопилась громадная, и имѣніе не приноситъ никакого дохода, только убытки каждый годъ. Не стѣитъ того... Танѣ, конечно, жаль, это ея родовое, а я, признаться, даже радъ отчасти. Я совсѣмъ не деревенскій житель. Мое поле — большой, шумный городъ, моя стихія — борьба!

Онъ говорилъ еще, но все не то, что хотѣлъ, и зорко слѣдилъ за Подгоринимъ, какъ бы выжидая удобнаго момента. И вдругъ Подгоринъ увидѣлъ близко его глаза, почувствовалъ на лицѣ его дыханіе...

— Дорогой мой, спасите меня! — проговорилъ Сергѣй Сергѣичъ, тяжело дыша. — Дайте мнѣ двѣсти рублей. Я васъ умоляю

Подгоринъ хотѣлъ сказать, что онъ самъ стѣсненъ въ деньгахъ, и подумалъ, что лучше эти двѣсти рублей отдать какому-нибудь бѣдняку или просто даже проиграть въ карты, но страшно сконфузился и, чувствуя себя въ этой маленькой комнаткѣ съ одной свѣчой, какъ въ ловушкѣ, желая отдѣлаться поскорѣе отъ этого дыханія, отъ мягкихъ рукъ, которыя держали его за талию и, казалось, уже прилипли, сталъ быстро искать въ карманахъ свою записную книжку, гдѣ были деньги.

— Вотъ... — пробормоталъ онъ, вынимая сто рублей. — Остальные потомъ. Больше при мнѣ ничего нѣтъ. Видите, я не умѣю отказывать, — продолжалъ онъ съ раздраженіемъ, начиная сердиться. — У меня несносный бабій характеръ. Только, пожалуйста, потомъ возвратите мнѣ эти деньги. Я самъ нуждаюсь.

— Благодарю васъ. Благодарю, дружище!

— И, ради Бога, перестаньте воображать, что вы идеалистъ. Вы такой же идеалистъ, какъ я индюкъ. Вы просто легкомысленный, праздный человѣкъ, и больше ничего.

Сергѣй Сергѣичъ глубоко вздохнулъ и сѣлъ на диванъ.

— Вы, дорогой мой, сѣрдитесь, — сказалъ онъ: — но если бы вы знали, какъ мнѣ тяжело! Я переживаю теперь ужасное время. Дорогой мой, клянусь, мнѣ не себя жаль, нѣтъ! Мнѣ жаль жены и дѣтей. Если бы не дѣти и не жена, то я давно бы уже покончилъ съ собой.

И вдругъ плечи и голова у него затряслись, и онъ зарыдалъ.

— Этого еще недоставало, — сказалъ Подгоринъ, въ волненіи ходя по комнатѣ и чувствуя сильную досаду. — Ну вотъ, что прикажете дѣлать съ человѣкомъ, который надѣлалъ массу зла и потомъ рыдаетъ? Эти ваши слезы обезоруживаютъ, я не въ силахъ ничего сказать вамъ. Вы рыдаете, значить, вы правы.

— Я сдѣлалъ массу зла? — спросилъ Сергѣй Сергѣичъ, поднимаясь и съ удивленіемъ глядя на Подго-

рина. — Дорогой мой, вы ли это говорите? Я сдѣлалъ массу зла?! О, какъ вы меня мало знаете! Какъ вы меня мало понимаете!

— Прекрасно, пусть я васъ не понимаю, только, пожалуйте, не рыдайте. Это противно.

— О, какъ вы меня мало знаете! — повторилъ Лосевъ совершенно искренно. — Какъ вы меня мало знаете!

— Посмотрите на себя въ зеркало, — продолжалъ Подгоринъ: — вы уже не молодой человѣкъ, скоро будете стары, пора же наконецъ одуматься, отдать себѣ хоть какой-нибудь отчетъ, кто вы и что вы? Всю жизнь ничего не дѣлать, всю жизнь эта праздная ребяческая болтовня, ломанья, кривлянья — неужели у васъ у самого голова еще не закружилась и не надоѣло такъ жить? Тяжело съ вами! Скучно съ вами до одурѣнія!

Сказавши это, Подгоринъ вышелъ изъ флигеля и хлопнулъ дверью. Едва ли это не въ первый разъ въ жизни онъ былъ искрененъ и говорилъ то, что хотѣлъ.

Немного погодя онъ уже жалѣлъ, что былъ такъ суровъ. Какая польза говорить серьезно или спорить съ человѣкомъ, который постоянно лжетъ, много ѣсть, много пьетъ, тратитъ много чужихъ денегъ и въ то же время убѣжденъ, что онъ идеалистъ и страдалецъ? Тутъ имѣется дѣло съ глупостью или со старыми дурными привычками, которыя крѣпко вѣлись въ организмъ, какъ болѣзнь, и уже неизлѣчимы. Во всякомъ случаѣ негодование и суровые попреки тутъ бесполезны, и скорѣе нужно смѣяться; одна хорошая насмѣшка сдѣлала бы гораздо больше, чѣмъ десятокъ проповѣдей!

«Проще же вовсе не обращать вниманія, — подумалъ Подгоринъ: — а главное, не давать денегъ».

А погода еще немного онъ уже не думалъ ни о Сергѣѣ Сергѣичѣ ни о своихъ ста рубляхъ. Была тихая, задумчивая ночь, очень свѣтлая. Когда въ лунныя ночи Подгоринъ смотрѣлъ на небо, то ему казалось, что бодрствуютъ только онъ да луна, все же остальное спитъ или дремлетъ; и на умъ не шли ни люди, ни деньги, и настроеніе мало-по-малу становилось тихимъ, мирнымъ; онъ чувствовалъ себя одинокимъ на этомъ свѣтѣ, и въ ночной тишинѣ звукъ его собственныхъ шаговъ казался ему такимъ печальнымъ.

Садъ былъ обнесенъ бѣлымъ каменнымъ заборомъ. Въ сторонѣ, обращенной въ поле, на правомъ углу стояла

башня, построенная очень давно, еще въ крѣпостное право. Низъ былъ каменный, а верхъ деревянный, съ площадкой, съ конической крышей и съ длиннымъ шпилемъ, на которомъ чернѣлъ флюгеръ. Внизу были двѣ двери, такъ что изъ сада можно было пройти въ поле, и снизу вверхъ на площадку вела лѣстница, которая скрипѣла подъ ногами. Подъ лѣстницей были свалены старыя поломанныя кресла, и лунный свѣтъ, проникая теперь въ дверь, освѣщалъ эти кресла, и они со своими кривыми, задранными вверхъ ножками, казалось, ожили къ ночи и кого-то подстерегали здѣсь въ тишинѣ.

Подгоринъ взошелъ по лѣстницѣ на площадку и сѣлъ. Тотчасъ за заборомъ была межевая канава съ валомъ, а дальше было поле, широкое, залитое луннымъ свѣтомъ. Подгоринъ зналъ, что какъ разъ прямо, верстахъ въ трехъ отъ усадьбы, былъ лѣсъ, и теперь ему казалось, что онъ видитъ вдали темную полосу. Кричали перенела и дергачи; и изрѣдка со стороны лѣса доносился крикъ кукушки, которая тоже не спала.

Послышались шаги. Кто-то шелъ по саду, приближаясь къ башнѣ.

Залаяла собака.

— Жукъ! — тихо позвалъ жезскій голосъ. — Жукъ, назадъ!

Слышно было, какъ внизу вошли въ башню, и черезъ минуту на валу показалась черная собака, старая знакомая Подгорина. Она остановилась и, глядя вверхъ, въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ Подгоринъ, дружелюбно замашала хвостомъ. А потомъ, немного погодя, изъ черной канавы, какъ тѣнь, поднялась бѣлая фигура и тоже остановилась на валу. Это была Надежда.

— Что ты тамъ видишь? — спросила она у собаки и стала смотрѣть вверхъ.

Она не видѣла Подгорина, но, вѣроятно, чувствовала его близость, такъ какъ улыбалась, и ея блѣдное лицо, освѣщенное луной, казалось счастливымъ. Черная тѣнь отъ башни, тянувшаяся по землѣ далеко въ поле, неподвижная бѣлая фигура съ блаженной улыбкой на блѣдномъ лицѣ, черная собака, тѣни обѣихъ — и все вмѣстѣ точно сонъ...

— Тамъ кто-то есть... — тихо проговорила Надежда.

Она стояла и ждала, что онъ сойдетъ внизъ или позоветъ ее къ себѣ и наконецъ объяснится, и оба они

будутъ счастливы въ эту тихую прекрасную ночь. Бѣлая, блѣдная, тонкая, очень красивая при лунномъ свѣтѣ, она ждала ласки; ея постоянныя мечты о счастьѣ и любви истомили ее, и уже она была не въ силахъ скрывать своихъ чувствъ, и ея вся фигура, и блескъ глазъ, и застывшая счастливая улыбка выдавали ея сокровенныя мысли; а ему было неловко, онъ сжался, притихъ, не зная, говорить ли ему, чтобы все, по обыкновенію, разыграть въ шутку, или молчать, и чувствовалъ досаду, и думалъ только о томъ, что здѣсь въ усадьбѣ, въ лунную ночь, около красивой, влюбленной, мечтательной дѣвушки онъ такъ же равнодушенъ, какъ на Малой Бронной, — и потому, очевидно, что эта поэзія отжила для него такъ же, какъ та грубая проза. Отжили и свиданія въ лунныя ночи, и бѣлыя фигуры съ тонкими таліями, и таинственныя тѣни, и башни, и усадьбы, и такіе «типы», какъ Сергѣй Сергѣичъ, и такіе, какъ онъ самъ, Подгоринъ, со своей холодной скукой, постоянной досадой, съ неузнѣемъ приспособляться къ дѣйствительной жизни, съ неузнѣемъ брать отъ нея то, что она можетъ дать, и съ томительной, ноющей жаждой того, чего нѣтъ и не можетъ быть на землѣ. И теперь, сидя здѣсь, на этой башнѣ, онъ предпочелъ бы хорошій фейерверкъ, или какую-нибудь процессію при лунномъ свѣтѣ, или Варю, которая опять прочла бы «Желѣзную дорогу», или другую женщину, которая, стоя на валу, тамъ, гдѣ стоитъ теперь Надежда, рассказывала бы что-нибудь интересное, новое, не имѣющее отношенія ни къ любви ни къ счастью, а если и говорила бы о любви, то чтобы это было призывомъ къ новымъ формамъ жизни, высокимъ и разумнымъ, накапунѣ которыхъ мы уже живемъ, быть-можетъ, и которыя предчувствуемъ иногда.

— Никого нѣтъ, — сказала Надежда.

И, постоявъ еще минуту, она пошла по направленію къ лѣсу, тихо, понуривъ голову. Собака побѣжала впереди. И Подгоринъ долго еще видѣлъ бѣлое пятно.

«Какъ это все сложилось однако...» — повторялъ онъ мысленно, возвращаясь къ себѣ во флигель.

Онъ не могъ себѣ представить, о чемъ онъ будетъ завтра говорить съ Сергѣемъ Сергѣичемъ, съ Татьяной, какъ будетъ держать себя съ Надеждой, и послѣ-завтра то же, — и заранѣе испытывалъ смущеніе, страхъ и скуку. Чѣмъ наполнить эти длинные три дня, кото-

рые онъ обѣщалъ прожить здѣсь? Ему припомнились разговоръ о ясновидѣніи и фраза Сергѣя Сергѣича: «онъ ахнуть не успѣлъ, какъ на него медвѣдь напалъ», вспомнилъ, что завтра, въ угоду Татьянѣ, придется улыбаться ея сытымъ, пухлымъ дѣвочкамъ, — и рѣшилъ уѣхать...

Въ половинѣ шестого на террасѣ большого дома показался Сергѣй Сергѣичъ въ бухарскомъ халатѣ и въ фескѣ съ кисточкой. Подгоринъ, не теряя ни минуты, пошелъ къ нему и сталъ прощаться.

— Мнѣ необходимо быть въ Москвѣ къ десяти часамъ, — говорилъ онъ, не глядя на него. — Я совершенно забылъ, что меня будутъ ждать у нотариуса. Отпустите меня, пожалуйста. Когда ваши встанутъ, скажите имъ, что я извиняюсь, страшно жалѣю...

Онъ не слышалъ, что говорилъ ему Сергѣй Сергѣичъ, и торопился, и все оглядывался на окна большого дома, боясь, какъ бы дамы не проснулись и не задержали его. Ему было стыдно этой своей нервности. Онъ чувствовалъ, что въ Кузьминкахъ онъ уже въ послѣдній разъ и больше сюда не пріѣдетъ, и, уѣзжая, оглянувшись нѣсколько разъ на флигель, въ которомъ когда-то было прожито такъ много хорошихъ дней, но на душѣ у него было холодно, не стало грустно...

Дома у себя на столѣ онъ увидѣлъ прежде всего записку, которую получилъ вчера. «Милый Миша, — прочелъ онъ: — вы насъ забыли совсѣмъ, пріѣзжайте поскорѣе...» И почему-то ему вспомнилось, какъ Надежда кружилась въ танцѣ, какъ раздувалось ея платье и видны были ноги въ чулкахъ тѣлеснаго цвѣта...

А мицуть черезъ десять онъ уже сидѣлъ за столомъ и работалъ, и уже не думалъ о Кузьминкахъ.

1899.

НОВОГОДНЯЯ ПЫТКА.

(Очеркъ новѣйшей инквизиціи).

Вы облачаетесь во фракную пару, нацѣпляете на шею Стапислава, если таковой у васъ имѣется, прыскаете пла-токъ духами, закручиваете штопоромъ усы—и все это съ такими злобными, порывистыми движеніями, какъ будто одѣваете не себя самого, а своего злѣйшаго врага.

— А, чоррртъ подери!—бормочете вы сквозь зубы.— Нѣтъ покоя ни въ будни, ни въ праздники! На старости лѣтъ мычешься, какъ собака. Почтальоны живутъ покойнѣе.

Возлѣ васъ стоитъ ваша, съ позволенія сказать, по-друга жизни, Вѣрочка и егозить:

— Ишь что выдумалъ: визитовъ не дѣлать! Я согласна, визиты — глупость, предрасудокъ, ихъ не слѣдуетъ дѣлать, но если ты осмѣлишься остаться дома, то, клянусь, я уйду, уйду... навѣки уйду! Я умру! Одинъ у насъ дядя, и ты... ты не можешь, тебѣ лѣнь поздравить его съ Новымъ годомъ? Кузина Леночка такъ насъ любитъ, и ты, безстыдникъ, не хочешь оказать ей честь? Оедоръ Николаичъ далъ тебѣ денегъ взаймы, братъ Петя такъ любитъ всю нашу семью, Иванъ Андреичъ нашелъ тебѣ мѣсто, а ты!.. Ты не чувствуешь! Боже, какая я несчастная! Нѣтъ, нѣтъ, ты рѣшительно глупъ! Тебѣ нужно жену не такую кроткую, какъ я, а вѣдьму, чтобы она тебя грызла каждую минуту! Да-а! Без-со-вѣс-тный человекъ! Ненавижу! Презираю! Сію же минуту уѣзжай! Вотъ тебѣ списочекъ... У всѣхъ побывай, кто здѣсь записанъ! Если пропустишь хоть одного, то не смѣй воротиться домой!

Вѣрочка не дерется и не выцарапываетъ глазъ. Но

вы не чувствуете такого великодушія и продолжаете ворчать... Когда туалетъ конченъ и шуба уже надѣта, васъ провожаютъ до самаго выхода и говорятъ вамъ вслѣдъ:

— Тиранъ! Мучитель! Извергъ!

Вы выходите изъ своей квартиры (Зубовскій бульваръ, домъ Фуфочкина), садитесь на извозчика и говорите голосомъ Солонина, умирающаго въ «Далилѣ»:

— Въ Лефортово, къ Краснымъ воротамъ!

У московскихъ извозчиковъ есть теперь полсти, но вы не цѣните такого великодушія и чувствуете, что вамъ холодно... Логика супруги, вчерашняя толчея въ маскарадѣ Большого театра, похмелье, страстное желаніе завалиться спать, послѣпраздничная изжога — все это мѣшается въ сплошной сумбуръ и производитъ въ васъ муть... Мутить ужасно, а тутъ еще извозчикъ плетется еле-еле, точно помирать ѣдетъ...

Въ Лефортовѣ живетъ дядюшка вашей жены, Семенъ Степанычъ. Это — прекраснѣйшій человѣкъ. Онъ безъ памяти любитъ васъ и вашу Вѣрочку, послѣ своей смерти оставитъ вамъ наслѣдство, но... чортъ съ нимъ, съ его любовью и наслѣдствомъ! На ваше несчастье, вы входите къ нему въ то самое время, когда онъ погруженъ въ тайны политики.

— А слыхалъ ты, душа моя, что Баттенбергъ задумалъ?—встрѣчаетъ онъ васъ. — Каковъ мужчина, а? Но какова Германія!..

Семенъ Степанычъ помѣшанъ на Баттенбергѣ. Онъ, какъ и всякій русскій обыватель, имѣетъ свой собственный взглядъ на болгарскій вопросъ, и если бъ въ его власти, то онъ рѣшилъ бы этотъ вопросъ какъ нельзя лучше...

— Нѣтъ, братъ, тутъ не Муткурка и не Стамбулка виноваты!—говорилъ онъ, лукаво подмигивая глазомъ.— Тутъ Англія, братъ! Будь я анаѰема трижды проклятъ, если не Англія!

Вы послушали его четверть часа и хотите раскланяться, но онъ хватаетъ васъ за рукавъ и проситъ дослушать. Онъ кричитъ, горячится, брызжетъ вамъ въ лицо, тычетъ пальцами въ вашу носъ, цитируетъ цѣлкомъ газетныя передовицы, вскакиваетъ, садится... Вы слушаете, чувствуете, какъ тянутся длинные минуты, и, изъ боязни уснуть, таращите глаза... Отъ обалдѣнія у васъ начинаютъ чесаться мозги... Баттенбергъ, Муткуровъ, Стамбуловъ,

Англія, Египетъ мелкими чортиками прыгають у васъ передъ глазами...

Проходитъ полчаса... часъ... Уфъ!

— Наконецъ-то!—вздыхаете вы, садясь черезъ полтора часа на извозчика.— Уходилъ, мерзавецъ! Извозчикъ, ѣзжай въ Хамовники! Ахъ, проклятый, душу вытянулъ политикой!

Въ Хамовникахъ васъ ожидаетъ свиданіе съ полковникомъ Ѳедоромъ Николаичемъ, у котораго въ прошломъ году вы взяли займы шестьсотъ рублей...

— Спасибо, спасибо, милый мой,—отвѣчаетъ онъ на ваше поздравленіе, ласково заглядывая вамъ въ глаза.— И вамъ того же желаю... Очень радъ, очень радъ... Давно ждалъ васъ... Тамъ вѣдь у насъ, кажется, съ прошлаго года какіе-то счеты есть... Не помню, сколько тамъ... Впрочемъ, это пустяки, я вѣдь это только такъ... между прочимъ... Не желаете ли съ дорожки?

Когда вы, заикаясь и потупивъ взоры, заявляете, что у васъ, ей-Богу, нѣтъ теперь свободныхъ денегъ, и слезно просите обождать еще мѣсяцъ, полковникъ всплескиваетъ руками и дѣлаетъ плачущее лицо.

— Голубчикъ, вѣдь вы на полгода брали!—шепчетъ онъ.— И развѣ бы я сталъ васъ беспокоить, если бы не крайняя нужда? Ахъ, милый, вы просто топите меня, честное слово... Послѣ Крещенья мнѣ по векселю платить, а вы... ахъ, Боже мой милостивый! Извините, но даже безсовѣстно...

Долго полковникъ читаетъ вамъ нотацію. Красный, вспотѣвшій, вы выходите отъ него, садитесь въ сани и говорите извозчику:

— Къ Нижегородскому вокзалу, ескотина!

Кухину Леночку вы застааете въ самыхъ растрепанныхъ чувствахъ. Она лежитъ у себя въ голубой гостиной на кушеткѣ, нюхаетъ какую-то дрянъ и жалуется на мигрень.

— Ахъ, это вы, Мишель?—стонетъ она, наполовину открывая глаза и протягивая вамъ руку.— Это вы? Сядьте возлѣ меня...

Минутъ пять лежитъ она съ закрытыми глазами, потомъ поднимаетъ вѣки, долго смотритъ вамъ въ лицо и спрашиваетъ тономъ умирающей:

— Мишель, вы... счастливы?

Засимъ мѣшечки подъ ея глазами напухаютъ, на рѣс-

ницахъ показываются слезы... Она поднимается, прикладываетъ руку къ волнующейся груди и говоритъ:

— Мишель, неужели... неужели все уже кончено? Неужели прошлое погребло безвозвратно! О, вѣтъ!

Вы что-то бормочете, безпомощно поглядываете по сторонамъ, какъ бы ища спасенія, но пухлыя женскія руки, какъ двѣ змѣи, обволакиваютъ уже вашу шею, лацканъ вашего фрака уже покрытъ слоемъ пудры. Бѣдная, все прощающая, все выносящая фрачная пара!

— Мишель, неужели тотъ сладкій мигъ ужъ не повторится болѣе?—стонетъ кузина, орошая вашу грудь слезами.—Кузень, гдѣ же ваши клятвы, гдѣ обѣты въ вѣчной любви?

Бррр!.. Еще минута, и вы съ отчаянія броситесь въ горящій каминъ, головой прямо въ уголья, но вотъ на ваше счастье слышатся шаги, и въ гостиную входитъ визитеръ съ шапо-клякомъ и остроносыми салогами... Какъ сумасшедшій, срываетесь вы съ мѣста, цѣлуете кузинѣ руку и, благословляя избавителя, мчитесь яа улицу.

— Извозчикъ, къ Крестовской заставѣ!

Братъ вашей жены, Петя, отрицаетъ визиты, а потому въ праздники его можно застать дома.

— У-ра-а!—кричитъ онъ, увидѣвъ васъ.—Кого ви-ижу! Какъ кстати ты пришелъ!

Онъ трижды цѣлуетъ васъ, угощаетъ коньякомъ, знакомитъ съ двумя какими-то дѣвицами, которыя сидятъ у него за перегородкой и хихикаютъ, скачутъ, прыгаетъ, потомъ, сдѣлавъ серьезное лицо, отводитъ васъ въ уголь и шепчетъ:

— Скверная штука, братецъ ты мой... Передъ праздниками, понимаешь ты, издержался и теперь сижу безъ копейки... Положеніе отвратительное... Только на тебя и надежда... Если не дашь до пятницы 25 рублей, то безъ ножа зарѣжешь...

— Ей-Богу, Петя, у меня у самого карманы пусты!—божитесь вы...

— Оставь, пожалуйста! Это ужъ свинство!

— Но увѣряю тебя...

— Оставь, оставь... Я отлично тебя понимаю! Скажи, что не хочешь дать, вотъ и все...

Петя обижается, начинаетъ упрекать васъ въ неблагодарности, грозитъ донести о чемъ-то Вѣрочкѣ... Вы даете пять цѣлковыхъ, по этого мало... Даете еще пять, и

васъ отпускають съ условіемъ, что завтра вы пришлете еще 15.

— Извозчикъ, къ Калужскимъ воротамъ!

У Калужскихъ воротъ живетъ вашъ кумъ, мануфактуръ-совѣтникъ Дятловъ. Этотъ хватаетъ васъ въ объятія и тащитъ прямо къ закусочному столу.

— Ни-ни-ни! — оретъ онъ, наливая вамъ большую рюмку рябиновой. — Не смѣй отказаться! По гробъ жизни обидишь! Не выпьешь — не выпущу! Сережка, запи-ка на ключъ дверь!

Дѣлать нечего, вы, скрѣпя сердце, выпиваете. Кумъ приходитъ въ восторгъ.

— Ну, спасибо! — говоритъ онъ. — За то, что ты такой хорошій человекъ, давай еще выпьемъ... Ни-ни-ни-ни! Обидишь! И не выпущу!

Надо пить и вторую.

— Спасибо другу! — восхищается кумъ. — За это самое, что ты меня не забылъ, еще надо выпить!

И такъ далѣе... Выпитое у кума дѣйствуетъ на васъ такъ живительно, что на слѣдующемъ визитѣ (Сокольницкая роща, домъ Курдюковой) вы хозяйку принимаете за горничную, а горничной долго и горячо пожимаете руку...

Разбитый, помятый, безъ заднихъ ногъ возвращаетесь вы къ вечеру домой. Васъ встрѣчаетъ ваша, извините за выраженіе, подруга жизни...

— Ну, у всѣхъ были? — спрашиваетъ она. — Чтò же ты не отвѣчаешь? А? Какъ? Чтò-о-о? Молчать! Сколько потратилъ на извозчика?

— Пя-пять рублей восемь гривенъ...

— Чтò-о-о? Да ты съ ума сошелъ! Милліонеръ ты что ли, что тратишь столько на извозчика? Боже, онъ сдѣлаетъ насъ нищими!

Затѣмъ слѣдуетъ нотация за то, что отъ васъ виномъ пахнетъ, что вы не умѣете толкомъ разсказать, какое на Леночкѣ платье, что вы — мучитель, извергъ и убійца... Подъ конецъ, когда вы думаете, что вамъ можно завалиться и отдохнуть, ваша супруга вдругъ начинаетъ обнимать васъ, дѣлаетъ испуганные глаза и вскрикиваетъ.

— Послушайте, — говоритъ она: — вы меня не обманете! Куда вы заѣзжали кромѣ визитовъ?

— Ни...никуда...

— Лжете, лжете! Когда вы уѣзжали, отъ васъ пахло

виолеть-де-пармомъ, теперь же отъ васъ разить опопонаксомъ! Несчастнѣй, я все понимаю! Извольте мнѣ говорить! Встаньте! Не смѣйте спать, когда съ вами говорятъ. Кто она? У кого вы были?

Вы таращите глаза, крикаете и въ обалдѣннѣ встряхиваете головой...

— Вы молчите?! Не отвѣчаете? — продолжаетъ супруга.— Нѣтъ? Уми... умираю! До-доктора! За-му-училь! Уми-ра-аю!

Теперь, милѣй мужчина, одѣвайтесь и скачите за докторомъ. Съ Новымъ годомъ!

1887.

ВЕСНОЙ.

(Сцена-монологъ).

Раннее утро. Изъ-за слухового окна показывается на крышѣ сѣрый молодой котъ съ глубокой царапиной на носу. Нѣкоторое время онъ презрительно жмурится, потомъ говоритъ:

— Предъ вами счастливѣйшій изъ смертныхъ! О, любовь! О, сладкія мгновенія! О, когда я буду дохлымъ и меня возьмутъ за хвостъ и бросятъ въ помойную яму, даже тогда я не забуду первой встрѣчи возлѣ опрокинутой бочки, не забуду взгляда ея узкихъ зрачковъ, ея бархатнаго, пушистаго хвоста! За одно движеніе этого граціознаго, неземнаго хвоста я готовъ отдать весь міръ! Впрочемъ... къ чему это я вамъ говорю? Вы никогда не понимали ни котовъ, ни гимназистовъ, ни старыхъ дѣвъ. Вы, люди, мелки, ничтожны и не можете хладнокровно глядѣть на кошачье счастье. Вы завистливо улыбаетесь и попрекаете меня моимъ счастьемъ: «Счастье котамъ!» Но ни одному изъ васъ не приходитъ въ голову спросить, какою цѣною достается намъ счастье. Такъ дайте же я вамъ расскажу, во что обходится котамъ счастье! Вы увидите, что въ погонѣ за нимъ котъ борется, рискуетъ и тершитъ гораздо больше, чѣмъ человѣкъ! Слу-

шайте же... Обыкновенно въ 9 часовъ вечера наша кухарка выноситъ помои. Я выхожу за ней и пробѣгаю черезъ весь дворъ по лужамъ. У котовъ не принято носить калоши, а потому волей-неволей приходится забыть на всю ночь о своемъ отвращеніи къ сырости. Въ концѣ двора я прыгаю на заборъ и осторожно ступаю по его краю; внизу злорадно слѣдитъ за мной сетерь, мой злѣйшій врагъ, мечтающій, что я рано или поздно свалюсь съ забора и позволю ему помять себя. Затѣмъ, одинъ хорошій прыжокъ—и я иду уже по сараю. Отсюда съ усиліемъ карабкаюсь я по водосточной трубѣ высокаго дома и шествую по узкому, скользкому карнизу. Съ карниза я прыгаю на сосѣдній домъ. Тутъ на крышѣ меня обыкновенно встрѣчаютъ мои соперники. О, господа, если бъ вы знали, сколько шрамовъ, рубцовъ и шишекъ прячется за мою шерстью, то у васъ волосы стали бы дыбомъ! Въ прошломъ году у меня едва не вытекъ глазъ, а третьяго дня мои соперники спихнули меня съ высоты двухъэтажнаго дома. Но къ дѣлу. Я начинаю пѣть. Въ музыкѣ мы, коты, теоретики и держимся новой школы, родоначальникомъ которой считаемъ себя: не гонимся за мотивомъ, а стараемся пѣть громче и дольше. Обыватели—плохіе теоретики, а потому немудрено, что они не понимаютъ нашего пѣнія и швыряютъ въ насъ камнями, метлами, обливаютъ помоями и патравляютъ на насъ собакъ. Пѣть мнѣ приходится около трехъ часовъ, а иногда и дольше, до тѣхъ поръ, пока вѣтеръ не донесетъ до моего слуха нѣжное, призывающее «мяу». Какъ молнія, мчусь я на этотъ призывъ, встрѣчаю ее... Наши кошки, въ особенности изъ чайныхъ магазиновъ, добродѣтельны. Какъ бы онѣ ни любили, онѣ никогда не отдадутся безъ протеста. Нужно обладать настойчивостью и силой воли, чтобы добиться успѣха. Она шипитъ, царапаетъ вамъ носъ, кокетливо жмурится; когда на ея глазахъ соперники задаютъ вамъ выволочку, она мурлыкаетъ, шевелитъ усами, бѣгаетъ отъ васъ по крышамъ, по заборамъ. Возня страшная, такъ что сладкій мигъ наступаетъ обыкновенно не раньше 4—5 часовъ утра.

Теперь вамъ понятно, во что мнѣ обходится счастье.

(Задираетъ вверхъ хвостъ и съ достоинствомъ шествуетъ дальше).

1887.

РАЗСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ.

(Неоконченный рассказ).

I.

Въ домѣ уѣзднаго предводителя Бондарева Михаила Ильича шла всенощная. Служилъ молодой священникъ, полный блондинъ съ длинными кудрями и съ широкимъ носомъ, похожій на льва. Пѣли только дьячокъ и псаломщикъ. Михаилъ Ильичъ, серьезно больной, неподвижно сидѣлъ въ креслѣ, блѣдный, съ закрытыми глазами, точно мертвецъ; жена его Вѣра Андреевна стояла рядомъ, склонивъ голову на-бокъ, въ лѣнливой и покорной позѣ челоуѣка, равнодушнаго къ религiи, но обязаннаго стоять и изрѣдка креститься. Александръ Андреевичъ Яшинъ, родной братъ Вѣры Андреевны, и его жена Леночка стояли позади кресла и тоже рядомъ. Былъ канунъ Троицы. Въ саду тихо шумѣли деревья, и прекрасная вечерняя заря горѣла по-праздничному, захвативъ полнеба.

Слышался ли въ открытыя окна трезвонъ городскихъ и монастырскихъ колоколовъ, кричалъ ли на дворѣ павлинъ или кашлялъ кто-нибудь въ передней, — всѣмъ невольно приходило на мысль, что Михаилъ Ильичъ серьезно боленъ, что доктора приказали, какъ только ему станетъ легче, везти его за границу, но что изо дня въ день ему становилось то лучше, то хуже, ничего нельзя было понять, а время шло, неопредѣленность наскучила. Яшинъ еще на Пасху прiѣхалъ сюда, чтобы помочь сестрѣ везти мужа за границу; но вотъ ужъ онъ прожилъ здѣсь со своей женой почти два мѣсяца, вотъ ужъ служится при немъ чуть ли не третья всенощная, а будущее все еще

въ туманѣ, и ничего нельзя понять. И никто бы не могъ поручиться, что этотъ кошмаръ не будетъ тянуться до осени.

Яншинъ былъ недоволенъ и скучалъ. Ему надоѣло каждый день собираться за границу и ужъ хотѣлось домой, къ себѣ въ Новоселки. Правда, и дома не весело, но зато тамъ нѣтъ этой просторной залы съ четырьмя колоннами по угламъ, нѣтъ бѣлыхъ кресель съ золотистой обивкой, желтыхъ портьеръ, люстры и всей этой мѣщанской безвкусицы, претендующей на великолѣпіе, нѣтъ эхо, повторяющаго ночью каждый шагъ, а главное — нѣтъ этого болѣзненного, желтаго, пухлага лица съ закрытыми глазами. Дома можно смѣяться, говорить глупости, громко ссориться съ женой или съ матерью, однимъ словомъ — жить, какъ хочешь; а здѣсь, точно въ пансіонѣ, ходи на цыпочкахъ, шепчись, говори только умное, или вотъ стой и слушай всеобщую, которая служится не изъ религіознаго чувства, а, какъ говорить самъ Михайлъ Ильичъ, по традиціи... И ничто такъ не утомляетъ и не принижаетъ, какъ это состояніе, когда приходится смиряться передъ человѣкомъ, котораго въ глубинѣ души считаешь ничтожествомъ, и пяльчиться съ больнымъ, котораго не жаль.

Яншинъ думалъ еще объ одномъ обстоятельстве: въ прошлую ночь жена Лепочка объявила ему, что она беременна. Эта новость была интересна только потому, что вносила въ вопросъ о поѣздкѣ еще новую смуту. Какъ теперь быть? Везти ли Леночку съ собой за границу, или же отправить ее къ матери въ Новоселки? Но путешествовать въ ея положеніи было бы неудобно, а домой она ни за что не поѣдетъ, такъ какъ не ладить со своею свекровью и не согласится жить въ деревнѣ одна, безъ мужа.

«Или мнѣ воспользоваться этимъ предлогомъ и вмѣстѣ съ нею уѣхать домой? — думалъ Яншинъ, стараясь не слушать дьячка. — Нѣтъ, неловко оставлять тутъ Вѣру одну... — рѣшилъ онъ, взглянувъ на стройную фигуру своей сестры. — Но какъ же быть?»

Онъ думалъ и спрашивалъ себя: «Какъ же быть?». И его жизнь представлялась ему крайне сложной и запутанной. Всѣ эти вопросы — о поѣздкѣ, сестрѣ, женѣ, зятѣ и проч., каждый въ отдѣльности, быть-можетъ, рѣшились бы очень легко и удобно, но всѣ они были спутаны вмѣстѣ

и походили на невылазное болото, и стоило только рѣшить какой-нибудь одинъ, чтобы отъ этого еще пуще запутались другіе.

Когда священникъ, передъ тѣмъ, какъ читать евангеліе, обернулся и сказалъ: «Миръ всѣмъ!» — больной Михаилъ Ильичъ вдругъ открылъ глаза и задвигался въ креслѣ.

— Саша! — позвалъ онъ.

Яншинъ быстро подошелъ къ нему и нагнулся.

— Миѣ не нравится, какъ онъ служить... — сказалъ Михаилъ Ильичъ вполголоса, но такъ, что слова его ясно пронеслись по залѣ; дыханіе у него было тяжелое, со свистомъ и хрипомъ. — Я уйду отсюда. Проводи меня, Саша!

Яншинъ помогъ ему подняться и взялъ его подъ руку.

— Ты останься, милая... — сказалъ Михаилъ Ильичъ слабымъ, просящимъ голосомъ женѣ, которая хотѣла взять его подъ руку съ другой стороны. — Останься! — повторилъ онъ съ раздраженіемъ, взглянувъ на ея равнодушное лицо. — Я и такъ дойду.

Священникъ стоялъ съ раскрытымъ евангеліемъ и ждалъ. Среди наступившей тишины ясно слышалось стройное хоровое пѣніе мужскихъ голосовъ. Пѣли гдѣ-то за садомъ, должно-быть, на рѣкѣ. И вышло очень мило, когда вдругъ зазвонили въ сосѣднемъ монастырѣ и этотъ мягкій, мелодичный звонъ смѣшался съ пѣніемъ. У Яншина сжалось сердце отъ сладкаго предчувствія чего-то хорошаго, и онъ едва не забылъ, что ему нужно вести больного. Посторонніе звуки, прилетѣвшіе въ залу, почему-то напомнили ему, какъ мало въ его теперешней жизни наслажденія и свободы, и какъ мелки, ничтожны и неинтересны задачи, которыя онъ съ такимъ напряженіемъ рѣшалъ каждый день отъ утра до ночи. Когда онъ повелъ больного и прислуга, сторонясь и давая дорогу, поглядывала съ мрачнымъ любопытствомъ, съ какимъ обыкновенно въ деревняхъ глядятъ на мертвое тѣло, — онъ вдругъ почувствовалъ ненависть, тяжелую, острую ненависть къ пухлому, бритому, актерскому лицу больного, къ его рукамъ воскового цвѣта, къ плюшевому халату, къ дыханію, къ стуку его черной палки. Отъ этого чувства, которое онъ теперь испытывалъ впервые за все время, пока жилъ, и которое такъ неожиданно захватило его, — у него похолодѣли голова и ноги и сильно засту-

чало сердце. Ему страстно захотѣлось, чтобы Михаилъ Ильичъ умеръ сію же минуту, чтобъ онъ вскрикнулъ въ послѣдній разъ и хлопнулся о полъ; но въ одно мгновеніе онъ вообразилъ себѣ эту смерть и съ ужасомъ отвернулся отъ нея. Когда вышли изъ залы, онъ хотѣлъ ужъ не смерти больного, а жизни для себя: оторвать бы руки отъ теплой подмышки и бѣжать, бѣжать, бѣжать безъ оглядки.

Постель для Михаила Ильича была устроена въ кабинетѣ на турецкомъ диванѣ. Въ спальнѣ больному казалось жарко и неудобно.

— Что-нибудь одно: будь попомъ или гусаромъ! — сказалъ онъ, тяжело опускаясь на диванъ. — Что за манеры! Ахъ, Боже мой!.. Я бы такого ферта-попа въ дьячки разжаловалъ.

Глядя на его капризное, несчастное лицо, Яншинъ хотѣлъ возразить ему, сказать какую-нибудь дерзость, сознаться въ своей ненависти, но вспомнилъ приказъ докторовъ не волновать больного и промолчалъ. Впрочемъ, не въ докторахъ дѣло. Чего бы только нельзя было наговорить и накричать, если бы съ этимъ ненавистнымъ человекомъ не была связана навѣки и безнадежно судьба сестры Вѣры? У Михаила Ильича была манера постоянно выпячивать впередъ сжатые губы и двигать ими въ стороны, точно онъ сосалъ ледянецъ, и это движеніе бритыхъ и полныхъ губъ раздражало теперь Яншина.

— Ты, Саша, иди туда... — сказалъ Михаилъ Ильичъ. — Ты здоровъ и; кажется, равнодушенъ къ церкви. Для тебя все равно, кто бы ни служилъ. Иди!

— Но ты вѣдь тоже равнодушенъ къ церкви... — тихо проговорилъ Яншинъ, сдерживая себя.

— Нѣтъ, я вѣрую въ Провидѣніе и признаю церковь.

— Вотъ именно, какъ мнѣ кажется, въ религіи тебѣ пужны не Богъ и не истина, а такія слова, какъ «Провидѣніе», «свыше»..

Яншинъ хотѣлъ прибавить: «иначе бы сегодня ты не оскорбилъ такъ священника», но замолчалъ. Ему казалось, что онъ ужъ позволилъ себѣ сказать и безъ того слишкомъ много.

— Иди, пожалуйста! — проговорилъ нетерпѣливо Михаилъ Ильичъ, который не любилъ, когда съ нимъ не соглашались или говорили о немъ самомъ. — Я никого не желаю стѣнять. Я знаю, какъ тяжело сидѣть около

больного... Знаю, братъ! Всегда говорилъ и буду говорить: нѣтъ тяжелѣе и святѣе труда, какъ трудъ сидѣлки. Иди, едѣлай милость!

Яншинъ вышелъ изъ кабинета. Спустившись къ себѣ внизъ, онъ надѣлъ пальто и шляпу и черезъ парадную дверь прошелъ въ садъ. Былъ уже девятый часъ. Наверху пѣли канонъ. Пробираясь между клумбъ, розовыхъ кустовъ, голубыхъ изъ геліотропа вензелей V и M (т.-е. Вѣра и Михаилъ) и мимо множества чудесныхъ цвѣтовъ, которые въ этой усадьбѣ никому не доставляли удовольствія, а росли и цвѣли, вѣроятно, тоже «по традиціи», — Яншинъ спѣшилъ и боялся, какъ бы не окликнула его сверху жена. Она легко могла его увидѣть. Но вотъ онъ, пройдя немного паркомъ, вышелъ на еловую аллею, длинную и темную, сквозь которую по вечерамъ бываетъ виденъ закатъ. Тутъ старыя, дряхлыя ели всегда, даже въ тихую погоду, издають легкій, суровый шумъ, пахнутъ смолой, и ноги скользятъ по сухимъ игламъ.

Яншинъ шелъ и думалъ о томъ, что ненависть, которая сегодня во время всенощной такъ неожиданно овладѣла имъ, уже не оставитъ его, и съ нею придется считаться; она вносила въ его жизнь еще новое осложненіе и общала мало хорошаго. Но отъ елей, спокойнаго, далекаго неба и отъ праздничной зари вѣяло миромъ и благодатью. Онъ съ удовольствіемъ прислушивался къ своимъ шагамъ, которые одиноко и глухо раздавались въ темной аллѣѣ, и ужъ не спрашивалъ себя: «Какъ же быть?».

Почти каждый вечеръ онъ ходилъ на станцію получать газеты и письма, и это, пока онъ жилъ у зятя, было его единственнымъ развлеченіемъ. Почтовый поѣздъ приходилъ въ три четверти десятаго, именно въ то время, когда дома начиналась нестерпимая вечерняя скука. Въ карты играть было не съ кѣмъ, ужинать не давали, спать не хотѣлось, и потому приходилось поневолѣ или сидѣть около больного, или же читать велухъ Леночкѣ переводные романы, которые она очень любила. Станція была большая, съ буфетомъ и съ книжнымъ шкапомъ. Можно было закусить, выпить пива, посмотрѣть книги. Больше же всего Яншину нравилось встрѣчать поѣздъ и завидовать пассажирамъ, которые куда-то ѣхали и, казалось ему, были счастливѣе, чѣмъ онъ.

Когда онъ прищелъ на станцію, то на платформѣ уже

гуляла въ ожиданіи поѣзда та публика, которую онъ при-
выкъ видѣть здѣсь каждый вечеръ. Тутъ были дачники,
жившіе около станціи, два-три офицера изъ города, ка-
кой-то помѣщикъ со шпорой на правой ногѣ и съ до-
гомъ, который ходилъ за нимъ, печально опустивъ голову.
Дачники и дачницы, очевидно, хорошо знакомые между
собой, громко разговаривали и смѣялись. Какъ всегда,
больше всѣхъ былъ оживленъ и громче всѣхъ смѣялся
дачникъ-инженеръ, очень полный мужчина лѣтъ 45, съ
бакенами и съ широкимъ тазомъ, одѣтый въ ситцевую
рубашу на-выпускъ и плисовые шаровары. Когда онъ,
выпятивъ впередъ свой большой животъ и поглаживая
бакены, проходилъ мимо Яншина и ласково взглядывалъ
на него своими масляными глазами, то Яншину казалось,
что этотъ человѣкъ живетъ съ большимъ аппетитомъ. У
инженера было даже особенное выраженіе на лицѣ, кото-
рое нельзя было иначе прочесть, какъ только: «Ахъ,
какъ вкусно!». Фамилія у него была нескладная, тройная,
и Яншинъ помнилъ ее потому, что инженеръ, любившій
громко поговорить о политикѣ и поспорить, часто клялся
и говорилъ:

— Не будь я Битный-Кушле-Сувремовичъ!

Говорили, что онъ былъ большой весельчакъ, хлѣбо-
соль и страстный винтеръ. Яншину давно уже хотѣлось
познакомиться съ нимъ, но подойти къ нему и загово-
рить онъ не рѣшался, хотя догадывался, что тотъ былъ
не прочь отъ знакомства. Гуляя одиноко по платформѣ
и слушая дачниковъ, Яншинъ всякій разъ почему-то
вспоминалъ, что ему уже 31 годъ, и что, начиная съ
'24 лѣтъ, когда онъ кончилъ въ университетѣ, онъ ни
одного дня не прожилъ съ удовольствіемъ: то тяжба съ
сосѣдомъ изъ-за межи, то у жены выкидышъ, то кажется,
что сестра Вѣра несчастна, то вотъ Михаилъ Ильичъ
боленъ и нужно везти его за границу. Онъ сожа-
лѣлъ, что все это будетъ продолжаться и повторяться
въ разныхъ видахъ безъ конца, и что въ 40 и 50 лѣтъ
будутъ такія же заботы и мысли, какъ и въ 31; однимъ
словомъ, изъ этой твердой скорлупы ему не выйти уже
до самой смерти. Надо умѣть обманывать себя, чтобы
думать иначе. И ему хотѣлось перестать быть устри-
цей хотя на одинъ часъ; хотѣлось заглянуть въ чужой
міръ, увлечься тѣмъ, что не касалось его лично, пого-
ворить съ посторонними для него людьми, хотя бы съ

этимъ толстымъ инженеромъ или съ дачницами, которыя въ вечернихъ сумеркахъ всё были такъ красивы, веселы, а главное — молоды.

Пришелъ поѣздъ. Помѣщикъ съ одной шпорой встрѣтилъ полную, пожилую даму, которая обняла его и нѣсколько разъ повторила взволнованнымъ голосомъ: — «Alexis!». По всей вѣроятности, это была его мать. Онъ перемонно, точно балетный *jeune premier*, звякнулъ шпорой, предложилъ ей руку и сказалъ носильщику бархатнымъ, слащавымъ баритономъ:

— Будьте такъ любезны, получите нашъ багажъ!

Скоро поѣздъ ушелъ. Дачники получили свои газеты и письма и разошлись по домамъ. Наступила тишина... Яшинъ погулялъ еще немного по платформѣ и пошелъ въ залу I класса. Бѣсть ему не хотѣлось, но онъ все-таки съѣлъ порцію телятины и выпилъ пива. Церемонныя, изысканныя манеры помѣщика со шпорой, его слащавый баритонъ и вѣжливость, въ которой было такъ мало простоты, произвели на него неотвязчивое, болѣзненное впечатлѣнiе. Онъ вспоминалъ его длинные усы, доброе и неглупое, но какое-то странное, непонятное лицо, его манеру потирать руки, какъ будто было холодно, и думалъ о томъ, что если полная, пожилая дама, дѣйствительно, мать этого человѣка, то, вѣроятно, она очень несчастна. Ея взволнованный голосъ говорилъ только одно слово: «Alexis», но робкое, растерянное лицо и любящiе глаза договаривали все остальное.

II.

Вѣра Андреевна видѣла въ окно, какъ уходилъ ея братъ. Она знала, что онъ идетъ на станцію, и вообразила себѣ еловую аллею всю до конца, потомъ спускъ къ рѣкѣ, широкiй видъ и то впечатлѣнiе покоя и простоты, какое всегда производили на нее рѣки, заливные луга, а за ними станція и березовый лѣсъ, гдѣ жили дачники, а направо вдали уѣздный городокъ и монастырь съ золотыми главами... Потомъ она вообразила опять аллею, темноту, свой страхъ и стыдъ, знакомые шаги и все то, что можетъ повториться опять, быть-можетъ, даже сегодня... И она вышла изъ залы на минутку, чтобы распорядиться насчетъ чаю для батюшки, и, придя въ столовую, достала изъ кармана письмо въ твердомъ конвертѣ и съ заграничной маржой, согнутое вдвое. Это письмо было

принесено ей минутъ за пять до всенощной, и она успѣла уже прочесть его два раза.

«Милая моя, дорогая, мученіе мое, тоска моя»,—прочитала она, держа письмо въ обѣихъ рукахъ и давая имъ обѣимъ упиваться прикосновеніемъ къ этимъ милымъ, горячимъ строкамъ. «Милая моя,—начала она опять съ перваго слова:—дорогая, мученіе мое, тоска моя, ты пишешь убѣдительно, но я все-таки не знаю, что мнѣ дѣлать. Ты тогда сказала, что, навѣрное, уѣзжаешь въ Италію, и я, какъ сумасшедшій, поскакалъ впередъ, встрѣтить тебя здѣсь и любить мою милую, мою радость. Я думалъ, что здѣсь ты уже не будешь въ лунныя ночи бояться, какъ бы мою тѣнь не увидѣли изъ окна твой мужъ или братъ. Здѣсь я гулялъ бы съ тобою по улицамъ, и ты не боялась бы, что Римъ или Венеція узнаютъ о томъ, что мы любимъ другъ друга. Прости, мое сокровище, но есть Вѣра робкая, малодушная, нерѣшительная; есть другая Вѣра—равнодушная, холодная, гордая, которая при постороннихъ называетъ меня «вы» и дѣлаетъ видъ, что едва замѣчаетъ меня. Я хочу, чтобы меня любила эта другая, эта гордая и прекрасная... Я не хочу быть филиномъ, который имѣетъ право наслаждаться только вечеромъ и ночью. Дай мнѣ свѣта! Потемки гнетутъ меня, милая, и эта наша любовь урывками и украдкой держитъ меня впроголодь, и я раздраженъ, страдаю, бѣшусь... Ну, однимъ словомъ, я думалъ, что моя Вѣра, не первая, а другая, здѣсь, за границей, гдѣ отъ надзора легче укрыться, чѣмъ дома,—дастъ мнѣ хоть одинъ часъ полной, настоящей любви, безъ оглядки, чтобы я хоть одинъ разъ, какъ слѣдуетъ, почувствовалъ себя любовникомъ, а не контрабандистомъ, чтобы ты, когда обнимаешь, не говорила:—«Мнѣ уже пора!». Я думалъ такъ, но вотъ прошелъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ я живу во Флоренціи, тебя нѣтъ, и ничего неизвѣстно. Ты пишешь: «Въ этомъ мѣсяцѣ мы едва ли выберемся». Что же это такое? Отчаяніе мое, что ты дѣлаешь со мной!? Пойми, я безъ тебя не могу, не могу, не могу!!! Говорятъ, Италія прекрасна; но мнѣ скучно, я точно въ изгнаніи, и моя сильная любовь томится какъ ссыльная. Мой каламбуръ, скажешь, не смѣшонъ, но вѣдь зато я смѣшонъ, какъ шутъ. Я мечусь то въ Болонью, то въ Венецію, то въ Римъ и все смотрю, нѣтъ ли въ толпѣ женщины, похожей на тебя. Отъ скуки я по пяти

разъ обошелъ уже всѣ картинныя галлерей и музеи и видѣлъ на картинахъ только тебя одну. Въ Римѣ я съ одышкою взбираюсь на Monte Pincio и смотрю оттуда на Вѣчный городъ, но вѣчность, красота, небо — все сливается у меня въ одинъ образъ съ твоимъ лицомъ и въ твою платъ. А здѣсь, во Флоренціи, я хожу по лавкамъ, гдѣ продаютъ скульптуру, и когда никого не бываетъ въ лавкѣ, обнимаю статуи, и мнѣ кажется, что это я тебя обнимаю. Ты нужна мнѣ сейчасъ, сію минуту... Вѣра, я безумствую, но прости, я не могу, я завтра уѣду къ тебѣ... Это письмо лишнее, ну, да пусть! Милая, значить, рѣшено: я завтра ѣду...»
1887.

НАБРОСКИ.

I. У Зелениныхъ.

Маша Зеленина читала письмо, только-что полученное съ почты, а Любовь Михайловна, старушка въ черномъ, заваривала чай.

Быль восьмой часъ вечера. За темными окнами не умолкалъ сухой, воющій шумъ, какой издають мерзлыя деревья; на дворѣ была гололедица, и съ неба сыпалась крупа. Ночной сторожъ Флоръ, соскучившись въ людской, уже шагаль по саду и громко ласкалъ собакъ. И шаги Флора, и легкій трескъ крупы, и самоварный паръ, который на потолкѣ мѣшался со своею тѣнью, и неподвижность свѣчныхъ огней — все говорило, что вечеръ уже начался, что будетъ онъ длинный, тихій, немножко скучный, немножко грустный, и ничѣмъ онъ не будетъ ни лучше ни хуже вчерашняго; его переживуть, завтра же о немъ забудутъ, и въ памяти людей смѣшается онъ съ другими вечерами, какъ дымъ съ дымомъ.

— О чемъ пишетъ мама? — спросила Любовь Михайловна.

— Ничего особеннаго... — отвѣтила Маша и прочла велухъ: — «Господь тебя благословить, милая, драгоцѣн-

ная дочурочка, мое зóлото. Вчера я и Вася при́ехали въ Ялту и остановились пока въ гостиницѣ, такъ что настоящаго адреса у насъ еще нѣтъ. Должно-быть, будемъ жить въ Алупкѣ или въ Симеизѣ. Погода холодная, море смотритъ непривѣтливо, и былъ дождь. Напрасно мы поспѣшили въ Крымъ. Говорятъ, что тутъ въ мартѣ всегда такая погода, надо бы подождать до апрѣля, а то боюсь за Васю. Тяжело на душѣ и ни на что не хочется смотрѣть, такъ бы все сидѣла и плакала. Христось съ тобой, мое дитя, береги себя. Когда я пришлю адресъ, тотчасъ же напиши мнѣ и даже пришли телеграмму, а то я тоскую, и спится нехорошо. Снился твой отецъ, какъ будто подходитъ ко мнѣ и подаетъ большой флагъ, а на флагъ голубой крестъ. Это къ терпѣннiю. Сегодня мы приглашали доктора. Онъ сказалъ, что московскiе доктора поздно захватили болѣзнь, но что пока ничего еще нѣтъ опаснаго. У Васи слѣды плевроита и поражена верхушка лѣваго легкаго, но что при хорошемъ образѣ жизни и аккуратномъ лѣченiи это можетъ пройти. Велѣлъ оставить университетъ, съ чѣмъ я вполне согласна. Температура вчера была 38,2. Спаль хорошо и не потѣлъ, но кашлялъ.

«Я всю дорогу мучилась, что ты сердисься, крошечка. Тебѣ не хотѣлось, чтобъ я ѣхала съ Васей, но вѣдь иначе нельзя. Вася хоть и студентъ, но онъ еще дитя, не можетъ безъ присмотра. Своей болѣзни онъ не понимаетъ и не бережется. Цѣлый день поетъ, выходитъ безъ шапки и курить. И вино пилъ. Горе мнѣ съ нимъ. Просить, чтобъ я взяла на прокатъ рояль, я обѣщала. Ты не сердись — это не дорого. Сегодня утромъ въ коридорѣ я встрѣтилась съ Наденькой Поля, дочерью полковника Поля, который въ бригадѣ твоего отца былъ батарейнымъ командиромъ. Она меня узнала и обрадовалась до слезъ. Ея отецъ умеръ, упокой Господи его душу, ты не помнишь, была маленькая. Цѣлую тебя крѣпко-крѣпко, благословляю и скучаю безъ тебя, моего ангела. Поцѣлуй Ваню и Любовь Михайловну. Живите мирно и не ссорьтесь. Прощай, дружокекъ, моя дочечка, я сейчасъ заплакала, скучно безъ тебя, — любящая тебя мать Наталья Зеленина. Извини, что такъ неразборчиво.

«P. S. Не забудьте послать 20 марта въ Москву 200 р.».

II. Калѣка.

Александръ Ивановичъ вспомнилъ, что у его сестры Анюты крестины, и поѣхалъ къ ней на дачу. Анюта была ему не родная сестра. Его родители въ первыя пять лѣтъ послѣ женитьбы не имѣли дѣтей и взяли на воспитаніе дѣвочку-сиротку, а черезъ два года послѣ этого родился онъ, Александръ Ивановичъ. Она была, что называется, воспитанницей, но онъ любилъ ее, какъ родную сестру. И дѣтей ея тоже любилъ.

Вечерній шестичасовой поѣздъ, на которомъ нужно было ѣхать, уже ушелъ. Пришлось нанять извозчика, и когда Александръ Ивановичъ пріѣхалъ на дачу, то уже было поздно: крестины давно кончились, гости вернулись въ городъ. Старая няня въ бѣломъ фартукѣ ходила по комнатамъ и собирала дѣтей, чтобы укладывать ихъ спать.

— Глѣбъ, гдѣ ты? — окликала она. — Иди, батюшка; простоквашу кушать! Глѣ-ѣбъ!

Гасили огни въ залѣ и гостиной. Анюта сидѣла у себя въ креслѣ, успокоенная, довольная, что всѣ эти хлопоты съ родами и крестинами кончились, и теперь обычная жизнь пойдетъ своимъ порядкомъ. Около нея была Леля, ея дочь, четырехъ лѣтъ, русая, съ большими ясными глазами.

— Пріѣхалъ, Саша! — сказала Анюта, увидѣвъ Александра Ивановича; она ему обрадовалась. — Опоздалъ! А мы ждали тебя до семи часовъ, потомъ рѣшили, что ты не пріѣдешь вовсе.

Онъ объяснилъ, почему пріѣхалъ такъ поздно, спросилъ о здоровьѣ, о новорожденномъ; начался разговоръ. Леля слушала и глядѣла на дядю, прямо въ лицо, очень серьезно, неподвижно, не мигая глазами.

— А у насъ сегодня ребеночка крестили... — сказала она громко.

Онъ поцѣловалъ ее въ голову и спросилъ у сестры:

— Кто у тебя былъ сегодня?

— А я, признаться, думала, что ты обидѣлся и оттого не пріѣхалъ, — продолжала Анюта, не отвѣтивъ на вопросъ, и засмѣялась. — Ты извини, я не пригласила тебя въ крестные, не подумай Бога ради, что это невниманіе съ моей стороны или что; я было-собралась тебѣ написать, да мой Сергѣй Николаевичъ вдругъ: «что же это

ты дѣлаешь, Аня?» Я слохватилась. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь въ крестныя матери мы позвали Сашу Колосову, она тебѣ нравится, можетъ, въ самомъ дѣлѣ васъ Богъ благословитъ, — она дѣвушка хорошая, а если бы вы покумились, то, говорятъ, не стали бы васъ вѣнчать.

Когда онъ ѣхалъ на дачу, то зналъ, что здѣсь будетъ разговоръ о дѣвушкѣ, которая ему нравится, и о томъ, что онъ, вѣроятно, женится скоро — объ этомъ говоритъ уже весь городъ.

III. Волкъ.

Помѣщикъ Ниловъ, плотный, крѣпкій мужчина, славящійся на всю губернію своей необыкновенной физической силой, и слѣдователь Купріяновъ, возвращаясь однажды вечеромъ съ охоты, завернули на мельницу къ старику Максиму. До усадьбы Нилова оставалось только двѣ версты, но охотники такъ утомились, что итти дальше не захотѣли и порѣшили сдѣлать на мельницѣ продолжительный привалъ. Это рѣшеніе имѣло тѣмъ большій смыслъ, что у Максима водились чай и сахаръ, а при охотникахъ имѣлся приличный запасъ водки, коньяку и разной домашней снѣди.

Послѣ закуски охотники принялись за чай и разговорились.

— Что новенькаго, дѣдъ?—обратился Ниловъ къ Максиму.

— Что новенькаго? — усмѣхнулся старикъ. — А то новенькаго, что собираюсь у вашей милости ружьеца попросить...

— На что тебѣ ружье?

— Чего-съ? Оно, пожалуй, хоть и не надо. Я вѣдь это только такъ спрашиваю, для пущей важности... Все равно стрѣлять не вижу. Шутъ его знаетъ, откуда бѣшеный волкъ взялся. Второй ужъ день, какъ тутъ бѣгаетъ... Вчера въ вечеру около деревни жеребенка и двухъ собакъ зарѣзалъ, а нынче чуть свѣтъ выхожу я, а онъ, проклятый, сидитъ подъ ветлой и бьетъ себя лапой по мордѣ. Я на него—«тю!», а онъ глядитъ на меня, какъ нечистая сила... Я въ него камнемъ, а онъ закладъ зубами, засвѣтилъ очами, какъ свѣчками, и подался къ осиновому узлѣску... Испугался я до смерти.

— Чортъ знаетъ что...—пробормоталь слѣдователь.—
Бѣшеный волкъ бѣгаетъ, а мы тутъ шатаемся...

— Ну, такъ что же? Вѣдь мы съ ружьями.

— Не станете же вы стрѣлять въ волка дробью...

— Зачѣмъ стрѣлять? Можно просто прикладомъ уложить.

И Ниловъ сталъ доказывать, что нѣтъ ничего легче, какъ убить волка прикладомъ, и рассказалъ одинъ случай, когда онъ однимъ ударомъ обыкновенной трости уложилъ на мѣстѣ напавшую на него большую бѣшеную собаку.

— Вамъ хорошо разсуждать! — вздохнулъ слѣдователь, съ завистью поглядѣвъ на его широкія плечи. — Силища у васъ, слава тебѣ Господи, на десятерыхъ хватить. Не то что тростью, вы и пальцемъ собаку уложите. Простой же смертный, пока соберется поднять палку, да пока наметитъ мѣсто, по которому ударить, да пока что, собака успѣетъ его разъ пять укусить. Непріятная исторія... Нѣтъ болѣзни мучительнѣе и ужаснѣе, какъ водобоязнь. Когда мнѣ впервые довелось увидѣть бѣшенаго человѣка, я дней пять потомъ ходилъ, какъ шальной, и возненавидѣлъ тогда всѣхъ въ мірѣ собачниковъ и собакъ. Во-первыхъ, ужасна эта скоропостижность, экспромптность болѣзни... Идетъ человѣкъ здоровый, покойный, ни о чемъ не думаетъ, и вдругъ ни съ того ни съ сего — цаль его бѣшенная собака! Человѣкомъ моментально овладѣваетъ ужасная мысль, что онъ погибъ безвозвратно, что нѣтъ спасенія... Засимъ можете себѣ вообразить томительное, гнетущее ожиданіе болѣзни, не оставляющее укушеннаго ни на одну минуту. За ожиданіемъ слѣдуетъ сама болѣзнь... Ужаснѣе же всего — что эта болѣзнь неизлѣчима. Ужъ коли заболѣлъ, то пиши пропало. Въ медицинѣ, насколько мнѣ извѣстно, нѣтъ даже намека на возможность излѣченія.

— А у насъ въ деревнѣ лѣчатъ, баринъ! — сказали Максимъ. — Миронъ кого угодно вылѣчитъ.

— Чепуха... — вздохнулъ Ниловъ. — Насчетъ Мирона все это одни только разговоры. Прошлымъ лѣтомъ на деревнѣ Степку укусила собака, и никакіе Мироны не помогли... Какъ ни поили его всякою дрянью, а все-таки взбѣсился. Нѣтъ, дѣдуся, ни черта не подѣлаешь. Случись со мною такая оказія, укуси меня бѣшенная собака, я бы себѣ пулю пустилъ въ лобъ.

Страшные рассказы о водобоязни имѣли свое дѣйствіе. Охотники постепенно умолкли и продолжали пить молча. Каждый невольно задумался о роковой зависимости жизни и счастья человѣка отъ случайностей и пустяковъ, повидимому, ничтожныхъ, не стоящихъ, какъ говорится, яйца выдѣннаго. Всѣмъ стало скучно и грустно.

Послѣ чаю Ниловъ потянулся и всталъ... Ему захотѣлось выйти наружу. Походивъ немного около закровъ, онъ отворилъ маленькую дверцу и вышелъ. На дворѣ давно уже кончились сумерки и наступилъ настоящій вечеръ. Отъ рѣки вѣяло тихимъ, непробуднымъ сномъ.

На плотинѣ, залитой луннымъ свѣтомъ, не было ни кусочка тѣни; на серединѣ ея блестяло звѣздой горлышко отъ разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись въ тѣни широкой ивы, глядѣли сердито, уныло.

Ниловъ вздохнулъ всей грудью и взглянулъ на рѣку. Ничто не двигалось. Вода и берега спали, даже рыба не плескалась. Но вдругъ Нилову показалось, что на томъ берегу, повыше кустовъ ивняка, что-то похожее на тѣнь прокатилось чернымъ шаромъ. Онъ прищурилъ глаза. Тѣнь исчезла, но скоро опять показалась и зигзагами покатила къ плотинѣ.

— Волкъ! — вспомнилъ Ниловъ.

Но, прежде чѣмъ въ головѣ его мелькнула мысль о томъ, что нужно бѣжать назадъ, въ мельницу, темный шаръ уже катился по плотинѣ, не прямо на Нилова, а зигзагами.

«Если я побѣгу, то онъ нападетъ на меня сзади, — соображалъ Ниловъ, чувствуя, какъ на головѣ у него подъ волосами ледянетъ кожа. — Боже мой, даже палки нѣтъ! Ну, буду стоять и... и задушу его!»

И Ниловъ сталъ внимательно слѣдить за движеніями волка и за выраженіемъ его фигуры. Волкъ бѣжалъ по краю плотины, уже поровнялся съ нимъ.

«Онъ мимо бѣжить!» — подумалъ Ниловъ, не спуская съ него глазъ.

Но въ это время волкъ, не глядя на него и будто нехотя, издалъ жалобный, скрипучій звукъ, повернулъ къ нему морду и остановился. Онъ точно соображалъ: папастъ или пренебречь

«Ударить по головѣ кулакомъ... — думалъ Ниловъ. — Ошеломить...»

Ниловъ такъ растерялся, что не понялъ, кто первый началъ борьбу: онъ или волкъ? Онъ только понялъ, что настала какой-то особенно страшный, критическій моментъ, когда понадобилось сосредоточить всю силу въ правой рукѣ и схватить волка за шею около затылка. Тутъ произошло нѣчто необыкновенное, чему трудно повѣрить и что самому Нилову казалось сномъ. Схваченный волкъ жалобно зарычалъ и рванулся съ такой силой, что складка кожи, холодная и мокрая, сжатая рукою Нилова, заскользила между пальцами. Волкъ, стараясь высвободить свой затылокъ, поднялся на заднія лапы. Тогда Ниловъ лѣвой рукой схватилъ его за правую лапу, сжалъ ее у самой подмышки, потомъ быстро отнял свою правую руку отъ затылка волка и, сжавши ею лѣвую подмышку, поднялъ волка на воздухъ. Все это было дѣломъ одного мгновенья. Чтобы волкъ не укусилъ его за руки и чтобы не дать его головѣ ворочаться, Ниловъ большіе пальцы обѣихъ рукъ вонзилъ въ его шею около ключиць, словно шпоры. Волкъ уперся лапами въ его плечи и, получивъ такимъ образомъ точку опоры, затрясся со страшной силой. Укусить руки Нилова до локтя онъ не могъ, протянуть же морду къ лицу и плечамъ ему мѣшали пальцы, давившіе его шею и причинявшіе ему сильную боль.

«Скверно!—думалъ Ниловъ, оттягивая возможно дальше назадъ свою голову. — Слюна его попала мнѣ на губу. Стало-быть, все равно уже пропалъ, даже если и избавлюсь отъ него какимъ-нибудь чудомъ».

— Ко мнѣ! — закричалъ онъ. — Максимъ! Ко мнѣ!

Оба, Ниловъ и волкъ, головы которыхъ были на одномъ уровнѣ, глядѣли въ глаза другъ другу. Волкъ щелкалъ зубами, издавалъ скрипучіе звуки и брызгалъ. Заднія лапы его, ища опоры, ерзали по колѣнямъ Нилова. Въ глазахъ свѣтилась луна, но не видно было ничего, похожего на злобу; они плакали и походили на человѣческіе.

— Ко мнѣ! — закричалъ еще разъ Ниловъ. — Максимъ!

Но на мельницѣ его не слышали. Онъ инстинктивно чувствовалъ, что отъ громкаго крика можетъ убавиться его сила, а потому кричалъ не громко.

«Буду пятиться назадъ... — рѣшилъ онъ. — Дойду задомъ до дверей и тамъ крикну».

Онъ началъ лѣтаться, но не прошелъ двухъ аршинъ, какъ почувствовалъ, что его правая рука слабѣетъ и отекаетъ. Затѣмъ вскорѣ наступилъ моментъ, когда онъ услышалъ свой собственный, душу раздирающій крикъ и почувствовалъ острую боль въ правомъ плечѣ и влажную теплоту, разлившуюся вдругъ по всей рукѣ и по груди. Затѣмъ онъ слышалъ голосъ Максима, понялъ выраженіе ужаса на лицѣ прибѣжавшаго слѣдователя.

Выпустилъ онъ изъ рукъ своего врага, когда у него насильно ужъ разжали пальцы и доказали ему, что волкъ убить. Отуманенный сильными ощущеніями, чувствуя ужъ кровь на бедрахъ и въ правомъ сапогѣ, близкій къ обмороку, вернулся онъ на мельницу. Огонь, видъ самовара и бутылокъ привели его въ чувство и напомнили ему всё только-что пережитые имъ ужасы и опасность, которая для него только-что еще начиналась. Блѣдный, съ широкими зрачками и съ мокрой головой, онъ сѣлъ на мѣшки и въ изнеможеніи опустилъ руки. Слѣдователь и Максимъ раздѣли его и занялись раной. Рана оказалась солидной. Волкъ порвалъ кожу на семь плечѣ и тронулъ даже мускулы.

— Отчего вы не бросили его въ рѣку? — возмущался блѣдный слѣдователь, останавливая кровотеченіе. — Отчего въ рѣку вы его не бросили?

— Не догадался! Боже мой, не догадался!

Слѣдователь началъ-было утѣшать и обнадеживать, но послѣ тѣхъ густыхъ красокъ, на которыя онъ былъ такъ щедръ, когда раньше описывалъ водобоязнь, всякія утѣшительныя рѣчи были бы неумѣстны, а потому онъ почелъ за лучшее молчать. Перевязавши кое-какъ рану, онъ послалъ Максима въ усадьбу за лошадьми, но Нилъ не сталъ дожидаться экипажа и пошелъ домой пѣшкомъ.

Утромъ часовъ въ шесть онъ, блѣдный, непричесанный, лохудѣвшій отъ боли и безсонной ночи, пріѣхалъ на мельницу.

— Дѣдь, — обратился онъ къ Максиму: — вези меня къ Миرونу! Скорѣй! Идемъ, садись въ коляску!

Максимъ, тоже блѣдный и не спавшій всю ночь, сконфузился, нѣсколько разъ оглянулся и сказалъ шопотомъ:

— Не надо, баринъ, къ Миرونу ѣхать... И я, извините, лѣчить умѣю.

— Хорошо, только скорѣе, пожалуйста!

И Ниловъ нетерпѣливо затопалъ ногами. Старикъ поставилъ его лицомъ къ востоку, прошепталъ что-то и далъ ему хлебнуть изъ кружки какой-то противной, теплой жидкости съ полыннымъ вкусомъ.

— А Степка умеръ... — пробормоталъ Ниловъ. — Допустимъ, что у народа есть средства, но... но почему же Степка умеръ? Ты все-таки свези меня къ Миرونу!

Отъ Мирона, которому онъ не вѣрилъ, онъ поѣхалъ въ больницу къ Овчинникову. Получивъ здѣсь пилюли изъ беладонны и совѣтъ лечь въ постель, онъ перемѣнилъ лошадей и, не обращая вниманія на страшную боль въ рукѣ, поѣхалъ въ городъ, къ городскимъ докторамъ.

Дня черезъ четыре, поздно вечеромъ онъ вѣжалъ къ Овчинникову и повалился на диванъ.

— Докторъ! — началъ онъ, задыхаясь и вытирая рукавомъ потъ съ блѣднаго, похудѣвшаго лица. — Григорій Иванычъ! Дѣлайте со мной, что хотите, но дальше оставаться я такъ не могу! Или лѣчите меня, или отравите, а такъ не оставляйте! Бога ради! Я сошелъ съ ума!

— Вамъ нужно лечь въ постель, — сказала Овчинниковъ.

— Ахъ, подите вы съ вашимъ лежаньемъ! Я васъ спрашиваю толкомъ, русскимъ языкомъ: что мнѣ дѣлать? Вы врачъ и должны мнѣ помочь! Я страдаю! Каждую минуту мнѣ кажется, что я пачинаю бѣситься. Я не сплю, не ѣмъ, дѣло валится у меня изъ рукъ! У меня вотъ револьверъ въ карманѣ. Я каждую минуту его вынимаю, чтобы пустить себѣ пулю въ лобъ! Григорій Иванычъ, ну, да займитесь же мною Бога ради! Что мнѣ дѣлать? Вотъ что, не поѣхать ли мнѣ къ профессорамъ?

— Это все равно. Поѣзжайте, если хотите.

— Послушайте, а если я, положимъ, объявлю конкурсъ, что если кто вылѣчитъ, то получить пятьдесятъ тысячъ? Какъ вы думаете, а? Впрочемъ, пока напечатаешь, пока... то успеешь разъ десять взбѣситься. Я готовъ теперь все состояніе отдать! Вылѣчите меня, и я дамъ вамъ пятьдесятъ тысячъ! Займитесь же ради Бога! Не понимаю этого возмутительнаго равнодушія! Поймите, что я теперь каждой мухѣ завидую... я несчастливъ! Семья моя несчастна!

У Нилова затряслись плечи, и онъ заплакалъ.

— Послушайте, — началъ утѣшать его Овчинниковъ. — Я отчасти не понимаю этого вашего возбужденнаго состоянія. Чтѣ вы плачете? И зачѣмъ такъ преувеличивать опасность? Поймите, вѣдь у васъ гораздо больше шансовъ не заболѣть, чѣмъ заболѣть. Во-первыхъ, изъ ста укушенныхъ заболѣваетъ только тридцать. Потомъ — что очень важно — волкъ кусалъ васъ черезъ одежду, значитъ, ядъ остался на одеждѣ. Если же въ рану и попалъ ядъ, то онъ долженъ былъ вытечь съ кровью, такъ какъ у васъ было сильное кровотеченіе. Относительно водобоязни я совершенно покоенъ, а если меня и беспокоитъ что-нибудь, такъ это только рана. При вашей небрежности легко можетъ приключиться рожа или что-нибудь въ родѣ.

— Вы думаете? Утѣшаете вы или серьезно?

— Честное слово, серьезно. Возьмите-ка, почитайте!

Овчинниковъ взялъ съ полки книгу и, пропуская страшныя мѣста, сталъ читать Нилову главу о водобоязни.

— Стало-быть, вы напрасно беспокоитесь, — сказалъ онъ, кончивъ чтеніе. — Ко всему этому прибавьте еще, что намъ съ вами неизвѣстно, былъ ли то бѣшенный волкъ или здоровый.

— М-да... — согласился Ниловъ, улыбаясь. — Теперь понятно, конечно. Стало-быть, все это чепуха!

— Разумѣется, чепуха.

— Ну, спасибо, родной... — засмѣялся Ниловъ, весело потирая руки. — Теперь, умница вы этакій, я покоенъ... Я доволенъ и даже счастливъ, ей-Богу... Нѣтъ, честное слово... даже.

Ниловъ обнялъ Овчинникова и поцѣловалъ его три раза. Потомъ на него напалъ мальчишескій задоръ, къ которому такъ склонны добродушные, физически сильные люди. Онъ схватилъ со стола подкову и хотѣлъ ее разогнуть, но, обезсилѣвъ отъ радости и отъ боли въ плечѣ, онъ ничего не могъ сдѣлать; ограничился только тѣмъ, что обнялъ доктора лѣвою рукой ниже талии, поднялъ его и пронесъ на плечѣ изъ кабинета въ столовую. Вышелъ онъ отъ Овчинникова веселый, радостный, и казалось даже, что съ нимъ вмѣстѣ радовались и слезянки, блестяшія на его широкой, черной бородѣ. Спускаясь внизъ по ступенямъ, онъ засмѣялся басомъ и потрясъ перило крыльца съ такой силой, что одна балясина вы-

скочила, все крыльцо затрепетало подъ ногами Овчинникова.

«Какой богатырь! — думалъ Овчинниковъ, съ умиленіемъ глядя на его большую спину. — Какой молодецъ!»

Сѣвши въ коляску, Нилонъ опять сталъ съ самаго начала и съ большими подробностями разсказывать о томъ, какъ онъ на плотниѣ боролся съ волкомъ.

— Была игра! — кончилъ онъ, весело смѣясь. — Будетъ о чемъ вспомнить въ старости. Погоняй, Тринка! 1886.

ПО СИБИРИ.

I.

— Отчего у васъ въ Сибири такъ холодно?

— Богу такъ угодно!—отвѣчаетъ возница.

Да, уже май, въ Россіи зеленѣютъ лѣса и заливаются соловьи, на югѣ давно уже цвѣтутъ акаціи и сирень, а здѣсь, по дорогѣ отъ Тюмени до Томска, земля бурая, лѣса голые, на озерахъ матовый ледъ, на берегахъ и въ оврагахъ лежитъ еще снѣгъ...

Зато никогда въ жизни не видалъ я такого множества дичи. Я вижу, какъ дикія утки ходятъ по полю, какъ плаваютъ онѣ въ лужахъ и придорожныхъ канавахъ, какъ вспархиваютъ почти у самаго возка и лѣниво летятъ въ березнякъ. Среди тишины вдругъ раздается знакомый мелодическій звукъ, глядишь вверхъ и видишь невысоко надъ головой пару журавлей, и почему-то становится грустно. Вотъ пролетѣли дикіе гуси, пронеслась вереница бѣлыхъ, какъ снѣгъ, красивыхъ лебедей... Стонутъ всюду кулики, плачутъ чайки...

Обгоняемъ двѣ кибитки и толпу мужиковъ и бабъ. Это переселенцы.

— Изъ какой губерніи?

— Изъ Курской.

Позади всѣхъ плетется мужикъ, непохожій на другихъ. У него бритый подбородокъ, сѣдые усы и какой-то непонятный клананъ позади на сермягѣ; подъ мышками двѣ скрипки, завернутыя въ платки. Не нужно спрашивать, кто онъ и откуда у него скрипки. Непутевый, нестепенный, хворый, чувствительный къ холоду, равнодушный

къ водочкѣ, робкій, всю свою жизнь прожилъ онъ лишнимъ, ненужнымъ человѣкомъ сначала у отца, потомъ у брата. Его не отдѣляли, не женили... Нестоящій человѣкъ! На работѣ онъ зябнулъ, хмельѣлъ отъ двухъ рюмокъ, болталъ зря и умѣлъ играть только на скрипкѣ да возиться съ ребятами на печкѣ. Игралъ онъ и въ кабакѣ, и на свадьбахъ, и въ полѣ, и, ахъ, какъ игралъ! Но вотъ братъ продалъ избу, скотъ и все хозяйство и идетъ съ семьей въ далекую Сибирь. И бобыль тоже. Идетъ—дѣваться некуда. Беретъ онъ съ собой и обѣ скрипки... А когда придетъ на мѣсто, станетъ онъ зябнуть отъ сибирскаго холода, зачахнетъ и умретъ тихо, молча, такъ, что никто не замѣтитъ, а его скрипки, заставлявшія когда-то родную деревню и веселиться и грустить, пойдутъ за двугривенный чужаку-писарю или ссыльному; ребята чужака оборвутъ струны, сломаютъ кобылки, нальютъ внутрь воды... Вернись, дядя!

Переселенцевъ я видѣлъ еще, когда плылъ на пароходѣ по Камѣ. Помнится мнѣ мужикъ лѣтъ сорока съ русой бородой; онъ сидитъ на скамьѣ на пароходѣ; у ногъ его мѣшки съ домашнимъ скарбомъ, на мѣшкахъ лежатъ дѣти въ лапоткахъ и жмутся отъ холоднаго, рѣзкаго вѣтра, дующаго съ пустыннаго берега Камы. Лицо его выражаетъ: «Я уже смирился». Въ глазахъ иронія, но эта иронія устремлена во внутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая такъ жестоко обманула.

— Хуже не будетъ!—говоритъ онъ и улыбается одной только верхней губой.

Въ отвѣтъ ему молчишь и ни о чемъ не спрашиваешь, но черезъ минуту онъ повторяетъ:

— Хуже не будетъ!

— Будетъ хуже!—говоритъ съ другой скамьи какой-то рыжій мужичонко-переселенецъ съ острымъ взглядомъ. — Будетъ хуже!

Эти, что плетутся теперь по дорогѣ, около своихъ кибитокъ, молчатъ. Лица серьезные, сосредоточенныя... Я гляжу на нихъ и думаю: «порвать навсегда съ жизнью, которая кажется ненормальною, пожертвовать для этого роднымъ краемъ и роднымъ гнѣздомъ можетъ только необыкновенный человѣкъ, герой...»

Затѣмъ, немного погодя, мы обгоняемъ этапъ. Звенья кандалами, идутъ по дорогѣ 30—40 арестантовъ, по сторонамъ ихъ солдаты съ ружьями, а позади—двѣ поводы.

Одинъ арестантъ похожъ на армянскаго священника, друго-го, высокаго, съ орлинымъ носомъ и съ большимъ лбомъ, я какъ будто видѣлъ гдѣ-то въ аптекѣ за прилавкомъ, у третьяго — блѣдное, истощенное и серьезное лицо, какъ у монаха-постника. Не успѣваешь оглядѣть всѣхъ. Арестанты и солдаты выбились изъ силъ: дорога плоха, нѣтъ мочи идти... До деревни, гдѣ они будутъ ночевать, осталось еще десять верстъ. А когда придутъ въ деревню, наскоро закусятъ, напьются кирпичнаго чаю и тотчасъ же завалятся спать, и тотчасъ же ихъ облѣпять клопы—злѣйшій, непобѣдимый врагъ тѣхъ, кто изнемогъ и кому страстно хочется спать.

Вечеромъ земля начинаетъ промерзать, и грязь обращается въ кочки. Возокъ прыгаетъ, грохочетъ и визжитъ на разные голоса. Холодно! Ни жилья ни встрѣчныхъ... Ничто не шевелится въ темномъ воздухѣ, не издаетъ ни звука, и только слышно, какъ стучитъ возокъ о мерзлую землю, да когда закуриваешь папиросу, около дороги вспархиваютъ разбуженные огнемъ двѣ-три утки...

Подъѣзжаемъ къ рѣкѣ. Надо переправляться на ту сторону на паромѣ. На берегу ни души.

— Уплыли на ту, язви ихъ душу!—говоритъ возница.— Давай, ваше благородіе, ревьтъ.

Кричать отъ боли, плакать, звать на помощь, вообще звать—здѣсь значитъ ревьтъ, и потому въ Сибири ревутъ не только медвѣди, но и воробьи и мыши. «Попалась и реветъ»,—говорятъ про мышъ.

Начинаемъ ревьтъ. Рѣка широкая, въ потемкахъ не видно того берега... Отъ рѣчной сырости стынуть ноги, потомъ все тѣло... Ревемъ мы полчаса, часъ, а парома все нѣтъ. Надоѣдаютъ скоро и вода, и звѣзды, которыми усыпано небо, и эта темная, гробовая тишина. Отъ скуки разговариваю я съ дѣдомъ и узнаю отъ него, что женился онъ 16 лѣтъ, что у него было 10 дѣтей, изъ которыхъ умерло только трое, что у него живы еще отецъ и мать; отецъ и мать—«киржаки», т. е. раскольники, не курятъ и за всю свою жизнь не видали ни одного города, кромѣ Ишима, а онъ, дѣдъ, какъ молодой человекъ, позволяетъ себѣ побаловаться—курить. Узнаю отъ него, что въ этой темной, суровой рѣкѣ водятся стерляди, нельмы, налимы, щуки, но что ловить ихъ некому и нечѣмъ.

Но вотъ наконецъ слышится мѣрный плескъ, и на рѣкѣ показывается что-то неуклюжее, темное. Это паромъ. Онъ

имѣть видъ небольшой баржи; на немъ человекъ пять гребцовъ, и ихъ два длинные весла съ широкими лопастями похожи на рачы клешни.

Приставъ къ берегу, гребцы первымъ дѣломъ начинаютъ браниться. Бранятся они со злобой, безъ всякой причины, очевидно, съ просонокъ. Слушая ихъ отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у нихъ самихъ, но и у воды, у парома и у весель есть матери. Самая мягкая и безобидная брань у гребцовъ, это: «чтобъ тебя уязвило», или «язвина тебѣ въ ротъ». Какая здѣсь желается язва, я не понялъ, хотя и спрашивалъ. Я въ полушубкѣ, большихъ сапогахъ и въ шалкѣ; въ потемкахъ не видно, что я «ваше благородіе», и одинъ изъ гребцовъ кричитъ мнѣ хриплымъ голосомъ:

— Эй, ты, язва, что стоишь, ротъ разинулъ? Отпрягай пристяжную!

Въѣзжаемъ на паромъ. Перевозчики, бранясь, берутся за весла. Это не мѣстные крестьяне, а ссыльные, присланные сюда по приговорамъ обществъ за порочную жизнь. Въ деревнѣ, гдѣ они приписаны, имъ не живется—скучно, пахать землю не умѣютъ или отвыкли, да и не мила чужая земля, и пошли они сюда, на перевозъ. Лица у нихъ испытаны, истасканные, битые. А какія выраженія на лицахъ! Видно, что эти люди, пока плыли сюда на арестантскихъ баржахъ, скованные попарно наручниками, и пока шли этапомъ по тракту, ночуя въ избахъ, гдѣ ихъ тѣло невыносимо жгли клопы, одеревянѣли до мозга костей; а теперь, болтаясь день и ночь въ холодной водѣ и не видя ничего, кромѣ голыхъ береговъ, навсегда утратили все тепло, какое имѣли, и осталось у нихъ въ жизни только одно: водка, дѣвка, дѣвка, водка... На этомъ свѣтѣ они уже не люди, а звѣри, а по мнѣнію дѣда, моего возницы, и на томъ свѣтѣ имъ будетъ худо: пойдутъ за грѣхи въ адъ.

II.

Изъ большого села Абатскаго (375 верстъ отъ Тюмени), въ ночь подъ 6-е мая, везетъ меня старикъ, лѣтъ 60; незадолго передъ тѣмъ, какъ запрягать, онъ парился въ банѣ и ставилъ себѣ кровососныя банки. Для чего банки? Говорить, что поясница болитъ. Онъ боекъ не по лѣтамъ, подвиженъ, словоохотливъ, но ходитъ пехорошо: кажется, у него спинная сухотка.

Я сижу въ высокомъ, некрытомъ тарантасикѣ, везеть пара. Старикъ помахиваетъ кнутомъ и покрикиваетъ, но ужъ не кричитъ попрежнему, а только кряхтитъ или стонетъ, какъ египетскій голубь.

По сторонамъ дороги и вдали на горизонтѣ змѣобразные огни: это горитъ прошлогодняя трава, которую здѣсь нарочно поджигаютъ. Она сыра и туго поддается огню, и потому огненные змѣи ползутъ медленно, то разрываясь на части, то потухая, то опять вспыхивая. Огни искрятся, и надъ каждымъ изъ нихъ бѣлое облако дыма. Красиво, когда огонь вдругъ охватитъ высокую траву: огненный столбъ вышиною въ сажень поднимается надъ землею, броситъ отъ себя къ небу большой клубъ дыма и тотчасъ же падаетъ, точно проваливается сквозь землю. Еще красивѣе, когда змѣйки ползаютъ въ березнякѣ; весь лѣсъ освѣщенъ насквозь, бѣлые стволы отчетливо видны, тѣни отъ березокъ переливаются со свѣтовыми пятнами. Немножко жутко отъ такой иллюминаціи.

Навстрѣчу, во весь духъ, гремя по кочкамъ, несется почтовая тройка. Старикъ спѣшитъ свернуть вправо, и тотчасъ же мимо насъ пролетаетъ громадная, тяжелая почтовая телѣга, въ которой сидитъ обратный ящикъ. Но вотъ слышится новый громъ: несется навстрѣчу другая тройка и тоже во весь духъ. Мы торопимся свернуть вправо, но, къ великому моему недоумѣнію и страху, тройка сворачиваетъ почему-то не вправо, а влѣво и прямо летитъ на насъ. А что, если столкнемся? Едва я успѣваю задать себѣ этотъ вопросъ, какъ раздается трескъ, наша пара и почтовая тройка мѣшаются въ одну темную массу, тарантасъ становится на дыбы, и я падаю на землю, а на меня всѣ мои чемоданы и узлы... Нока я, ошеломленный, лежу на землѣ, мнѣ слышно, что несется третья тройка. «Ну,—думаю:—эта, навѣрное, убьетъ меня». Но, слава Богу, я ничего не сломалъ себѣ, ушибся не больно и могу встать съ земли. Вскакиваю, отбѣгаю въ сторону и кричу не своимъ голосомъ:

— Стой, стой!

Со дна пустой почтовой телѣги поднимается фигура, берется за вожжи, и третья тройка останавливается почти у самыхъ моихъ вещей.

Минуты двѣ проходятъ въ молчаніи. Какое-то тупое недоумѣніе, точно всѣ мы никакъ не можемъ понять того, что произошло. Оглобли сломаны, сбури порваны, дуги

съ колокольчиками валяются на землѣ, лошади тяжело дышуть; онѣ тоже ошеломлены и, кажется, больно ушиблены. Старикъ, крихтя и охая, поднимается съ земли; первыя двѣ тройки возвращаются, подѣзжаетъ еще четвертая тройка, потомъ пятая...

Затѣмъ начинается неистовая ругань.

— Чтобъ тебя уязвило!—кричитъ ямщикъ, столкнувшійся съ нами.—Язвина тебѣ въ ротъ! Гдѣ у тебя глаза были, старая собака?

— А кто виноватъ?—кричитъ плачущимъ голосомъ старикъ.—Ты виноватъ, да ты же и ругаешься?

Какъ можно понять изъ ругани, причину столкновения было слѣдующее. Ъхало въ Абатское пять обратныхъ троекъ, возившихъ почту; по закону, обратные ямщики должны ѣхать шагомъ, но передній ямщикъ, соскучившись и желая скорѣе попасть въ тепло, погналъ лошадей во весь духъ, въ заднихъ же четырехъ телѣгахъ ямщики спали, и некому было править тройками; за первую во весь духъ побѣжали и остальные четыре. Если бы я спалъ въ тарантасѣ, или если бы третья тройка бѣжала тотчасъ же за второй, то, конечно, дѣло не обошлось бы для меня такъ благополучно.

Ямщики ругаются во все горло, такъ что ихъ, должно быть, за десять верстъ слышно. Ругаются нестерпимо. Сколько остроумія, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкія слова и фразы, имѣющія цѣлью оскорбить и осквернить человѣка во всемъ, что ему свято, дорого и любо! Такъ умѣютъ браниться только сибирскіе ямщики и перевозчики, а научились они этому, говорятъ, у арестантовъ. Изъ ямщиковъ громче и злѣе всѣхъ бранится виноватый.

— Ты не бранись, дуракъ!—защищается старикъ.

— А что?—спрашиваетъ виноватый ямщикъ, мальчишка лѣтъ 19, съ угрожающимъ видомъ подходитъ къ старику и становится лицомъ къ лицу.—А что?

— Ты не очень!

— А что? Отвѣчай: что же будетъ? Возму обломокъ оглобли, да обломкомъ тебя, язвина!

По тону судя, быть дракѣ. Ночью, передъ разсвѣтомъ, среди этой дикой, ругающей орды, въ виду близкихъ и далекихъ огней, пожирающихъ траву, но ни на каплю не согрѣвающихъ холоднаго ночного воздуха, около этихъ безпокойныхъ, норовистыхъ лошадей, которыя столпились

въ кучу и ржутъ, я чувствую такое одиночество, какое трудно описать.

Старикъ, ворча и высоко поднимая ноги,—это онъ отъ болѣзни,—ходитъ вокругъ тарантаса и лошадей и отъзываетъ, гдѣ только можно, веревочки и ремешки, чтобы связать ими сломанную оглоблю, потомъ онъ, зажигая спичку за спичкой, ползаетъ на брюхѣ по дорогѣ и ищетъ постромку. Идутъ въ дѣло и мои багажные ремни. Ужъ занялась заря на востокѣ, ужъ давно кричатъ проснушіеся дикіе гуси, наконецъ ужъ уѣхали ямщики, а мы все еще стоимъ на дорогѣ и починаемся. Пробовали-было ѣхать дальше, но связанная оглобля—трахъ!.. И пужно опять стоять... Холодно!

Кое-какъ шагомъ доплетаемся до деревни. Останавливаемся около двухъэтажной избы.

— Илья Иванычъ, кони дома?—кричитъ старикъ.

— Дома!—отвѣчаетъ кто-то глухо за окномъ.

Въ избѣ встрѣчаетъ меня высокій человѣкъ въ красной рубахѣ и босою, сонный и чему-то съ просонокъ улыбающійся.

— Клопы одолѣли, пріятель!—говоритъ онъ, почесываясь и улыбаясь еще шире.—Нарочно горницу не топимъ. Когда холодно, они не ходятъ.

Здѣсь клопы и тараканы не ползаютъ, а ходятъ; путешественники не ѣдутъ, а бѣгутъ. Спрашиваютъ: «куда, ваше благородіе, бѣжишь?» Это значить: «Куда ѣдешь?»

Пока на дворѣ подмазываютъ возокъ и позвякиваютъ колокольчиками, пока одѣвается Илья Иванычъ, который сейчасъ повезетъ меня, я отыскиваю въ углу удобное мѣстечко, склоняю голову на мѣшокъ съ чѣмъ-то, кажется, съ зерномъ, и тотчасъ же мною овладѣваетъ крѣпкій сонъ; ужъ снятся мнѣ моя постель, моя комната, снится, что я сижу у себя дома за столомъ и рассказываю своимъ, какъ моя пара столкнулась съ почтовой тройкой; но проходятъ двѣ-три минуты, и я слышу, какъ Илья Иванычъ дергаетъ меня за рукавъ и говоритъ:

— Вставай, пріятель, лошади готовы.

Какое издѣвательство надъ лѣнью, надъ отвращеніемъ къ холоду, который змѣйкой пробѣгаетъ по спинѣ и вдоль и поперекъ! Опять ѣду... Уже свѣтло, и золотится передъ восходомъ небо. Дорога, трава въ полѣ и жалкія, молодая березки покрыты изморозью, точно засахарились. Гдѣ-то токують тетерева...

III.

По сибирскому тракту, отъ Тюмени до Томска, нѣтъ ни поселковъ ни хуторовъ, а одни только большія села, отстоящія одно отъ другого на 20, 25 и даже на 40 верстѣ. Усадебъ по дорогѣ не встрѣчается, такъ какъ помѣщиковъ здѣсь нѣтъ; не увидите вы ни фабрикъ, ни мельницъ, ни постоянныхъ дворовъ... Единственное, что по пути напоминаетъ о человѣкѣ, это телеграфныя проволоки, завывающія подъ вѣтеръ, да верстовыя столбы.

Въ каждомъ селѣ — церковь, а иногда двѣ; есть и школы, тоже, кажется, во всѣхъ селахъ. Избы деревянные, часто двухъэтажныя, крыши тесовыя. Около каждой избы на заборѣ или на березкѣ стоитъ скворечня и такъ низко, что до нея можно рукой достать. Скворцы здѣсь пользуются общеою любовью, и ихъ даже кошки не трогаютъ. Садовъ нѣтъ.

Часовъ въ пять утра, послѣ морозной ночи и утомительной вѣды, я сижу въ избѣ вольнаго ямщика, въ горницѣ и пью чай. Горница — это свѣтлая, просторная комната, съ обстановкой, о какой нашему курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стѣны бѣлыя, полы непременно деревянные, крашеные или покрытые цвѣтными холщевыми постилками; два стола, диванъ, стулья, шкафъ съ посудой, на окнахъ горшки съ цвѣтами. Въ углу стоитъ кровать, на ней цѣлая гора изъ пуховиковъ и подушекъ въ красныхъ наволочкахъ; чтобы взобраться на эту гору, надо подставлять стулъ, а ляжешь — утонешь. Сибиряки любить мягко спать.

Отъ образа въ углу тянутся по обѣ стороны лубочныя картины; тутъ портретъ государя, непременно въ нѣсколькихъ экземплярахъ, Георгій Побѣдоносецъ, «Европейскіе государи», среди которыхъ очутился почему-то и шахъ персидскій, затѣмъ изображенія святыхъ съ латинскими и нѣмецкими надписями, поясной портретъ Баттенберга, Скобелева, опять святые... На украшеніе стѣнъ идутъ и конфектныя бумажки, и водочныя ярлыки, и этикетки изъподъ папирозъ, и эта бѣдность совсѣмъ не вяжется съ солидной постелью и крашеными полами. Но что дѣлать? Спросъ на художественность большой, но Богъ не дастъ художниковъ. Посмотрите на дверь, на которой нарисовано дерево съ синими и красными цвѣтами и съ какими-то

птицами, похожими больше на рыбъ, чѣмъ на птицъ; дерево это растеть изъ вазы, и по этой вазѣ видно, что рисоваль его европеецъ, т. е. ссыльный; ссыльный же малеваль и кругъ на потолокъ и узоры на печкѣ. Немудрая живопись, но здѣшнему крестьянину и она не подь силу. Девять мѣсяцевъ не снимаетъ онъ рукавиць и не распрямляетъ пальцевъ: то морозъ въ сорокъ градусовъ, то луга на двадцать верстъ затопило, а придетъ короткое лѣто—спина болить отъ работы и тянутся жилы. Когда ужъ тутъ рисовать? Оттого, что круглый годъ ведетъ онъ жестокою борьбу съ природой, онъ не живописецъ, не музыкантъ, не пѣвецъ. По деревнѣ вы рѣдко услышите гармоникку и не ждите, чтобъ ящикъ затянулъ пѣсню.

Дверь отворена, и сквозь сѣни видна другая комната, свѣтлая и съ деревянными полами. Тамъ кипить работа. Хозяйка, женщина лѣтъ 25-ти, высокая, худощавая, съ добрымъ, кроткимъ лицомъ, мѣситъ на столѣ тѣсто; утреннее солнце бьетъ ей въ глаза, въ грудь, въ руки, и, кажется, она замѣшиваетъ тѣсто съ солнечнымъ свѣтомъ; хозяйская сестра-дѣвушка печетъ блины, стряпка обвариваетъ кипяткомъ только-что зарѣзаннаго поросенка, хозяинъ катаетъ изъ шерсти валенки. Ничего не дѣлаютъ только старики. Бабушка сидитъ на печкѣ, свѣсивъ ноги, стонетъ и охаетъ; дѣдушка лежитъ на полатахъ и кашляетъ, но, замѣтивъ меня, сползаетъ внизъ и идетъ черезъ сѣни въ горницу. Ему хочется поговорить... Начинаетъ онъ съ того, что весна теперь холодная, какой давно не было. Помилуйте, завтра Николинъ день, послѣзавтра Вознесенье, а ночью шелъ снѣгъ, и по дорогѣ къ селу замерзла какая-то женщина; скотъ тощаетъ отъ безкормицы, у телятъ отъ морозовъ поносъ... Потомъ онъ спрашиваетъ меня, откуда я, куда я бѣгу и зачѣмъ, женатъ ли я, и правду ли говорятъ бабы, что скоро будетъ война.

Слышится дѣтскій плачь. Теперь только я замѣчаю, что между кроватью и печью виситъ маленькая люлька. Хозяйка бросаетъ тѣсто и бѣжитъ въ горницу.

— Однако какой у насъ случай, купецъ!—говоритъ она мнѣ, качая люльку и кротко улыбаясь.—Мѣсяца два назадъ пріѣхала къ намъ изъ Омска мѣщанка съ ребенкомъ... Барыней одѣта, однако... Ребеночка она родила въ Тюкалинскѣ, тамъ и крестила; послѣ родовъ-то въ дорогѣ разнемоглась и стала жить у насъ вотъ въ

этой горницѣ. Говорить, что замужняя, а кто ее знаетъ? На лицѣ не написано, а паспорта при ней нѣтъ. Можетъ, ребеночекъ незаконный...

— Не наше дѣло судить,—бормочетъ дѣдушка.

— Прожила она у насъ недѣлю,—продолжаетъ хозяйка: — потомъ и говорить: «Я поѣду въ Омскъ къ мужу, а мой Саша пусть у васъ останется; я за нимъ черезъ недѣлю пріѣду. Теперь боюсь, какъ бы не замерзъ дорогой...» Я ей и говорю: — «Послушай, сударыня, Богъ посылаетъ людямъ дѣтей, кому десять, кому и двѣнадцать, а меня съ хозяиномъ наказалъ, ни одного не далъ; оставь намъ своего Сашу, мы его себѣ въ сыночки возьмемъ». Она подумала и говоритъ: «Однако погодите, я мужа своего спрошу и черезъ недѣлю вамъ письмо пришлю. Безъ мужа не смѣю». Оставила намъ Сашу и уѣхала. И вотъ ужъ два мѣсяца прошло, а она ни сама не ѣдетъ ни письма не шлетъ. Наказаніе Господне! Полюбили мы Сашу, какъ родного, а сами теперь не знаемъ, нашъ онъ или чужой.

— Надо вамъ этой мѣщанкѣ письмо написать,—совѣтую я.

— Стало-быть, надо!—говорить изъ сѣней хозяйка.

Онъ входитъ въ горницу и молча смотритъ на меня: не дамъ ли я еще какого-нибудь совѣта?

— Да какъ ты ей напишешь?—говоритъ хозяйка.— Фамиліи своей она намъ не сказывала. Марья Петровна— вотъ и все. А Омскъ, тоже сказать, городъ большой, не найдешь ее тамъ. Ищи вѣтра въ полѣ!

— Стало-быть, не найдешь!—соглашается хозяинъ и смотритъ на меня такъ, какъ будто хочетъ сказать: «помоги же, Бога ради!»

— Привыкли мы къ Сашѣ,—говоритъ хозяйка, давая ребенку соску.— Закричитъ днемъ или ночью, и на сердцѣ шнѣче станеть, словно и изба у насъ другая. А вотъ, неровенъ часъ, вернется та и возьметъ отъ насъ...

Глаза хозяйки краснѣютъ, наливаются слезами, и она быстро выходитъ изъ горницы. Хозяинъ киваетъ ей вслѣдъ, усмѣхается и говоритъ:

— Привыкла... Извѣстно, жалко!

Онъ и самъ привыкъ, ему тоже жалко, но онъ мужчина, и сознаться ему въ этомъ неловко.

Какіе хорошіе люди! Пока я пью чай и слушаю про Сашу, мои вещи лежатъ на дворѣ въ возкѣ. На вопросъ, не украдутъ ли ихъ, мнѣ отвѣчаютъ съ улыбкой:

— Кому же тутъ красть? У насъ и ночью не крадутъ.

И въ самомъ дѣлѣ, по всему тракту не слышно, чтобъ у проѣзжаго что-нибудь украли. Нравы здѣсь въ этомъ отношеніи чудесные, традиции добрыя. Я глубоко убѣжденъ, что если бы я обронилъ въ возкѣ деньги, то нашедшій ихъ вольный ящикъ возвратилъ бы мнѣ ихъ, не взглянувъ даже въ бумажикъ. На почтовыхъ я ѣздилъ мало, и про почтовыхъ ящиковъ могу сказать только одно: въ жалобныхъ книгахъ, которыя я читалъ отъ скуки на станціяхъ, мнѣ попалась на глаза только одна жалоба на покражу: у проѣзжаго пропала мѣшочекъ съ сапогами, но и эта жалоба, что видно изъ резолюціи начальства, оставлена безъ послѣдствій, такъ какъ мѣшочекъ былъ скоро найденъ и возвращенъ проѣзжему. О грабежахъ на дорогѣ здѣсь не принято даже говорить. Не слышно про нихъ. А встрѣчные бродяги, которыми меня такъ пугали, когда я ѣхалъ сюда, здѣсь такъ же страшны для проѣзжаго, какъ зайцы и утки.

Къ чаю мнѣ подають блиновъ изъ пшеничной муки, пироговъ съ творогомъ и яйцами, оладій, сдобныхъ калачей. Блины тонкіе, жирные, а калачи вкусомъ и цвѣтомъ напоминають тѣ желтые, ноздреватые бублики, которые въ Таганрогѣ и въ Ростовѣ-на-Дону хохлы продають на базарахъ. Хлѣбъ вездѣ по сибирскому тракту пекутъ вкуснѣйшій; пекутъ его ежедневно и въ большемъ количествѣ. Пшеничная мука здѣсь дешевая: 30—40 коп. за пудъ.

На одномъ хлѣбѣ сытъ не будешь. Если въ полдень попросишь чего-нибудь варенаго, то вездѣ предлагаютъ одной только «утячьей похлебки» и больше ничего. А эту похлебку ѣсть нельзя: мутная жидкость, въ которой плавають кусочки дикой утки и потроха, несовѣмъ очищенные отъ содержимаго. Невкусно и смотрѣть тошно. Въ каждой избѣ дичина. Въ Сибири никакихъ охотничьихъ законовъ не знаютъ и стрѣляютъ птицъ въ продолженіе всего года. Но едва ли здѣсь скоро истребятъ дичь. На разстояніи 1.500 верстъ отъ Тюмени до Томска дичи много, но не найдется ни одного порядочнаго ружья, и изъ ста охотниковъ только одинъ умѣетъ стрѣлять въ летъ. Обыкновенно охотникъ ползетъ къ уткамъ на животѣ, по кочкамъ и мокрой травѣ, и стрѣляетъ только въ сидящую, при чемъ его поганое ружье разъ нять даетъ осычку, а выстрѣливъ, сильно отдаеть въ плечо и въ щеку; если

удается попасть въ цѣль, то тоже не малое горе: снимай сапоги и шаровары и полѣзай въ холодную воду. Охотничьихъ собакъ здѣсь нѣтъ.

IV.

Подуль холодный, рѣзкій вѣтеръ, начались дожди, которые идутъ день и ночь, не переставая. Въ 18 верстахъ отъ Иртыша мужикъ Ѳедоръ Павловичъ, къ которому привезъ меня вольный ямщикъ, говоритъ, что дальше ѣхать нельзя, такъ какъ отъ дождей по берегу Иртыша затопило луга; вчера изъ Пустынскаго пріѣхалъ Кузьма, такъ онъ едва лошадей не утопилъ; надо ждать.

— А до какихъ поръ ждать?—спрашиваю.

— А кто жъ его знаетъ? Спроси у Бога.

Иду въ избу. Тамъ въ горницѣ сидитъ старикъ въ красной рубахѣ, тяжело дышитъ и кашляетъ. Я даю ему Доверовъ порошокъ—полегчало, но онъ въ медицину не вѣритъ и говоритъ, что ему стало легче оттого, что онъ «отсидѣлся».

Сию и думаю: остаться ночевать? Но вѣдь всю ночь будетъ кашлять этотъ дѣдъ, пожалуй, есть клопы, да и кто поручится, что завтра вода не разольется еще шире? Нѣтъ, ужъ лучше ѣхать!

— Поѣдемъ, Ѳедоръ Павловичъ!—говорю я хозяину.— Не стану я ждать.

— Это какъ вамъ угодно,—кратко соглашается онъ.— Только бы намъ въ водѣ не ночевать.

Ѣдемъ. Дождь не идетъ, а, какъ говорится, лупитъ во всю мочь; тарантасъ же у меня не крытый. Первая верста восемь проѣзжаемъ по грязной дорогѣ, но все-таки рысью.

— Ну, погода!—говоритъ Ѳедоръ Павловичъ.— Признаться, самъ я давно тамъ не былъ, не видѣлъ разлива, да вотъ Кузьма напугалъ. Можетъ, Богъ дастъ, и проѣдемъ.

Но вотъ передъ глазами разстилается широкое озеро. Это затопленные луга. Вѣтеръ гуляетъ по нему, шумитъ и поднимаетъ зыбь. То тамъ, то сямъ видны островки и еще не залитыя полоски земли. Направленіе дороги указываютъ мосты и гати, которыя размокли, раскисли и почти всѣ сдвинуты съ мѣста. Вдали за озеромъ тянется высокій берегъ Иртыша, бурый и угрюмый, а надъ нимъ нависли тяжелыя, сѣрыя облака; кое-гдѣ по берегу бѣлѣетъ снѣгъ.

Начинаемъ ѣхать по озеру. Не глубоко, колеса сидятъ въ водѣ только на четверть аршина. Ёхать, пожалуй, было бы спосно, если бы не мосты. Около каждаго моста пужно вылѣзть изъ тарантаса и становиться въ грязь или въ воду; чтобы въѣхать на мостъ, нужно сначала къ его приподнятому краю подложить доски и бревна, которыя разбросаны тутъ же на мосту. Лошадей на мосту водимъ по одиночкѣ. Ѳедоръ Павловичъ отпрягаетъ пристяжныхъ и даетъ мнѣ держать; я держу ихъ за холодные, грязные поводья, а онѣ, поровистыя, пятятся назадъ, вѣтеръ хочетъ сорвать съ меня одежду, дождь больно бьетъ въ лицо. Не вернуться ли? Но Ѳедоръ Павловичъ молчитъ и, вѣроятно, ждетъ, когда я самъ предложу вернуться; я тоже молчу.

Беремъ приступомъ одинъ мостъ, другой, потомъ третій... Въ одномъ мѣстѣ увязли въ грязь и едва не опрокинулись, въ другомъ заупрямились лошади, а утки и чайки носятся надъ нами и точно смѣются. По лицу Ѳедора Павловича, по неторопливымъ движеніямъ, по его молчанію вижу, что онъ не впервые такъ бьется, что бываетъ и хуже, и что давно-давно уже привыкъ онъ къ невылазной грязи, водѣ, холодному дождю. Недешево достаётся ему жизнь.

Въѣзжаемъ на островокъ. Тутъ избушка безъ крыши; по мокрому павозу ходятъ двѣ мокрыя лошади. На зовъ Ѳедора Павловича изъ избушки выходитъ бородатый мужикъ съ длинной хворостиной и берется показать намъ дорогу. Онъ молча идетъ впередъ, измѣряетъ хворостиной глубину и грунтъ, а мы за нимъ. Выводитъ онъ насъ на длинную, узкую полосу, которую называетъ «хребтомъ»; мы должны ѣхать по этому хребту, а когда онъ кончится, взять влѣво, потомъ вправо и въѣхать на другой хребетъ, который тянется до самаго перевоза.

Темнѣетъ въ воздухѣ; нѣтъ ужъ ни утокъ ни чаекъ. Бородатый мужикъ научилъ насъ, какъ ѣхать, и давно ужъ вернулся. Кончился первый хребетъ, опять положемся въ водѣ, беремъ влѣво, потомъ вправо. Но вотъ наконецъ и второй хребетъ. Онъ тянется по самому краю берега.

Иртышъ широкъ. Если Ермакъ переплывалъ его во время разлива, то онъ утонулъ бы и безъ кольчуги. Тотъ берегъ высокъ, крутъ и совершенно пустыненъ. Видна лощина; въ этой лощинѣ, какъ говорить Ѳедоръ Павло-

вичь, идетъ дорога на гору, въ село Пустынное, куда мнѣ нужно ѣхать. Этотъ же берегъ отлогій, на аршинъ выше уровня; онъ голъ, изгрызенъ и склизокъ на видъ; мутные валы съ бѣлыми гребнями со злобой хлещутъ по нему и тотчасъ же отскакиваютъ назадъ, точно имъ гадко прикасаться къ этому неуклюжему, осклизлому берегу, на которомъ, судя по виду, могутъ жить одинъ только жабы и души большихъ грѣшниковъ. Иртышъ не шумитъ и не реветъ, а похоже на то, какъ будто онъ стучитъ у себя на днѣ по гробамъ. Проклятое впечатлѣніе!

Подъѣзжаемъ къ избѣ, гдѣ живутъ перевозчики. Выходитъ одинъ и говоритъ, что плыть на ту сторону нельзя, мѣшаетъ непогода, что нужно ждать утра.

Остаюсь ночевать. Всю ночь слушаю, какъ храпятъ перевозчики и мой возница, какъ въ окна стучитъ дождь и реветъ вѣтеръ, какъ сердитый Иртышъ стучитъ по гробамъ... Раннимъ утромъ иду къ рѣкѣ; дождь продолжаетъ ити, вѣтеръ же сталъ тише, но все-таки плыть на паромъ нельзя. Меня переправляютъ на лодкѣ.

Перевозъ здѣсь держитъ артель изъ хозяевъ-крестьянъ; среди перевозчиковъ нѣтъ ни одного ссыльнаго, а все свои. Народъ добрый, ласковый. Когда я, переплывъ рѣку, взбираюсь на скользкую гору, чтобы выбраться на дорогу, гдѣ ждетъ меня лошадь, вслѣдъ мнѣ желаютъ и счастливаго пути, и добраго здоровья, и успѣха въ дѣлахъ... А Иртышъ сердится...

V.

Наказаніе съ этимъ разливомъ! Въ Колывани мнѣ не даютъ почтовыхъ лошадей; говорятъ, что на берегу Оби затопило луга, нельзя ѣхать. Задержали даже почту и ждутъ насчетъ ея особаго распоряженія.

Станціонный писарь совѣтуетъ мнѣ ѣхать на вольныхъ въ какой-то Вьюнъ, а оттуда въ Красный-Яръ; изъ Краснаго-Яра меня повезутъ верстъ 12 на лодкѣ въ Дубровино, и тамъ уже мнѣ дадутъ почтовыхъ лошадей. Такъ и дѣлаю: ѣду во Вьюнъ, потомъ въ Красный-Яръ... Приводятъ меня къ мужику Андрею, у котораго есть лодка.

— Есть лодка, есть!—говоритъ Андрей, мужикъ лѣтъ 50, худощавый, съ русой бородкой.—Есть лодка! Рано утромъ она повезла въ Дубровино засѣдателя писаря и скоро будетъ назадъ. Вы подождите и пока чайку покушайте.

Пью чай, потомъ взбираюсь на гору изъ пуховиковъ и подушекъ... Просыпаюсь, спрашиваю про лодку—не вернулась еще. Въ горницѣ, чтобъ не было холодно, бабы затопили печь и кетати, заодно, пекутъ хлѣбъ. Горница нагрѣлась и хлѣбъ ужъ испекся, а лодки все еще нѣтъ.

— Парня ненадежнаго послали! — вздыхаетъ хозяинъ, покачивая головой.—Неповоротливый, какъ баба, должно, вѣтра испугался и не ѣдетъ. Ишь вѣдь какой вѣтеръ! Ты бы, баринъ, еще чайку покушалъ, что ли? Небось, тоскливо тебѣ?

Дурачокъ, въ изодранной сермягѣ и босой, вымокшій на дождѣ, таскаетъ въ сѣни дрова и ведра съ водой. Онъ то и дѣло заглядываетъ ко мнѣ въ горницу; покажетъ свою лохматую, нечесаную голову, быстро проговорить что-то, промычить, какъ теленокъ,—и назадъ. Кажется, что, глядя на его мокрое лицо и немигающіе глаза и слушающая его голосъ, скоро самъ начнешь бредить.

Послѣ полудня къ хозяину пріѣзжаетъ очень высокій и очень толстый мужикъ, съ широкимъ, бычьимъ затылкомъ и съ громадными кулаками, похожій на русскаго ожирѣвшаго дѣловальника. Зовутъ его Петромъ Петровичемъ. Живетъ онъ въ сосѣднемъ селѣ и держитъ тамъ съ братомъ пятьдесятъ лошадей, возитъ вольныхъ, поставляетъ на почтовую станцію тройки, землю пашетъ, скотомъ торгуетъ, а теперь ѣдетъ въ Колывань по какому-то торговому дѣлу.

— Вы изъ Россіи?—спрашиваетъ онъ меня.

— Изъ Россіи.

— Ни разу не былъ. У насъ тутъ, кто въ Томскѣ съѣздилъ, тотъ ужъ и носъ деретъ, словно весь свѣтъ объѣздилъ. А вотъ скоро, пишутъ въ газетахъ, къ намъ желѣзную дорогу проведутъ. Скажите, господинъ, какъ же это такъ? Машина паромъ дѣйствуетъ—это я хорошо понимаю. Ну, а если, положимъ, ей надо черезъ деревню проходить, вѣдь она избы сломаетъ и людей подавитъ!

Я ему объясняю, а онъ внимательно слушаетъ и говоритъ: «Ишь ты!». Изъ разговора узнаю, что этотъ жирный человекъ былъ и въ Томскѣ, и въ Иркутскѣ, и въ Ирбитѣ, что онъ, будучи неженатымъ, выучился самоучкой читать и писать. На хозяина, который бывалъ только въ Томскѣ, онъ смотритъ снисходительно, слушаетъ его неохотно. Когда ему что-нибудь предлагаютъ или подають, онъ вѣжливо говоритъ: «не беспокойтесь».

Хозяинъ и гость садятся пить чай. Молодая бабенка, жена хозяйскаго сына, подаетъ имъ чай на подносѣ и низко кланяется, они берутъ чашки и молча пьютъ. Въ сторонѣ, около печки, кипитъ самоваръ. Я опять лѣзу на гору изъ пуховиковъ и подушекъ, лежу и читаю, потомъ спускаюсь внизъ и пишу; проходитъ много времени, очень много, а бабенка все еще кланяется и хозяинъ съ гостемъ все еще пьютъ чай.

— Бе-ба!—кричитъ въ сѣняхъ дурачокъ.—Ме-ма!

А лодки нѣтъ. На дворѣ темнѣетъ, и въ горницѣ зажигаютъ сальную свѣчу. Петръ Петровичъ долго разспрашиваетъ меня о томъ, куда и зачѣмъ я ѣду, будетъ ли война, сколько стоить мой револьверъ, но ужъ и ему надоѣло говорить; сидитъ онъ молча за столомъ, подперъ щеки кулаками и задумался. На свѣчкѣ нагорѣлъ фитиль. Отворяется безшумно дверь, входитъ дурачокъ и садится на сундукъ; онъ оголилъ себѣ руки до плечъ, а руки у него худыя, тонкія, какъ палочки. Сѣлъ и устался на свѣчку.

— Ступай отсюда, ступай!—говоритъ хозяинъ.

— Ме-ма!—мычитъ онъ и, согнувшись, выходитъ въ сѣни. — Бе-ба!

Дождь стучитъ въ окна. Хозяинъ и гость садятся ѣсть утятью похлебку; ѣсть имъ обоимъ не хочется, и ѣдятъ они только такъ, отъ скуки... Потомъ бабенка постилаетъ на полу пуховики и подушки; хозяинъ и гость раздѣваются и ложатся рядомъ.

Какая скука! Чтобы развлечь себя, переносуюсь мыслями въ родные края, гдѣ уже весна и холодный дождь не стучитъ въ окна, но, какъ нарочно, мнѣ вспоминается жизнь вялая, сѣрая, бесполезная; кажется, что и тамъ нагорѣлъ фитиль, что и тамъ кричать: «ме-ма! бе-ба!..» Нѣтъ охоты возвращаться назадъ.

Постилаю себѣ полушубокъ на полу, ложусь и ставлю у изголовья свѣчу. Петръ Петровичъ приподнимаетъ голову и смотритъ на меня.

— Я вотъ что хочу вамъ объяснить...—говоритъ онъ вполголоса, чтобы хозяинъ не услышалъ.—Народъ здѣсь, въ Сибири темный, безталанный. Изъ Россіи везутъ ему сюда и полушубки, и ситецъ, и посуду, и гвозди, а самъ онъ ничего не умѣетъ. Только землю пашетъ да вольныхъ возитъ, а больше ничего... Даже рыбы ловить не умѣетъ. Скучный народъ, не дай Богъ, какой скучный!

Живешь съ ними и только жирѣешь безъ мѣры, а чтобъ для души и для ума—ничего какъ есть! Жалко смотрѣть, господинъ! Человѣкъ-то вѣдь здѣсь стоящій, сердце у него мягкое, онъ и не украдетъ, и не обидитъ, и не очень, чтобъ пьяница. Золото, а не человѣкъ, но, гляди, пропадаетъ ни за грошъ, безъ всякой пользы, какъ муха, или, скажемъ, комаръ. Спросите его: для чего онъ живетъ?

— Человѣкъ работаетъ, сытъ, одѣтъ,—говорю я.—Что же еще ему нужно?

— Все-таки онъ долженъ понимать, для какой надобности онъ живетъ. Въ Россіи небось понимаютъ!

— Нѣтъ, не понимаютъ.

— Это никакъ невозможно,—говоритъ Петръ Петровичъ, подумавъ.—Человѣкъ не лошадь. Примѣрно, у насъ по всей Сибири нѣтъ правды. Ежели и была какая, то ужъ давно замерзла. Вотъ и долженъ человѣкъ эту правду искать. Я мужикъ богатый, сильный, у застѣдателя руку имѣю и могу вотъ этого самаго хозяина завтра же обидѣть: онъ у меня въ тюрьмѣ сгнѣтъ, и дѣти его по міру пойдутъ. И нѣтъ на меня никакой управы, а ему защиты, потому—безъ правды живемъ... Значитъ, въ метрикѣ только записано, что мы люди, Петры да Андреи, а на дѣлѣ выходимъ—волки. Или вотъ въ разсужденіи Бога... Дѣло не шуточное, страшное, а хозяинъ ложился и только три раза лобъ перекрестилъ, какъ будто это и все; наживаетъ и прячетъ деньги, небось, гляди, ужъ сотъ восемь скопиль, все новыхъ лошадей прикупаешь, а спросилъ бы себя, для чего это? Вѣдь на тотъ свѣтъ не возьмешь! Онъ и спросилъ бы, да не понимаетъ: ума мало.

Долго говоритъ Петръ Петровичъ... Но вотъ онъ кончилъ; вотъ ужъ и свѣтаетъ, и поютъ пѣтухи.

— Ме-ма!—мычитъ дурачокъ.—Бе-ба!

А лодки все еще нѣтъ!

VI.

Въ Дубровинѣ мнѣ даютъ лошадей, и я ѣду дальше. Но въ 45 верстахъ отъ Томска мнѣ опять говорятъ, что ѣхать нельзя, что рѣка Томъ затопила луга и дороги. Опять надо плыть на лодкѣ. И тутъ та же исторія, что въ Красномъ-Яру: лодка ушла на ту сторону, но не можетъ вернуться, такъ какъ дуетъ сильный вѣтеръ и по рѣкѣ ходятъ высокіе валы... Будемъ ждать!

Утромъ идетъ снѣгъ и покрываетъ землю на полтора

вершка (это 14-го мая), въ полдень идетъ дождь и смываетъ весь снѣгъ, а вечеромъ, во время захода солнца, когда я стою на берегу и смотрю, какъ борется съ теченіемъ подплывающая къ намъ лодка, идутъ и дождь и крупа... И въ это же время происходитъ явленіе, которое совѣмъ не вяжется со снѣгомъ и холодомъ: я ясно слышу раскаты грома. Ямщики крестятся и говорятъ, что это къ теплу.

Лодка велика. Кладутъ въ нее сначала пудовъ двадцать почты, потомъ мой багажъ и все покрываютъ мокрыми рогожами... Почтальонъ, высокій, пожилой человекъ, садится на тюкъ, я—на свой чемоданъ. У ногъ моихъ помѣщается маленькій солдатикъ, весь въ веснушкахъ. Шинель его хотъ выжми, а съ фуражки за шею течетъ вода.

— Господи благослови! Отчаливай!

Плывемъ по теченію, около кустовъ тальника. Гребцы рассказываютъ, что только-что, минутъ десять назадъ, утонули двѣ лошади, а мальчикъ, который сидѣлъ на телѣгѣ, едва спасся, уцѣпившись за кустъ тальника.

— Греби, греби, ребята, послѣ расскажешь!—говорить рулевой.—Понатужься!

По рѣкѣ, какъ это бываетъ передъ грозой, проносятся порывъ вѣтра... Голый тальникъ наклоняется къ водѣ и шумитъ, рѣка вдругъ темнѣетъ, заходили безпорядочные валы...

— Ребята, сворачивай въ кусты, переждать надо!—говоритъ тихо рулевой.

Ужъ стали поворачивать къ тальнику, но кто-то изъ гребцовъ замѣчаетъ, что въ случаѣ непогоды всю ночь просидимъ въ тальникѣ и все-таки утонемъ, и потому не плыть ли дальше? Предлагаютъ рѣшать большинствомъ голосовъ и рѣшаютъ плыть дальше... Рѣка становится темнѣе, сильный вѣтеръ и дождь бьютъ намъ въ бокъ, а берегъ все еще далеко, и кусты, за которые, въ случаѣ бѣды, можно бы уцѣпиться, остаются позади... Почтальонъ, выдавшій на своемъ вѣку виды, молчитъ и не шевелится, точно застылъ, гребцы тоже молчатъ... Я вижу, какъ у солдатика побагровѣла шея. На сердцѣ у меня становится тяжело, и я думаю только о томъ, что если опрокинется лодка, то я сброшу съ себя сначала полущубокъ, потомъ пиджакъ, потомъ...

Но вотъ берегъ все ближе и ближе, гребцы работаютъ веселѣе: мало-по-малу съ души спадаетъ тяжесть и, когда

до берега остается не больше трехъ сажень, становится вдругъ легко, весело, и я ужь думаю:

«Хорошо быть трусомъ! Немногого нужно, чтобы ему вдругъ стало очень весело!»

VII.

Я не люблю, когда интеллигентный ссыльный стоитъ у окна и молча глядитъ на крышу сосѣдняго дома. О чемъ онъ думаетъ въ это время? Не люблю, когда онъ разговариваетъ со мною о пустякахъ и при этомъ смотритъ мнѣ въ лицо съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хочетъ сказать: «Ты вернешься домой, а я нѣтъ». Не люблю потому, что въ это время мнѣ безконечно жаль его.

Часто употребляемое выраженіе, что смертная казнь практикуется теперь только въ исключительныхъ случаяхъ, не совѣмъ точно; всѣ высшія карательныя мѣры, которыя замѣнили смертную казнь, все-таки продолжаютъ носить самый важный и существенный признакъ, а именно—пожизненность, вѣчность, и у всѣхъ у нихъ есть цѣль, унаслѣдованная ими прямо отъ смертной казни—удаленіе преступника изъ нормальной человѣческой среды и навсегда, и человѣкъ, совершившій тяжкое преступленіе, умираетъ для общества, въ которомъ онъ родился и выросъ, такъ же, какъ и во времена господства смертной казни. Въ нашемъ русскомъ законодательствѣ, сравнительно гуманномъ, высшія наказанія, и уголовныя и исправительныя, почти всѣ пожизненны. Каторжныя работы непременно сопряжены съ поселеніемъ навсегда; ссылка на поселеніе страшна именно своею пожизненностью; приговоренный къ арестантскимъ ротамъ, по отбытіи наказанія, если общество не соглашается принять его въ свою среду, ссылается въ Сибирь; лишеніе правъ почти во всѣхъ случаяхъ носитъ пожизненный характеръ и т. д. Такимъ образомъ всѣ высшія карательныя мѣры не даютъ преступнику вѣчнаго уснокоспія въ могилѣ, именно того, что могло бы примирить мое чувство со смертною казнью, а съ другой стороны, пожизненность, сознаніе, что надежда на лучшее невозможна, что во мнѣ гражданинъ умеръ навѣки, и что никакія мои личныя усилія не воскресятъ его во мнѣ, позволяютъ думать, что смертная казнь въ Европѣ и у насъ не отмѣнена, а только облечена въ другую, менѣ отвратительную для человѣческаго чувства форму. Европа слишкомъ долго привыкла къ смерт-

ной казни, чтобы отказаться от нея безъ долгихъ и утомительныхъ проволочекъ.

Я глубоко убѣжденъ, что черезъ 50—100 лѣтъ на пожизненность нашихъ наказаній будутъ смотрѣть съ тѣмъ же недоумѣніемъ и чувствомъ неловкости, съ какимъ мы теперь смотримъ на рваніе ноздрей или лишеніе пальца на лѣвой рукѣ. И я глубоко убѣжденъ также, что, какъ бы искренно и ясно мы ни сознавали устарѣлость и предразсудочность такихъ отживающихъ явленій, какъ пожизненность наказаній, мы совершенно не въ силахъ помочь бѣдѣ. Чтобы замѣпить эту пожизненность чѣмъ-нибудь болѣе рациональнымъ и болѣе отвѣчающимъ справедливости, въ настоящее время у насъ недостаетъ ни знаній ни опыта, а стало-быть, и мужества; всѣ попытки въ этомъ направленіи, нерѣшительныя и одностороннія, могли бы повести насъ только къ серьезнымъ ошибкамъ и крайностямъ—такова участь всѣхъ начинаній, не основанныхъ на знаніи и опытѣ. Какъ это ни грустно и странно, мы не имѣемъ даже права рѣшать моднаго вопроса о томъ, что пригоднѣе для Россіи—тюрьма или ссылка, такъ какъ мы совершенно не знаемъ, что такое тюрьма и что такое ссылка. Взгляните-ка вы на нашу литературу по части тюрьмы и ссылки: что за нищенство! Двѣ-три статейки, два-три имени, а тамъ хоть шаромъ покати, точно въ Россіи нѣтъ ни тюрьмы, ни ссылки, ни каторги. Ужъ 20—30 лѣтъ наша мыслящая интеллигенція повторяетъ фразу, что всякій преступникъ составляетъ продуктъ общества, но какъ она равнодушна къ этому продукту! Причина такого индифферентизма къ заключеннымъ и томящимся въ ссылкѣ, непонятнаго въ христіанскомъ государствѣ и въ христіанской литературѣ, кроется въ чрезвычайной необразованности нашего русскаго юриста; онъ мало знаетъ и такъ же не свободенъ отъ профессиональныхъ предразсудковъ, какъ и осмѣянное имъ крашвное сѣмя. Онъ сдаетъ университетскіе экзамены только для того, чтобы умѣть судить человѣка и приговаривать его къ тюрьмѣ и ссылкѣ; поступивъ на службу и получая жалованье, онъ только судитъ и приговариваетъ, а куда идетъ преступникъ послѣ суда и зачѣмъ, что такое тюрьма и что такое Сибирь, ему неизвѣстно, не интересно и не входитъ въ кругъ его компетенціи: это ужъ дѣло конвойныхъ и тюремныхъ смотрителей съ красными носами!

По отзывама мѣстныхъ обывателей, чиновниковъ, ямщиковъ, извозчиковъ, съ которыми мнѣ приходилось говорить, интеллигентные ссыльные — всѣ эти бывшіе офицеры, чиновники, нотаріусы, бухгалтеры, представители золотой молодежи, присланные сюда за подлоги, растраты, мошенничества и т. п. — ведутъ жизнь замкнутую и скромную. Исключеніе составляютъ только субъекты, обладающіе темпераментомъ Ноздрева; эти всюду и во всѣхъ возрастахъ и во всѣхъ положеніяхъ остаются самими собою; но они не сидятъ на мѣстѣ, ведутъ въ Сибири цыганскую кочевую жизнь и до такой степени подвижны, что почти неуловимы для наблюдающаго глаза. Кромѣ Ноздревыхъ, нерѣдко встрѣчаются среди интеллигентныхъ «несчастливыхъ» люди глубоко испорченные, безнравственные, откровенно подлые, но эти почти всѣ на счету, ихъ знаетъ всякій, и на нихъ указываютъ пальцами. Громадное большинство, повторяю, живетъ скромно.

По прибытіи на мѣсто ссылки, интеллигентные люди въ первое время имѣютъ растерянный, ошеломленный видъ; они робки и словно забиты. Большинство изъ нихъ бѣдно, малосильно, дурно образовано и не имѣетъ за собою ничего, кромѣ почерка, часто никуда не годнаго. Одни изъ нихъ начинаютъ съ того, что по частямъ распродаютъ свои сорочки изъ голландскаго полотна, простыни, платки и кончаютъ тѣмъ, что черезъ 2—3 года умираютъ въ страшной нищетѣ (такъ недавно въ Томскѣ умеръ Кузовлевъ, игравшій видную роль въ процессѣ таганрогской таможни; онъ былъ похороненъ на счетъ одного великодушнаго человѣка, тоже изъ ссыльных); другіе же мало-помалу пристраиваются къ какому-нибудь дѣлу и становятся на ноги; они занимаются торговлей, адвокатурой, пишутъ въ мѣстныхъ газетахъ, поступаютъ въ писцы и т. п. Заработокъ ихъ рѣдко превышаетъ 30—35 руб. въ мѣсяцъ.

Живется имъ скучно. Сибирская природа въ сравненіи съ русскою кажется имъ однообразной, бѣдной, беззвучной; на Вознесенье стоитъ морозъ, а на Троицу идетъ мокрый снѣгъ. Квартиры въ городахъ скверныя, улицы грязныя, въ лавкахъ все дорого, не свѣже и скудно, и многого, къ чему привыкъ европеецъ, не найдешь ни за какія деньги. Мѣстная интеллигенція, мыслящая и не мыслящая, отъ утра до ночи пьетъ водку, пьетъ неизящно, грубо и глупо, че зная мѣры и не пьянѣя; послѣ пер-

выхъ же двухъ фразъ мѣстный интеллигентъ непременно ужъ задаетъ вамъ вопросъ: «А не выпить ли намъ водки?» И отъ скуки пить съ нимъ ссыльный, сначала морщится, потомъ привыкаетъ, и въ концѣ концовъ, конечно, спивается. Если говорить о пьянствѣ, то не ссыльные деморализуютъ населеніе, а населеніе ссыльныхъ. Женщина здѣсь такъ же скучна, какъ сибирская природа; она не колоритна, холодна, не умѣетъ одѣваться, не поетъ, не смѣется, не миловидна и, какъ выразился одинъ старожилъ въ разговорѣ со мной: «жестка на ощупь». Когда въ Сибири со временемъ народятся свои собственные романисты и поэты, то въ ихъ романахъ и поэмахъ женщина не будетъ героинею; она не будетъ вдохновлять, возбуждать къ высокой дѣятельности, спасать, идти «на край свѣта». Если не считать плохихъ трактировъ, семейныхъ бань и многочисленныхъ домовъ терпимости, явныхъ и тайныхъ, до которыхъ такой охотникъ сибирскій человѣкъ, то въ городахъ нѣтъ никакихъ развлеченій. Въ длинные осенніе и зимніе вечера ссыльный сидитъ у себя дома или идетъ къ старожилу пить водку; выпьютъ вдвоемъ бутылки двѣ водки и полдюжины пива, и потомъ обычный вопросъ: «А не поѣхать ли намъ туда?», т. е. въ домъ терпимости. Тоска и тоска! Чѣмъ развлечь свою душу? Прочтеть ссыльный какую-нибудь завалящую книжку, въ родѣ «Болѣзни воли» Рибо, или въ первый солнечный весенній день надѣнетъ свѣтлыя брюки — вотъ и все. Рибо скучновато, да и кстати ли читать о болѣзняхъ воли, коли самой воли нѣтъ? Въ свѣтлыхъ брюкахъ холодно, но все-таки разнообразіе!

VIII.

Сибирскій трактъ — самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всемъ свѣтѣ. Отъ Тюмени до Томска, благодаря не чиновникамъ, а природнымъ условіямъ мѣстности, она еще сносна; тутъ безлѣсная равнина; утромъ шелъ дождь, а вечеромъ уже высохло; и если до конца мая трактъ покрытъ горами льда отъ тающаго снѣга, то вы можете ѣхать по полю, выбирая на просторѣ любой окольный путь. Отъ Томска же начинаются тайга и холмы, сохнетъ почва здѣсь нескоро, выбирать окольный путь не изъ чего, поневолѣ приходится ѣхать по тракту. И потому-то только послѣ Томска проѣзжающіе начинаютъ браниться и усердно сотрудничать въ жалобныхъ кни-

гахъ. Господа чиновники аккуратно прочитываютъ ихъ жалобы и на каждой пишутъ: «оставить безъ послѣдствій». Зачѣмъ писать! Китайскіе чиновники давно бы ужъ завели штемпель.

Со мною отъ Томска до Иркутска ѣдутъ два поручика и военный докторъ. Одинъ поручикъ пѣхотный, въ мохнатой папахѣ, другой топографъ съ аксельбантомъ. На каждой станціи мы, грязные, мокрые, сонные, замученные медленной ѣздой и тряской, валимся на диваны и возмущаемся:—«Какая скверная, какая ужасная дорога!» А станціонные писаря и старосты говорятъ намъ:

— Это еще ничего, а вотъ погодите, что на Козулькѣ будетъ!

Пугаютъ Козулькой на каждой станціи, начиная съ Томска — писаря загадочно улыбаясь, а встрѣчные проѣзжающіе со злорадствомъ: «я, моль, проѣхалъ, такъ теперь же ты поѣзжай!». И до того запугиваютъ воображеніе, что таинственная Козулька начинаетъ сниться въ видѣ птицы съ длиннымъ клювомъ и зелеными глазами. Козулькой называется разстояніе въ 22 версты между станціями Чернорѣченской и Козульской (это между городами Ачинскомъ и Красноярскомъ). За двѣ, за три станціи до страшнаго мѣста начинаютъ ужъ показываться предвѣстники. Одинъ встрѣчный говоритъ, что онъ четыре раза опрокинулся, другой жалуется, что у него ось сломалась, третій угрюмо молчитъ и на вопросъ, хороша ли дорога, отвѣчаетъ: «Очень хороша, чортъ бы ее взялъ!» На меня всѣ смотрятъ съ сожалѣніемъ, какъ на покойника, потому что у меня собственный экипажъ.

— Навѣрное, сломаете и застрянете въ грязи!—говорятъ мнѣ со вздохомъ.—Лучше бы вамъ на перекладныхъ ѣхать!

Чѣмъ ближе къ Козулькѣ, тѣмъ страшнѣе предвѣстники. Недалеко отъ станціи Чернорѣченской, вечеромъ, возокъ съ моими спутниками опрокидывается, и поручики и докторъ, а съ ними и ихъ чемоданы, узлы, шашки и ямщикъ со скрипкой летятъ въ грязь. Ночью наступаетъ моя очередь. У самой станціи Чернорѣченской ямщикъ вдругъ объявляетъ мнѣ, что у моей повозки согнулся курокъ (железный болтъ, соединяющій передокъ съ осевою частью; когда онъ гнется или ломается, то повозка ложится грудью на землю). На станціи начинается починка. Человѣкъ пять ямщиковъ, отъ которыхъ пахнетъ

чеснокомъ и лукомъ такъ, что дѣлается душно и тошно опрокидываютъ грязную повозку на бокъ и начинаютъ выбивать изъ нея молотомъ согнувшійся курокъ. Они говорятъ мнѣ, что въ повозкѣ треснула еще какая-то подушка, опустился подлизокъ, отскочили три гайки, но я ничего не понимаю, да и не хочется понимать... Темно, холодно, скучно, спать хочется...

Въ комнатѣ на станціи тускло горятъ лампочки. Пахнеть керосиномъ, чеснокомъ и лукомъ. На одномъ диванѣ лежитъ поручикъ въ папахѣ и спитъ, на другомъ сидитъ какой-то бородатый человѣкъ и лѣниво натягиваетъ сапоги; онъ только-что получилъ приказъ ѣхать куда-то починять телеграфъ, а ему хочется спать, а не ѣхать. Поручикъ съ аксельбантомъ и докторъ сидятъ за столомъ, положивъ отяжелѣвшія головы на руки, и дремлютъ. Слышно, какъ храпитъ папаха, и какъ на дворѣ стучать молотомъ.

Разговариваютъ... Всѣ эти станціонные разговоры вездѣ по тракту ведутся на одну и ту же тему: критикуютъ мѣстное начальство и бранятъ дорогу. Больше всего достается почтово-телеграфному вѣдомству, хотя оно по сибирскому тракту только царствуетъ, но не управляетъ. Утомленному проѣзжающему, которому еще осталось до Иркутска болѣе тысячи верстъ, все, что рассказывается на станціяхъ, кажется просто ужаснымъ. Всѣ эти разговоры о томъ, какъ какой-то членъ Географическаго общества, ѣхавшій съ женою, раза два ломалъ свой экипажъ и въ концѣ концовъ вынужденъ былъ заночевать въ лѣсу, какъ какая-то дама отъ тряски разбила себѣ голову, какъ какой-то акцизный просидѣлъ 16 часовъ въ грязи и далъ мужикамъ 25 рублей за то, что тѣ его вытащили и довели до станціи, какъ ни одинъ собственникъ экипажа не доѣзжалъ благополучно до станціи— всѣ подобные разговоры отдаются въ душѣ, какъ крики злобщей птицы.

Судя по рассказамъ, больше всѣхъ страдаетъ почта. Если бы нашелся добрый человѣкъ, который взялъ бы на себя трудъ прослѣдить движеніе сибирской почты отъ Перми до Иркутска и записалъ свои впечатлѣнія, то получилась бы повѣсть, которая могла бы вызвать у читателей слезы. Начать съ того, что всѣ эти кожаные тюки и кули, несущіе въ Сибирь религію, просвѣщеніе, торговлю, порядокъ и деньги, безъ всякой надобности но-

чують цѣлыя сутки въ Перми только потому, что лѣнныя пароходы всегда опаздываютъ къ поѣзду. Отъ Тюмени до Томска весною до самаго іюня почта воюетъ съ чудовищными разливами рѣкъ и съ невылазною грязью; помнится, на одной изъ станцій, благодаря разливу, я долженъ былъ ждать около сутокъ; со мною ждала и почта. Черезъ рѣки и затопленные луга тяжелыя почты перевозятся на маленькихъ лодкахъ, которыя не опрокидываются только потому, что за сибирскихъ почтальоновъ, вѣроятно, горячо молятся ихъ матери. Отъ Томска же до Иркутска почтовые телѣги по 10—20 часовъ просиживаютъ въ грязи около разныхъ Козулекъ и Чернорѣченскихъ, которымъ нѣтъ числа. 27-го мая на одной изъ станцій мнѣ рассказывали, что недавно на рѣчкѣ Качѣ подъ почтою провалился мостъ, и что едва не утонули лошади и почта — это одно изъ обычныхъ приключеній, которыя давно уже стали для сибирской почты привычными. Пока я ѣхалъ отъ Иркутска, меня въ продолженіе шести сутокъ не обгоняла почта изъ Москвы; это значитъ, что она опоздала больше, чѣмъ на недѣлю, и что цѣлую недѣлю терпѣла какія-то приключенія.

Сибирскіе почтальоны—мученики. Кресть у нихъ тяжелый. Это герои, которыхъ упорно не хочетъ признать отечество. Они много работаютъ, воюютъ съ природой, какъ никто, подчасъ страдаютъ невыносимо, но ихъ увольняютъ, отчисляютъ и штрафуютъ гораздо чаще, чѣмъ награждаютъ. Знаете ли, сколько они получаютъ жалованья, и видали ли вы въ своей жизни хоть одного почтальона съ медалью? Быть-можетъ, они гораздо полезнѣе тѣхъ, которые пишутъ: «оставить безъ послѣдствій», но посмотрите, какъ они запуганы, забиты, какъ робки въ вашемъ присутствіи...

Но вотъ наконецъ объявляютъ, что экипажъ готовъ. Можно ѣхать дальше.

— Вставайте! — будить докторъ папаху. — Чѣмъ раньше проѣдемъ эту проклятую Козулку, тѣмъ лучше.

— Господа, не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ, — утѣшаетъ бородатый человекъ. — Право, Козулка ничѣмъ не хуже другихъ станцій. Да и къ тому же, если боитесь, то 22 версты можно и пѣшкомъ пройти.

— Да, если въ грязи не увязнешь...—добавляетъ пизарь.

На небѣ брезжить утренняя заря. Холодно... Ямщики еще не выѣхали со двора, но ужъ говорить: «Ну, дорога, не дай Господи!». Ыдемъ сначала по деревнѣ... Жидкая грязь, въ которой тонуть колеса, чередуется съ сухими кочками и ухабами изъ гатей и мостковъ, утонувшихъ въ жидкомъ навозѣ, ребрами выступаютъ бревна, Ызда по которымъ у людей выворачиваетъ души, а у экипажей ломаетъ оси...

Но вотъ деревня кончилась, и мы на страшной Козулькѣ. Дорога тутъ въ самомъ дѣлѣ отвратительна, но я не нахожу, чтобы она была хуже, чѣмъ, на примѣръ, около Маринска или той же Чернорѣченской. Представьте вы себѣ широкую просѣку, вдоль которой тянется насыпь сажени въ четыре ширины изъ глины и мусора—это и есть трактъ. Если глядѣть на эту насыпь сбоку, то кажется, что изъ земли, какъ въ открытой музыкальной шкапулкѣ, выдается большой органнй валъ. По обѣ стороны его — канавы. Вдоль вала тянутся колеи, глубиною въ полъ-аршина и болѣе, эти перерѣзываются множествомъ поперечныхъ, и такимъ образомъ весь валъ представляетъ собою рядъ горныхъ цѣпей, среди которыхъ есть свои Казбеки и Эльборусы; вершины горъ уже высохли и стучать по колесамъ, у подножія еще хлопаетъ вода. Только развѣ очень искусный фокусникъ могъ бы поставить на этой насыпи экипажъ такъ, чтобы онъ стоялъ прямо, обыкновенно же экипажъ всегда находится въ положеніи, которое, пока вы не привыкли, каждую минуту заставляетъ васъ кричать: «Ямщикъ, мы опрокидываемся!» То правыя колеса погружаются въ глубокую колею, а лѣвыя стоятъ на вершинахъ горъ, то два колеса увязли въ грязи, третье на вершинѣ, а четвертое болтается въ воздухѣ... Тысячи положеній принимаетъ коляска, вы же въ это время хватаете себя то за голову, то за бока, кланяетесь во всѣ стороны и прикусываете себѣ языкъ, а ваши чемоданы и ящики бунтуютъ и громоздятся другъ на друга и на васъ самихъ. А посмотрите на ямщика: какъ этотъ акробатъ умудряется сидѣть на козлахъ?

Если бы кто посмотрѣлъ на насъ со стороны, то сказалъ бы, что мы не Ыдемъ, а сходимъ съ ума. Мы хотимъ подалѣе держаться отъ насыпи и Ыдемъ по опушкѣ, стараясь найти окольный путь; но и тутъ колеи, кочки, ребра и мостки. Проѣхавъ немного, ямщикъ останавливается; онъ думаетъ минуту и, безпомощно крякнувъ,

съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хочетъ сейчасъ совершить большую подлость, править къ тракту, прямо на канаву. Раздается трескъ: трахъ по переднимъ колесамъ, трахъ по заднимъ!—это мы черезъ канаву ѣдемъ. Потомъ взбираемся на насыпь, тоже съ трескомъ. Съ лошадей валить парь, вальки отрываются, шлеи и дуги ползутъ въ сторону...«Но, матушка!—кричитъ ямщикъ, хлеща изо всей силы кнутомъ.—Но, дружокъ! Уязви твою душу!» Протащивъ возокъ шаговъ десять, лошади останавливаются; теперь, какъ ни хлещи по нимъ, какъ ни обзывай, а ужъ не пойдутъ дальше. Нечего дѣлать, опять правимъ на канаву и спускаемся съ насыпи, опять ищемъ окольной дороги, потомъ опять раздумье и поворотъ къ насыпи—и такъ безъ конца.

Тяжело ѣхать, очень тяжело, но становится еще тяжелѣе, какъ подумаешь, что эта безобразная, рябая полоса земли, эта черная оспа есть почти единственная жила, соединяющая Европу съ Сибирью! И по такой жилѣ въ Сибирь, говорятъ, течетъ цивилизація! Да, говорятъ, говорятъ много, и если бы насъ подслушали ямщики, почтальоны и эти вотъ мокрые, грязные мужики, которые по колѣна вязнутъ въ грязи около своего обоза, везущаго въ Европу чай, то какого бы мнѣнія они были объ Европѣ, объ ея искренности!

Кстати посмотрите на обозъ. Возовъ сорокъ съ чайными цибиками тянется по самой насыпи... Колеса на половину спрятались въ глубокихъ колеяхъ, тощія лошаденки вытягиваютъ шею... Около возовъ идутъ извозчики; вытаскивая ноги изъ грязи и помогая лошадямъ, они давно уже выбились изъ силъ... Вотъ часть обоза остановилась. Что такое? У одного изъ возовъ сломалось колесо... Нѣтъ, ужъ лучше не смотрѣть!

Чтобы поглумиться надъ замученными ямщиками, почтальонами, извозчиками и лошадьми, кто-то распорядился насыпать по сторонамъ дороги кучи кирпичнаго мусора и камня. Это для того, чтобы каждую минуту напоминать, что въ скоромъ времени дорога будетъ еще хуже. Говорятъ, что въ городахъ и селахъ, по сибирскому тракту, живутъ люди, которые получаютъ жалованье за то, что починаютъ дорогу. Если это правда, то надо прибавить имъ жалованья, чтобы они, пожалуиста, не трудились начинать, такъ какъ отъ ихъ починокъ дорога становится все хуже и хуже. По словамъ

крестьянъ, ремонтъ дороги, въ родѣ Козульской, производится такъ. Въ концѣ іюня или въ началѣ іюля, въ самый сезонъ мошкеры — мѣстной египетской казни, «сгоняютъ» изъ сель народъ и велятъ ему засыпать высохшія колени и ямы хворостомъ, который стирается между пальцами въ порошокъ; ремонтъ продолжается до конца лѣта. Потомъ идетъ снѣгъ и покрываетъ дорогу ухабами, единственными въ свѣтѣ, укачивающими до морской болѣзни; потомъ весна и грязь, потомъ опять ремонтъ — и такъ изъ года въ годъ.

До Томска мнѣ пришлось познакомиться съ однимъ засѣдателемъ и проѣхать вмѣстѣ съ нимъ двѣ-три станціи. Помнится, когда мы сидѣли въ избѣ у какого-то еврея и ѣли уху изъ окуней, вошелъ сотскій и доложилъ засѣдателю, что въ такомъ-то мѣстѣ дорога совсѣмъ испортилась, и что дорожный подрядчикъ не хочетъ починять ее...

— Позови его сюда! — распорядился засѣдатель.

Немного погодя вошелъ маленькій мужичонка, лохматый, съ кривой физиономіей. Засѣдатель сорвался со стула и бросился на него...

— Ты какъ же смѣешь, подлецъ, не починять дорогу? — сталъ онъ кричать плачущимъ голосомъ. — По ней проѣхать нельзя, шеи ломаютъ, губернаторъ пишетъ, я выхожу у всѣхъ виноватъ, а ты, мерзавецъ, язви твою душу, анаеема, окаянная твоя рожа, — что смотришь? А? Гадина ты этакая! Чтобъ завтра же была починена дорога! Завтра буду ѣхать назадъ, и если увижу, что дорога не починена, то я тебѣ рожу раскроваю, искалѣчу разбойника! Пош-шелъ вонъ!

Мужичонка заморгалъ глазами, вспотѣлъ, сдѣлалъ лицо еще кривѣе и юркнулъ въ дверь. Засѣдатель вернулся къ столу, сѣлъ и сказалъ, улыбаясь:

— Да, конечно, послѣ петербургскихъ и московскихъ вамъ здѣшнія женщины не могутъ понравиться, но если хорошенько поискать, то и здѣсь можно найти дѣвочку...

Интересно бы знать, что успѣлъ мужичонка сдѣлать до завтра? И что можно сдѣлать въ такой короткій срокъ? Не знаю, къ счастью или къ несчастью для сибирскаго тракта, засѣдатели недолго сидятъ на одномъ мѣстѣ; ихъ часто мѣняютъ. Рассказываютъ, что одинъ вновь назначенный засѣдатель, прибывъ въ свой участокъ, согналъ крестьянъ и приказалъ имъ копать по сторо-

намъ дороги канавы; его преемникъ, не желая уступать ему въ оригинальности, согналъ крестьянъ и приказалъ имъ зарывать канавы. Третій распорядился въ своемъ участкѣ покрыть дорогу слоемъ глины въ полъаршина. Четвертый, пятый, шестой, седьмой — каждый постарался принести въ улей свою долю меда...

Въ продолженіе всего года дорога остается невозможной; весною грязь, лѣтомъ — кочки, ямы и ремонтъ, зимою — ухабы. Та быстрая ѣзда, которая когда-то захватывала духъ у Ф. Ф. Вигеля и позднѣе у И. А. Гончарова, теперь бываетъ мыслима только развѣ зимою въ первопутку. Правда, и современные писатели восхищаются быстротою сибирской ѣзды, но это только потому, что неловко же, побывавъ въ Сибири, не испытать быстрой ѣзды, хотя бы только въ воображеніи...

Трудно надѣяться, чтобы Козулька когда-нибудь перестала ломать оси и колеса. Сибирскіе чиновники на своемъ вѣку не видали вѣдь дороги лучше; имъ и эта правится, а жалобныя книги, корреспонденціи и критика проѣзжающихъ въ Сибири приносятъ дорогамъ такъ же мало пользы, какъ и деньги, которыя ассигнуются на ихъ починку...

Пріѣзжаемъ мы на Козульскую станцію, когда ужъ высоко стоитъ солнце. Мои спутники ѣдутъ дальше, а я остаюсь починать свой экипажъ.

IX.

Если пейзажъ въ дорогѣ для васъ не послѣднее дѣло, то, ѣдучи изъ Россіи въ Сибирь, вы проскучаете отъ Урала вплоть до самаго Енисея. Холодная равнина, кривыя березки, лужицы, кое-гдѣ озера, снѣгъ въ маѣ, да пустынные, унылые берега притоковъ Оби — вотъ и все, что удастся памяти сохранить отъ первыхъ двухъ тысячъ верстъ. Природа же, которую боготворять инородцы, уважаютъ наши бѣглецы и которая со временемъ будетъ служить неисчерпаемымъ золотымъ приискомъ для сибирскихъ поэтовъ, природа оригинальная, величавая и прекрасная начинается только съ Енисея.

Не въ обиду будь сказано ревнивымъ почитателямъ Волги, въ своей жизни я не видѣлъ рѣки великолѣпнѣе Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучій, неистовый богатырь, который не знаетъ куда дѣвать свои силы и молодость. На

Волгѣ человѣкъ началъ удалю, а коячилъ стономъ, который зовется пѣснью; яркія, золотыя надежды смѣнились у него немочью, которую принято называть русскимъ пессимизмомъ, на Енисеѣ же жизнь началась стономъ, а кончится удалю, какая намъ и во снѣ не снилась. Такъ, по крайней мѣрѣ, думалъ я, стоя на берегу широкаго Енисея и съ жадностью глядя на его воду, которая съ страшной быстротой и силой мчится въ суровый Ледовитый океанъ. Въ берегахъ Енисею тѣсно. Невысокіе валы обгоняютъ другъ друга, тѣсняются и описываютъ спиральные круги, и кажется страннымъ, что этотъ силачъ не смылъ еще береговъ и не пробуравилъ дна. На этомъ берегу Красноярскъ, самый лучший и красивый изъ всѣхъ сибирскихъ городовъ, а на томъ — горы, напомнившія мнѣ о Кавказѣ, такія же дымчатыя, мечтательныя. Я стоялъ и думалъ: какая полная, умная и смѣлая жизнь освѣтитъ со временемъ эти берега! Я завидовалъ Сибирякову, который, какъ я читалъ, изъ Петербурга плыветъ на пароходѣ въ Ледовитый океанъ, чтобы оттуда пробраться въ устье Енисея; я жалѣлъ, что университетъ открытъ въ Томскѣ, а не тутъ, въ Красноярскѣ. Много у меня было разныхъ мыслей, и всѣ онѣ путались и тѣснились, какъ вода въ Енисеѣ, и мнѣ было хорошо...

Скоро послѣ Енисея начинается знаменитая тайга. О ней много говорили и писали, а потому отъ нея ждалось не того, что она можетъ дать. Вначалѣ какъ будто немного разочаровываешься. По обѣ стороны дороги непрерывно тянутся обыкновенные лѣса изъ сосны, лиственницы, ели и березы. Нѣтъ ни деревьевъ въ пять обхватовъ, ни верхушекъ, при взглядѣ на которыя кружится голова; деревья нисколько не крупнѣе тѣхъ, которыя растутъ въ московскихъ Сокольникахъ. Говорили мнѣ, что тайга беззвучна и растительность ея не имѣетъ запаха. Я ожидалъ этого, но все время, пока я ѣхалъ по тайгѣ, заливались птицы, жужжали насѣкомыя; хвой, согрѣтыя солнцемъ, насыщали воздухъ густымъ запахомъ смолы, поляны и опушка у дороги были покрыты нѣжно-голубыми, розовыми и желтыми цвѣтами, которые ласкали не одно только зрѣніе. Очевидно, писавшіе о тайгѣ наблюдали ее не весною, а лѣтомъ, когда и въ Россіи лѣса беззвучны и не издають запаха.

Сила и очарованіе тайги не въ деревьяхъ-гигантахъ и

не въ гробовой тишинѣ, а въ томъ, что развѣ однѣ только перелетныя птицы знаютъ, гдѣ она кончается. Въ первыя сутки не обращаемъ на нее вниманія; во вторыя и въ третьи удивляешься, а въ четвертыя и пятыя переживаешь такое настроеніе, какъ будто никогда не выберешься изъ этого земного чудовища. Взберешься на высокій холмъ, покрытый лѣсомъ, глянешь впередъ на востокъ, по направленію дороги, и видишь внизу лѣсъ, дальше холмъ, кудрявый отъ лѣса, за нимъ другой холмъ, такой же кудрявый, а за нимъ третій, и такъ безъ конца; черезъ сутки опять взглянешь съ холма—и опять та же картина... Впередѣ все-таки, знаешь, будутъ Ангара и Иркутскъ, а что за лѣсами, которые тянутся по сторонамъ дороги па сѣверъ и югъ, и на сколько сотенъ верстъ они тянутся, неизвѣстно даже ямщикамъ и крестьянамъ, родившимся въ тайгѣ. Ихъ фантазія смѣлѣе, чѣмъ наша, но и они не рѣшаются наобумъ опредѣлять размѣры тайги и на нашъ вопросъ отвѣчаютъ: «конца нѣтъ!». Имъ только извѣстно, что зимою черезъ тайгу пріѣзжаютъ съ далекаго сѣвера на оленяхъ какіе-то люди, чтобы купить хлѣба, но что это за люди и откуда они, не знаютъ даже старики.

Вотъ около сосенъ плетется бѣглый съ котомкой и съ котелкомъ на спинѣ. Какими маленькими, ничтожными представляются въ сравненіи съ громадною тайгой его злодѣйство, страданіе и онъ самъ! Пропадеть онъ здѣсь въ тайгѣ, и ничего въ этомъ не будетъ ни мудренаго ни ужаснаго, какъ въ гибели комара. Пока нѣтъ густого населенія, сильна и непобѣдима тайга, и фраза: «человѣкъ есть царь природы» нигдѣ не звучитъ такъ робко и фальшиво, какъ здѣсь. Если бы, положимъ, всѣ люди, которые живутъ теперь по сибирскому тракту, сговорились уничтожить тайгу и взялись бы для этого за топоръ и огонь, то повторилась бы исторія спницы, хотѣвшей зажечь море. Случается, пожаръ сожретъ лѣсу верстъ за пять; но въ общей массѣ пожарище едва замѣтно, а проходятъ десятки лѣтъ, и на мѣстѣ выжженнаго лѣса вырастаетъ молодой, гуще и темнѣе прежняго. Одинъ ученый въ бытность свою на восточномъ берегу нечаянно поджегъ лѣсъ; въ одно мгновеніе вся видимая зеленая масса была охвачена пламенемъ. Потрясенный необычной картиною, ученый назвалъ себя «причиною страшнаго бѣдствія». Но что значитъ для громадной

тайги какой-нибудь десятокъ верстъ? Навѣрное, на мѣстѣ бывшаго пожара, растутъ теперь непроходимый лѣсъ, гуляютъ въ немъ безмятежно медвѣди, летаютъ рябчики, и труды ученаго оставили въ природѣ гораздо больше слѣда, чѣмъ напугавшее его страшное бѣдствіе. Обычная человѣческая мѣрка въ тайгѣ не годится.

А сколько тайнъ прячетъ въ себѣ тайга! Вотъ между деревьями крадется дорога или тропинка и исчезаетъ въ лѣсныхъ сумеркахъ. Куда она идетъ? Въ тайный ли винокуренный заводъ, въ село ли, о существованіи котораго не слыхать еще ни исправникъ ни засѣдатель, или, быть-можетъ, въ золотые пріиски, открытые артелью бродяжекъ? И какою безшабашною, обольстительною свободою вѣетъ отъ этой загадочной тропинки!

По разсказамъ ямщиковъ, въ тайгѣ живутъ медвѣди, волки, сохатые, соболи и дикія козы. Мужики, живущіе по тракту, когда нѣтъ работы, цѣлыя недѣли проводятъ въ тайгѣ и стрѣляютъ тамъ звѣрей. Охотниче искусство здѣсь очень просто: если ружье выстрѣлило, то слава Богу, если же дало осѣчку, то не проси у медвѣдя милости. Одинъ охотникъ жаловался мнѣ, что ружье у него дѣлаетъ по пяти осѣчекъ подъ-рядъ и выстрѣливаетъ только послѣ шестого раза; итти съ такимъ сокровищемъ на охоту безъ ножа или рогаки—большой рискъ. Привозныя ружья здѣсь плохи и дороги, и потому не рѣдкость встрѣтить по тракту кузнецовъ, умѣющихъ дѣлать ружья. Вообще говоря, кузнецы талантливые люди, и особенно это замѣтно въ тайгѣ, гдѣ они не затерялись въ массѣ другихъ талантовъ. Мнѣ по необходимости пришлось коротко познакомиться съ однимъ кузнецомъ, котораго ямщикъ рекомендовалъ мнѣ такъ:— «У-у, это большой мастеръ! Онъ даже ружья дѣлаетъ!» И тонъ и выраженіе лица у ямщика живо напомнили мнѣ наши разговоры о знаменитыхъ художникахъ. У меня сломался тарантасъ, понадобилось починять, и по рекомендаціи ямщика явился ко мнѣ на станцію худошавый, блѣдный человѣкъ съ нервными движеніями, по всемъ примѣтамъ, талантъ и большой пьяница. Какъ хорошій врачъ-практикъ, которому скучно лѣчить неинтересную болѣзнь, онъ мелькомъ и нехотя оглядѣлъ мой тарантасъ, коротко и ясно поставилъ діагнозъ, подумалъ и, ни слова не сказавъ мнѣ, лѣниво поплелся по дорогѣ, потомъ оглянулся и сказалъ ямщику:

— Что жъ? Пожалуй, вези тарантасъ въ кузницу.

Починять тарантасъ помогали ему четыре плотника. Работалъ онъ небрежно, нехотя, и казалось, что желѣзо принимало разнообразную форму помимо его воли; онъ часто курилъ, безъ всякой надобности рылся въ кучѣ желѣзнаго мусора, глядѣлъ вверхъ на небо, когда я торопилъ его: такъ ломаются артисты, когда ихъ просятъ спѣть или прочесть что-нибудь. Изрѣдка, точно изъ кокетства или желая удивить меня и плотниковъ, онъ высоко поднималъ молотъ, сыпалъ во все стороны искрами и однимъ ударомъ рѣшалъ какой-нибудь очень сложный и мудреный вопросъ. Отъ неуклюжаго, тяжелаго удара, отъ котораго, казалось бы, должна была разсыпаться наковальня и вздрогнуть земля, легкая желѣзная пластинка получила желаемую форму, такъ что и блоха не могла бы придаться. За работу получилъ онъ отъ меня пять съ полтиной; пять взялъ себѣ, а полтинникъ отдалъ четыремъ плотникамъ. Тѣ сказали спасибо и потащили тарантасъ къ станціи, завидуя, вѣроятно, таланту, который и въ тайгѣ такъ же знаетъ себѣ цѣну и такъ же деспотиченъ, какъ и у насъ въ большихъ городахъ.

ВИШНЕВЫЙ САДЪ.

Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Раневская, Любовь Андреевна, помѣщица.
Аня, ея дочь, 17 лѣтъ.
Варя, ея пріемная дочь, 22 лѣтъ.
Гаевъ, Леонидъ Андреевичъ, братъ Раневской.
Лопихинъ, Ермолай Алексѣевичъ, купецъ.
Трофимовъ, Петръ Сергѣевичъ, студентъ.
Симеоновъ-Пищикъ, Борисъ Борисовичъ, помѣщикъ.
Шарлотта Ивановна, гувернантка.
Епиходовъ, Семень Пантелеевичъ, конторщикъ.
Дуняша, горничная.
Фирсъ, лакей, старикъ 87 лѣтъ.
Яша, молодой лакей.
Прохожій.
Начальникъ станціи.
Почтовый чиновникъ.
Гости, прислуга.

Дѣйствіе происходитъ въ имѣніи Л. А. Раневской.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Комната, которая до сихъ поръ называется дѣтскою. Одна изъ дверей ведетъ въ комнату Ани. Разсвѣтъ, скоро взойдетъ солнце. Уже май, цвѣтутъ вишневые деревья, но въ саду холодно, утренникъ. Окна въ комнатѣ закрыты. Входятъ Дуняша со свѣчкой и Лопихинъ съ книгой въ рукѣ.

Лопихинъ. Пришелъ поѣздъ, слава Богу. Который часъ?

Дуняша. Скоро два. *(Тушитъ свѣчу)* Уже свѣтло.

Лопихинъ. На сколько же это опоздалъ поѣздъ? Часа на два, по крайней мѣрѣ. *(Зъваетъ и потягивается)*. И-то

хорошъ, какого дурака сваялъ! Нарочно прѣхаль сюда, чтобы на станціи встрѣтить, и вдругъ проспалъ... Сидя уснулъ. Досада... Хоть бы ты меня разбудила.

Дуняша. Я думала, что вы уѣхали. *(Прислушивается)* Вотъ, кажется, уже ѣдутъ.

Лопахинъ *(прислушивается)*. Нѣтъ... Багажъ получить, то да се... *(Пауза)*. Любовь Андреевна прожила за границей пять лѣтъ, не знаю, какая она теперь стала... Хорошій она человѣкъ. Легкій, простой человѣкъ. Помню, когда я былъ мальчонкомъ лѣтъ пятнадцати, отецъ мой покойный—онъ тогда здѣсь на деревнѣ въ лавкѣ торговалъ—ударилъ меня по лицу кулакомъ, кровь пошла изъ носу... Мы тогда вмѣстѣ пришли зачѣмъ-то во дворъ, и онъ выпивши былъ. Любовь Андреевна, какъ сейчасъ помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня къ рукомойнику, вотъ въ этой самой комнатѣ, въ дѣтской. «Не плачь, говоритъ, мужичокъ, до свадьбы заживетъ»... *(Пауза)*. Мужичокъ... Отецъ мой, правда, мужикъ былъ, а я вотъ въ бѣлой жилеткѣ, желтыхъ башмакахъ. Со свинымъ рыломъ въ калачный рядъ... Только что вотъ богатый, денегъ много, а ежели подумать и разобраться, то мужикъ-мужикомъ... *(Перелистываетъ книгу)* Читалъ вотъ книгу и ничего не понималъ. Читалъ и заснулъ. *(Пауза)*.

Дуняша. А собаки всю ночь не спали, чуютъ, что хозяева ѣдутъ.

Лопахинъ. Что ты, Дуняша, такая...

Дуняша. Руки трясутся. Я въ обморокъ упаду.

Лопахинъ. Очень ужъ ты нѣжная, Дуняша. И одѣваешься, какъ барышня, и прическа тоже. Такъ нельзя. Надо себя помнить.

Входитъ Епиходовъ съ букетомъ; онъ въ пиджакъ и въ ярко вычищенныхъ сапогахъ, которые сильно скрипятъ; войдя, онъ роняетъ букетъ.

Епиходовъ *(поднимаетъ букетъ)*. Вотъ садовникъ прислалъ, говоритъ, въ столовой поставить. *(Отдаетъ Дуняшѣ букетъ)*.

Лопахинъ. И квасу мнѣ принесешь.

Дуняша. Слушаю. *(Уходитъ)*.

Епиходовъ. Сейчасъ утренникъ, морозъ въ три градуса, а вишня вся въ цвѣту. Не могу одобрить нашего климата. *(Вздыхаетъ)* Не могу. Нашъ климатъ не можетъ способствовать въ самый разъ. Вотъ, Ермолай Алексѣичъ, позвольте вамъ присовокупить, купилъ я себѣ третьяго-дня

сапоги, а они, смѣю васъ увѣрить, скрипятъ такъ, что нѣтъ никакой возможности. Чѣмъ бы смазать?

Лопахинъ. Отстанъ. Надоѣлъ.

Епиходовъ. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не роншу, привыкъ и даже улыбаюсь.

Дуняша входитъ, подаетъ Лопахину квасъ.

Епиходовъ. Я пойду. *(Натыкается на стулъ, который падаетъ).* Вотъ... *(Какъ бы торжествуя)* Вотъ видите, извините за выраженіе, какое обстоятельство, между прочимъ... Это просто замѣчательно! *(Уходитъ).*

Дуняша. А мнѣ, Ермолай Алексѣвичъ, признаться, Епиходовъ предложеніе сдѣлалъ.

Лопахинъ. А!

Дуняша. Не знаю ужъ какъ... Человѣкъ онъ смиренный, а только иной разъ, какъ начнетъ говорить, ничего не поймешь. И хорошо и чувствительно, только непонятно. Мнѣ онъ какъ будто и нравится. Опъ меня любитъ безумно. Человѣкъ онъ несчастливый, каждый день что-нибудь. Его такъ и дразнять у насъ: двадцать два несчастья...

Лопахинъ *(прислушивается)*. Вотъ, кажется, ѣдутъ...

Дуняша. Ёдутъ! Чтò жъ это со мной... похолодѣла вся.

Лопахинъ. Ёдутъ, въ самомъ дѣлѣ. Пойдемъ встрѣчать. Узнаетъ ли она меня? Пять лѣтъ не видались.

Дуняша *(въ волненіи)*. Я сейчасъ упаду... Ахъ, упаду!

Слышно, какъ къ дому подъѣзжаютъ два экипажа. Лопахинъ и Дуняша быстро уходятъ. Сцена пуста. Въ сосѣднихъ комнатахъ начинается шумъ. Черезъ сцену, опираясь на палочку, торопливо проходитъ Фирсъ, вздвигивъ встрѣчать Любовь Андреевну; онъ въ старинной ливреѣ и въ высокой шляпѣ; что-то говоритъ самъ съ собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Шумъ за сценой все усиливается. Голосъ:—«Вотъ пройдемте здѣсь...». Любовь Андреевна, Аня и Шарлотта Ивановна съ собачкой на цепочкѣ, одѣтыя по-дорожному, Варя въ пальто и платкѣ, Гаевъ, Симеоновъ-Пищикъ, Лопахинъ, Дуняша съ узломъ и зонтикомъ, прислура съ вещами—все идутъ черезъ комнату.

Аня. Пройдемте здѣсь. Ты, мама, помнишь, какая это комната?

Любовь Андреевна *(радостно, сквозь слезы)*. Дѣтская!

Варя. Какъ холодно, у меня руки заоченѣли. (*Любови Андреевнѣ*) Ваши комнаты, бѣлая и фіолетовая, такими же и остались, мамочка.

Любовь Андреевна. Дѣтская, милая моя, прекрасная комната... Я тутъ спала, когда была маленькой... (*Плачетъ*). И теперь я какъ маленькая... (*Цѣлуетъ брата, Варю, потомъ опять брата*). А Варя попрежнему все такая же, на монашку похожа. И Дуняшу я узнала... (*Цѣлуетъ Дуняшу*).

Гаевъ. Поѣздъ опоздалъ на два часа. Каково? Каковы порядки?

Шарлотта (*Пищикю*). Моя собака и орѣхи кушаетъ.

Пищикъ (*удивленно*). Вы подумайте!

Уходятъ всѣ, кромѣ Ани и Дуняши.

Дуняша. Заждались мы... (*Снимаетъ съ Ани пальто, шляпу*).

Аня. Я не спала въ дорогѣ четыре ночи... теперь озябла очень.

Дуняша. Вы уѣхали въ Великомъ посту, тогда былъ снѣгъ, былъ морозъ, а теперь? Милая моя! (*Смѣется, цѣлуетъ ее*). Заждалась васъ, радость моя, свѣтликъ... Я скажу вамъ сейчасъ, одной минутки не могу утерпѣть...

Аня (*вяло*). Опять что-нибудь...

Дуняша. Конторщикъ Епиходовъ послѣ Святой мнѣ предложеніе сдѣлалъ.

Аня. Ты все объ одномъ... (*Поправляя волосы*) Я растеряла всѣ шпильки... (*Она очень утомлена, даже пошатывается*).

Дуняша. Ужъ я не знаю, что и думать. Онъ меня любить, такъ любить!

Аня (*глядитъ въ свою дверь, нѣжно*). Моя комната, мои окна, какъ будто я не уѣзжала. Я дома! Завтра утромъ встану, побѣгу въ садъ... О, если бы я могла уснуть! Я не спала всю дорогу, томило меня безпокойство.

Дуняша. Третьяго-дня Петръ Сергѣичъ пріѣхали.

Аня (*радостно*). Петя!

Дуняша. Въ банѣ спать, тамъ и живутъ. Боюсъ, говорятъ, стѣснить. (*Взглянувъ на свои карманные часы*) Надо бы ихъ разбудить, да Варвара Михайловна не велѣла. Ты, говорить, его не буди.

Входитъ Варя, на поясѣ у нея вязка ключей.

Варя. Дуняша, кофе поскорѣй... Мамочка кофе проситъ.

Дуняша. Сю минуточку. (*Уходитъ*).

Варя. Ну, слава Богу, пріѣхали. Онять ты дома. *(Ласкаясь)* Душечка моя пріѣхала! Красавица пріѣхала!

Аня. Натерпѣлась я.

Варя. Воображаю!

Аня. Выѣхала я на Страстной недѣлѣ, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говоритъ, представляетъ фокусы. И зачѣмъ ты навязала мнѣ Шарлотту...

Варя. Нельзя же тебѣ одной ѣхать, душечка. Въ семнадцать лѣтъ!

Аня. Пріѣзжаемъ въ Парижъ, тамъ холодно, снѣгъ. По-французски говорю я ужасно. Мама живетъ на пятомъ этажѣ, прихожу къ ней, у нея какіе-то французы, дамы, старый патеръ съ книжкой, и накурено, неуютно. Мнѣ вдругъ стало жаль мамы, такъ жаль, я обняла ея голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потомъ все ласкалась, плакала...

Варя *(сквозь слезы)*. Не говори, не говори...

Аня. Дачу свою около Ментоны она уже продала, у нея ничего не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни копейки, едва доѣхали. И мама не понимаетъ! Сядемъ на вокзалѣ обѣдать, и она требуетъ самое дорогое и на чай лакеямъ даетъ по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требуетъ себѣ порцію, просто ужасно. Вѣдь у мамы лакей Яша, мы привезли его сюда...

Варя. Видѣла подлеца.

Аня. Ну что, какъ? Заплатили проценты?

Варя. Гдѣ тамъ!

Аня. Боже мой, Боже мой.

Варя. Въ августѣ будутъ продавать имѣніе...

Аня. Боже мой...

Лопухинъ *(заглядываетъ въ оверъ и мычитъ)*. Ме-е-е... *(Уходитъ)*.

Варя *(сквозь слезы)*. Вотъ такъ бы и дала ему... *(Грозитъ кулакомъ)*.

Аня *(обнимаетъ Варю, тихо)*. Варя, онъ сдѣлалъ предложеніе? *(Варя отрицательно качаетъ головой)*. Вѣдь онъ же тебя любитъ... Отчего вы не объяснитесь, чего вы ждете?

Варя. Я такъ думаю, ничего у насъ не выйдетъ. У него дѣла много, ему не до меня... и вниманія не обращаетъ. Богъ съ нимъ совсѣмъ, тяжело мнѣ его видѣть... Всѣ говорятъ о нашей свадьбѣ, всѣ поздравляютъ, а на самомъ дѣлѣ ничего нѣтъ, все какъ сонъ... *(Дружимъ тономъ)* У тебя брошка въ родѣ какъ пчелка.

Аня (*печально*). Это мама купила. (*Идетъ въ свою комнату, говоритъ весело, по-дѣтски*) А въ Парижѣ я на воздушномъ шарѣ летала!

Варя. Душечка моя пріѣхала! Красавица пріѣхала!

Дуняша уже вернулась съ кофейникомъ и варитъ кофе.

Варя (*стоитъ около двери*). Хожу я, душечка, цѣльный день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатаго человѣка, и я бы тогда была покойнѣй, пошла бы себѣ въ пустынь, потомъ въ Кіевъ... въ Москву, и такъ бы все ходила по святымъ мѣстамъ... Ходила бы и ходила. Благолѣпіе!..

Аня. Птицы поютъ въ саду. Который теперь часъ?

Варя. Должно, третій. Тебѣ пора спать, душечка. (*Входитъ въ комнату къ Аннѣ*) Благолѣпіе!

Входитъ Яша съ пледомъ, дорожной сумочкой.

Яша (*идетъ черезъ сцену, деликатно*). Тутъ можно пройти-съ?

Дуняша. И не узнаешь васъ, Яша. Какой вы стали за границей.

Яша. Гм... А вы кто?

Дуняша. Когда вы уѣзжали отсюда, я была этакой... (*показываетъ отъ пола*). Дуняша, Федора Козоѣдова дочь. Вы не помните!

Яша. Гм... Огурчикъ! (*Олядывается и обнимаетъ ее; она вскрикиваетъ и роняетъ блюдечко. Яша быстро уходитъ*).

Варя (*въ дверяхъ, недовольнымъ голосомъ*). Чтѣ еще тутъ?

Дуняша (*сквозь слезы*). Блюдечко разбила...

Варя. Это къ добру.

Аня (*выйдя изъ своей комнаты*). Надо бы маму предупредить: Петя здѣсь...

Варя. Я приказала его не будить.

Аня (*задумчиво*). Шестъ лѣтъ тому назадъ умеръ отецъ, черезъ мѣсяцъ утонулъ въ рѣкѣ братъ Гриша, хорошенькій семилѣтній мальчикъ. Мама не перенесла, ушла, ушла безъ оглядки... (*Вздрагиваетъ*). Какъ я ее понимаю, если бы она знала! (*Пауза*). А Петя Трофимовъ былъ учителемъ Гриши, онъ можетъ напомнить...

Входитъ Фирсъ; онъ въ пиджакъ и бѣломъ жилетѣ.

Фирсъ (*идетъ къ кофейнику, озабоченно*). Барыня здѣсь

будутъ кушать... *(Надвѣваетъ бѣлыя перчатки)*. Готовъ кофій? *(Строго Дуняшъ)* Ты! А сливки?

Дуняша. Ахъ, Боже мой... *(Быстро уходитъ)*.

Фирсъ *(хлопочетъ около кофейника)*. Эхъ, ты, недотепа... *(Бормочетъ про себя)* Пріѣхали изъ Парижа... И баринъ когда-то ѣздилъ въ Парижъ... на лошадяхъ... *(Смѣется)*.

Варя. Фирсъ, ты о чемъ?

Фирсъ. Чего изволите? *(Радостно)* Барыня моя пріѣхала! Дождался! Теперь хоть и помереть... *(Плачетъ отъ радости)*.

Входятъ Любовь Андреевна, Гаевъ и Симеоновъ-Пищикъ; Симеоновъ-Пищикъ въ поддевку изъ тонкаго сукна и шароварахъ. Гаевъ, входя, руками и туловищемъ дѣлаетъ движенія, какъ будто играетъ на бильярдѣ.

Любовь Андреевна. Какъ это? Дай-ка вспомнить... Желтаго въ уголь! Дулетъ въ середину!

Гаевъ. Рѣжу въ уголь! Когда-то мы съ тобой, сестра, спали вотъ въ этой самой комнатѣ, а теперь мнѣ уже 51 годъ, какъ это ни странно...

Лопахинъ. Да, время идетъ.

Гаевъ. Кого?

Лопахинъ. Время, говорю, идетъ.

Гаевъ. А здѣсь начулями пахнетъ.

Аня. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. *(Цѣлуетъ мать)*.

Любовь Андреевна. Ненаглядная дитюся моя. *(Цѣлуетъ ей руки)*. Ты рада, что ты дома? Я никакъ въ себя не приду.

Аня. Прощай, дядя.

Гаевъ *(цѣлуетъ ей лицо, руки)*. Господь съ тобой. Какъ ты похожа на свою мать! *(Сестрѣ)* Ты, Люба, въ ея годы была точно такая.

Аня подаетъ руку Лопахину и Пищину, уходитъ и затворяетъ за собой дверь.

Любовь Андреевна. Она утомилась очень.

Пищикъ. Дорога, небось, длинная.

Варя *(Лопахину и Пищину)*. Чтѣ жъ, господа? Третій часъ, пора и честь знать.

Любовь Андреевна *(смѣется)*. Ты все такая же, Варя. *(Привлекаетъ ее къ себѣ и цѣлуетъ)*. Вотъ выпью кофе, тогда всѣ уйдемъ. *(Фирсъ кладетъ ей подъ ноги подушечку)*

Спасибо, родной. Я привыкла къ кофе. Пью его и днемъ и ночью. Спасибо, мой старичокъ. *(Цѣлуетъ Фирса).*

Варя. Поглядѣть, всѣ ли вещи привезли... *(Уходитъ).*

Любовь Андреевна. Неужели это я сижу? *(Смѣется).* Мнѣ хочется прыгать, размахивать руками. *(Закрываетъ лицо руками)* А вдругъ я сплю! Видить Богъ, я люблю родину, люблю нѣжно, я не могла смотрѣть изъ вагона, все плакала. *(Сквозь слезы)* Однакоже надо пить кофе. Спасибо тебѣ, Фирсъ, спасибо, мой старичокъ. Я такъ рада, что ты еще живъ.

Фирсъ. Позавчера.

Гаевъ. Онъ плохо слышитъ.

Лопухинъ. Мнѣ сейчасъ, въ пятомъ часу утра, въ Харьковъ ѣхать. Такая досада! Хотѣлось поглядѣть на васъ, поговорить... Вы все такая же великолѣпная.

Пищикъ *(тяжело дышитъ)*. Даже похорошѣла... Одѣта по-парижскому... пропадай моя телѣга, всѣ четыре колеса...

Лопухинъ. Вашъ братъ, вотъ Леонидъ Андреичъ, говоритъ про меня, что я хамъ, я кулакъ, но это мнѣ рѣшительно все равно. Пускай говоритъ. Хотѣлось бы только, чтобы вы мнѣ вѣриди попрежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядѣли на меня, какъ прежде. Боже милосердный! Мой отецъ былъ крѣпостнымъ у вашего дѣда и отпа, но вы, собственно вы, сдѣлали для меня когда-то такъ много, что я забылъ все и люблю васъ, какъ родную... больше, чѣмъ родную.

Любовь Андреевна. Я не могу усидѣть, не въ состояніи... *(Вскакиваетъ и ходитъ въ сильномъ волненіи)*. Я не переживу этой радости... Смѣйтесь надо мной, я глупая... Шкапикъ мой родной... *(Цѣлуетъ шкафъ)*. Столикъ мой...

Гаевъ. А безъ тебя тутъ няня умерла.

Любовь Андреевна *(садится и пьетъ кофе)*. Да, царство небесное. Мнѣ писали.

Гаевъ. И Анастасій умеръ. Петрушка Косой отъ меня ушелъ и теперь въ городѣ у пристава живетъ. *(Вынимаетъ изъ кармана коробку съ леденцами, сосетъ)*.

Пищикъ. Дочка моя, Дашенька... вамъ кланяется...

Лопухинъ. Мнѣ хочется сказать вамъ что-нибудь очень пріятное, веселое. *(Взглянувъ на часы)* Сейчасъ уѣду, не когда разговаривать... ну, да я въ двухъ-трехъ словахъ. Вамъ уже извѣстно, вишневый садъ вашъ продается за долги, на 22-е августа назначены торги, но вы не беспокойтесь. моя дорогая, спите себѣ спокойно, выходъ есть...

Вотъ мой проектъ. Прошу вниманія! Ваше имѣніе находится только въ двадцати верстахъ отъ города, возлѣ прошла желѣзная дорога, и если вишневый садъ и землю по рѣкѣ разбить на дачные участки и отдавать потомъ въ аренду подъ дачи, то вы будете имѣть самое малое 25 тысячъ въ годъ дохода.

Гаевъ. Извините, какая чепуха!

Любовь Андреевна. Я васъ не совсѣмъ понимаю, Ермолай Алексѣвичъ.

Лопехинъ. Вы будете брать съ дачниковъ самое малое по 25 рублей въ годъ за десятину, и если теперь же объявите, то, я ручаюсь чѣмъ угодно, у васъ до осени не останется ни одного свободнаго клочка, все разберутъ. Однимъ словомъ, поздравляю, вы спасены. Мѣстоположеніе чудесное, рѣка глубокая. Только, конечно, нужно поубрать, почистить... напрымѣръ, скажемъ, снести всѣ старыя постройки, вотъ этотъ домъ, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый садъ...

Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губерніи есть что-нибудь интересное, даже замѣчательное, такъ это только нашъ вишневый садъ.

Лопехинъ. Замѣчательнаго въ этомъ саду только то, что онъ очень большой. Вишня родится разъ въ два года, да и ту дѣвать некуда, никто не покупаетъ.

Гаевъ. И въ «Энциклопедическомъ словарѣ» упоминается про этотъ садъ.

Лопехинъ (*взглянувъ на часы*). Если ничего не придумаемъ и ни къ чему не придемъ, то 22-го августа и вишневый садъ и все имѣніе будутъ продавать съ аукціона. Рѣшайтесь же! Другого выхода нѣтъ, клянусь вамъ. Нѣтъ и нѣтъ.

Фирсъ. Въ прежнее время, лѣтъ 40—50 назадъ, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и бывало...

Гаевъ. Помолчи, Фирсъ.

Фирсъ. И бывало, сушеную вишню возами отправляли въ Москву и въ Харьковъ. Денегъ было! И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способъ тогда знали...

Любовь Андреевна. А гдѣ же теперь этотъ способъ?

Фирсъ. Забыли. Никто не помнить.

Пищикъ (*Любови Андреевнѣ*). Что въ Парижѣ? Какъ? Ъли лягушекъ?

Любовь Андреевна. Крокодиловъ фла.

Пищикъ. Вы подумайте...

Лопяхинъ. До сихъ поръ въ деревнѣ были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники. Всѣ города, даже самые небольшіе, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачникъ лѣтъ черезъ двадцать размножится до необычайности. Теперь онъ только чай пьетъ на балконѣ, но вѣдь можетъ случиться, что на своей одной десятинѣ онъ займется хозяйствомъ, и тогда вашъ вишневыи садъ станетъ счастливымъ, богатымъ, роскошнымъ...

Гаевъ (*возмущаясь*). Какая чепуха!

Входятъ Варя и Яша.

Варя. Тутъ, мамочка, вамъ двѣ телеграммы. (*Выбираетъ ключъ и со звономъ открываетъ старинный шкапъ*). Вотъ онѣ.

Любовь Андреевна. Это изъ Парижа. (*Четъ телеграммы, не прочитавъ*). Съ Парижемъ кончено...

Гаевъ. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкапу лѣтъ? Недѣлю назадъ я выдвинулъ нижній ящикъ, гляжу, а тамъ выжжены цифры. Шкапъ сдѣланъ ровно сто лѣтъ тому назадъ. Каково? А? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предметъ неодушевленный, а все-таки, какъ-никакъ, книжный шкапъ.

Пищикъ (*удивленно*). Сто лѣтъ... Вы подумайте!..

Гаевъ. Да... Это вещь... (*Ощупавъ шкапъ*) Дорогой, многоуважаемый шкапъ! Привѣтствую твое существованіе, которое вотъ уже больше ста лѣтъ было направлено къ свѣтлымъ идеаламъ добра и справедливости; твой молчаливый призывъ къ плодотворной работѣ не ослабѣвалъ въ теченіе ста лѣтъ, поддерживая (*сквозь слезы*) въ поколѣніяхъ нашего рода бодрость, вѣру въ лучшее будущее и воспитывая въ насъ идеалы добра и общественнаго самосознанія. (*Пауза*).

Лопяхинъ. Да...

Любовь Андреевна. Ты все такой же, Леня.

Гаевъ (*немного сконфуженный*). Отъ шара направо въ уголь! Рѣжу въ среднюю!

Лопяхинъ (*поглядѣвъ на часы*). Ну, мнѣ пора.

Яша (*подаетъ Любови Андреевнѣ лѣкарства*). Можетъ, примете сейчасъ пилюли...

Пищикъ. Не надо принимать медикаменты, милѣйшая... отъ нихъ ни вреда ни пользы... Дайте-ка сюда... многоуважаемая. (*Беретъ пилюли, высыпаетъ ихъ себѣ на ладонь, дуетъ на нихъ, кладетъ въ ротъ и запиваетъ квасомъ*). Вотъ!

Любовь Андреевна (*испуганно*). Да вы съ ума сопли!

Пищикъ. Всѣ плюлюди принялъ.

Лопахинъ. Экая прорва! (*Всѣ смѣются*).

Фирсъ. Они были у насъ на Святой, поль-ведра огурцовъ скушали... (*Бормочетъ*).

Любовь Андреевна. О чемъ это онъ?

Варя. Ужъ три года такъ бормочетъ. Мы привыкли.

Яша. Преклонный возрастъ.

Шарлотта Ивановна *въ блонь платъ, очень худая, стянутая, съ лорнетомъ на поясъ, проходитъ черезъ сцену.*

Лопахинъ. Простите, Шарлотта Ивановна, я не успѣлъ еще поздороваться съ вами. (*Хочетъ поцѣловать у нея руку*).

Шарлотта (*отнимая руку*). Если позволить вамъ поцѣловать руку, то вы потомъ пожелаете въ локоть, потомъ въ плечо...

Лопахинъ. Не везетъ мнѣ сегодня. (*Всѣ смѣются*). Шарлотта Ивановна, покажите фокусъ!

Любовь Андреевна. Шарлотта, покажите фокусъ!

Шарлотта. Не надо. Я спать желаю. (*Уходитъ*).

Лопахинъ. Черезъ три недѣли увидимся. (*Цѣлуетъ Любви Андреевнѣ руку*) Пока прощайте. Пора. (*Гаеву*) До свиданця. (*Цѣлуется съ Пищикомъ*) До свиданця. (*Подаетъ руку Варѣ, потомъ Фирсу и Яшѣ*). Не хочется уѣзжать. (*Любви Андреевнѣ*) Ежели надумаете насчетъ дачъ и рѣшите, тогда дайте знать, я взаимы тысячь пятьдесятъ достану. Серьезно подумайте.

Варя (*сердито*). Да уходите же наконецъ!

Лопахинъ. Ухожу, ухожу... (*Уходитъ*).

Гаевъ. Хамъ. Впрочемъ, пардонъ... Варя выходитъ за него замужъ, это Варинъ женишокъ.

Варя. Не говорите, дядечка, лишняго.

Любовь Андреевна. Чтò жъ, Варя, я буду очень рада. Онъ хорошій человекъ.

Пищикъ. Человекъ, надо правду говорить... достойнѣйшій... И моя Дашенька... тоже говорить, что... разныя слова говорить. (*Храпитъ, но тотчасъ же просыпается*) А все-таки, многоуважаемая, одолжите мнѣ... взаимы 240 рублей... завтра по закладной проценты платить...

Варя (*испуганно*). Нѣту, нѣту!

Любовь Андреевна. У меня въ самомъ дѣлѣ нѣтъ ничего.

Пищикъ. Найдутся. (*Смѣется*). Не теряю никогда на-

дежды. Вотъ, думаю, ужъ все пропало, погибъ, анъ глядь— желѣзная дорога по моей землѣ прошла, и... мнѣ заплатили. А тамъ, гляди, еще что-нибудь случится не сегодня, завтра... Двѣсти тысячь выиграетъ Дашенька... у нея билетъ есть.

Любовь Андреевна. Кофе выпить, можно на покой.

Фирсъ (*чиститъ щеткой Гаева, наставительно*). Опять не тѣ брючки надѣли. И что мнѣ съ вами дѣлать!

Варя (*тихо*). Аня спить. (*Тихо открываетъ окно*). Уже вошло солнце, не холодно. Взгляните, мамочка: какія чудесныя деревья! Боже мой, воздухъ! Скворцы поютъ!

Гаевъ (*открываетъ другое окно*). Садъ весь бѣлый. Ты не забыла, Люба? Вотъ эта длинная аллея идетъ прямо-прямо, точно протянутый ремень, она блеститъ въ лунныя ночи. Ты помнишь? Не забыла?

Любовь Андреевна (*глядитъ въ окно на садъ*). О, мое дѣтство, чистота моя! Въ этой дѣтской я спала, глядѣла отсюда на садъ, счастье просыпалось вмѣстѣ со мною каждое утро, и тогда онъ былъ точно такимъ, ничто не измѣнилось. (*Смѣется отъ радости*). Весь, весь бѣлый! О, садъ мой! Послѣ темной ненастной осени и холодной зимы, опять ты млодъ, полонъ счастья, ангелы небесныя не покинули тебя... Если бы снять съ груди и съ плечъ моихъ гяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!

Гаевъ. Да, и садъ продадутъ за долги, какъ это ни странно...

Любовь Андреевна. Посмотрите, покойная мама идетъ по саду... въ бѣломъ платьѣ! (*Смѣется отъ радости*). Это она.

Гаевъ. Гдѣ?

Варя. Господь съ вами, мамочка.

Любовь Андреевна. Никого нѣтъ, мнѣ показалось. Направо, на поворотѣ къ бесѣдкѣ, бѣлое дерево склонилось, похоже на женщину...

Входитъ Трофимовъ, въ поношенномъ студенческомъ мундирѣ, въ очкахъ.

Любовь Андреевна. Какой изумительный садъ! Бѣлая масса цвѣтовъ, голубое небо...

Трофимовъ. Любовь Андреевна! (*Она оглянулась на него*). Я только поклонюсь вамъ и тотчасъ же уйду. (*Горячо цѣлуетъ руку*). Мнѣ приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпѣнія...

Любовь Андреевна *глядитъ съ недоумѣніемъ*.

Варя (*сквозь слезы*). Это Петя Трофимовъ...

Трофимовъ. Петя Трофимовъ, бывшій учитель вашего Гриши... Неужели я такъ измѣнился?

Любовь Андреевна *обнимаетъ его и тихо плачетъ.*

Гаевъ *(смущенно)*. Полно, полно, Люба.

Варя *(плачетъ)*. Говорила вѣдь, Петя, чтобы погодили до завтра.

Любовь Андреевна. Гриша мой... мой мальчикъ... Гриша... сынъ...

Варя. Что же дѣлать, мамочка. Воля Божья.

Трофимовъ *(мялко, сквозь слезы)*. Будетъ, будетъ...

Любовь Андреевна *(тихо плачетъ)*. Мальчикъ погибъ, утонулъ... Для чего? Для чего, мой другъ? *(Тише)* Тамъ Аня спитъ, а я громко говорю... поднимаю шумъ... Что же, Петя? Отчего вы такъ подурнѣли? Отчего постарѣли?

Трофимовъ. Меня въ вагонѣ одна баба назвала такъ: облѣзлый баринъ.

Любовь Андреевна. Вы были тогда совсѣмъ мальчикомъ, милымъ студентикомъ, а теперь волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студентъ? *(Идетъ къ двери)*.

Трофимовъ. Должно-быть, я буду вѣчнымъ студентомъ.

Любовь Андреевна *(цѣлуетъ брата, потомъ Варю)*. Ну, идите спать... Постарѣлъ и ты, Леонидъ.

Пищикъ *(идетъ за ней)*. Значитъ, теперь спать... Охъ, подагра моя. Я у васъ останусь... Миѣ бы, Любовь Андреевна, душа моя, -завтра утречкомъ... 240 рублей...

Гаевъ. А этотъ все свое.

Пищикъ. 240 рублей... проценты по закладной платить.

Любовь Андреевна. Нѣтъ у меня денегъ, голубчикъ.

Пищикъ. Отдамъ, милая... Сумма пустячная...

Любовь Андреевна. Ну, хорошо, Леонидъ дасть... Ты дай, Леонидъ.

Гаевъ. Дамъ я ему, держи карманъ.

Любовь Андреевна. Что же дѣлать, дай... Ему нужно... Онъ отдастъ.

Любовь Андреевна, Трофимовъ, Пищикъ и Фирсъ *уходятъ. Остаются Гаевъ, Варя и Яша.*

Гаевъ. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами. *(Яшь)* Стойди, любезный, отъ тебя курицей пахнетъ.

Яша *(съ усмѣшкой)*. А вы, Леонидъ Андреевичъ, все такой же, какъ были.

Гаевъ. Кого? *(Варя)* Что онъ сказалъ?

Варя (*Яши*). Твоя мать пришла изъ деревни, со вчерашняго дня сидить въ людской, хочет повидаться...

Яша. Богъ съ ней совсѣмъ!

Варя. Ахъ, безстыдникъ!

Яша. Очень нужно. Могла бы и завтра прійти. (*Уходитъ*).

Варя. Мамочка такая же, какъ была, нисколько не измѣнилась. Если бъ ей волю, она бы все раздала.

Гаевъ. Да... (*Пауза*). Если противъ какой-нибудь болѣзни предлагается очень много средствъ, то это значить, что болѣзнь неизлѣчима. Я думаю, напрягаю мозги, у меня много средствъ, очень много и, значить, въ сущности, ни одного. Хорошо бы получить отъ кого-нибудь наслѣдство, хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатаго человѣка, хорошо бы поѣхать въ Ярославль и попытать счастья у тетушки-графини. Тетка вѣдь очень, очень богата.

Варя (*плачетъ*). Если бы Богъ помогъ.

Гаевъ. Не реви. Тетка очень богата, но насъ она не любитъ. Сестра, во-первыхъ, вышла замужъ за присяжнаго повѣреннаго, не дворянина...

Аня показывается въ дверяхъ.

Гаевъ. Вышла за не дворянина и вела себя, нельзя сказать, чтобы очень добродѣтельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю, но, какъ тамъ ни придумывай смягчающія обстоятельства, все же, надо сознаться, она порочна. Это чувствуется въ ея малѣйшемъ движеніи.

Варя (*шопотомъ*). Аня стоитъ въ дверяхъ.

Гаевъ. Кого? (*Пауза*). Удивительно, мнѣ что-то въ правый глазъ попало... плохо сталъ видѣть. И въ четвергъ, когда я былъ въ окружномъ судѣ...

Входитъ Аня.

Варя. Чтò же ты не спишь, Аня?

Аня. Не спится. Не могу.

Гаевъ. Крошка моя. (*Цѣлуетъ Ань лицо, руки*). Дитя мое... (*Сквозь слезы*) Ты не племянница, ты мой ангелъ, ты для меня все. Вѣрь мнѣ, вѣрь...

Аня. Я вѣрю тебѣ, дядя. Тебя всѣ любятъ, уважаютъ... но, милый дядя, тебѣ надо молчать, только молчать. Чтò ты говорилъ только-что про мою маму, про свою сестру? Для чего ты это говорилъ?

Гаевъ. Да, да... (*Ея рукой закрываетъ себѣ лицо*). Въ самомъ дѣлѣ, это ужасно! Боже мой! Боже, спаси меня! И сегодня я рѣчь говорилъ передъ шкапомъ... такъ глупо! И только когда кончилъ, понялъ, что глупо.

Варя. Правда, дядечка, вамъ надо бы молчать. Молчите себѣ и все.

Аня. Если будешь молчать, то тебѣ же самому будетъ покойнѣе.

Гаевъ. Молчу. (*Цѣлуетъ Аню и Варю руки*). Молчу. Только вотъ о дѣлѣ. Въ четвергъ я былъ въ окружномъ судѣ, ну, сошлась компанія, начался разговоръ о томъ, о семъ, пятое-десятое, и, кажется, вотъ можно будетъ устроить заемъ подъ векселя, чтобы заплатить проценты въ банкъ.

Варя. Если бы Господь помогъ!

Гаевъ. Во вторникъ поѣду, еще разъ поговорю. (*Варя*) Не реви. (*Аня*) Твоя мама поговоритъ съ Лопахинымъ; онъ, конечно, ей не откажетъ... А ты, какъ отдохнешь, поѣдешь въ Ярославль къ графинѣ, твоей бабушкѣ. Вотъ такъ и будемъ дѣйствовать съ трехъ концовъ—и дѣло наше въ шляпѣ. Проценты мы заплатимъ, я убѣжденъ... (*Кладетъ въ ротъ леденецъ*). Честью моею, чѣмъ хочешь клянусь, имѣніе не будетъ продано! (*Возбужденно*) Счастьемъ моимъ клянусь! Вотъ тебѣ моя рука, назови меня тогда дряннымъ, безчестнымъ человѣкомъ, если я допущу до аукціона! Всѣмъ существомъ моимъ клянусь!

Аня (*спокойное настроеніе вернулось къ ней, она счастлива*). Какой ты хорошій, дядя, какой умный! (*Обнимаетъ дядю*). Я теперь покойна! Я покойна! Я счастлива!

Входитъ Фирсъ.

Фирсъ (*ужоризненно*). Леонидъ Андреичъ, Бога вы не боитесь! Когда же спать?

Гаевъ. Сейчасъ, сейчасъ. Ты уходи, Фирсъ. Я ужъ, такъ и быть, самъ раздѣнусь. Ну, дѣтки, бай-бай... Подробности завтра, а теперь идите спать. (*Цѣлуетъ Аню и Варю*). Я человѣкъ восьмидесятихъ годовъ... Не хвалить это время, но все же, могу сказать, за убѣжденія мнѣ доставалось немало въ жизни. Недаромъ меня мужикъ любить. Мужика надо знать! Надо знать, съ какой...

Аня. Опять ты, дядя!

Варя. Вы, дядечка, молчите.

Фирсъ (*сердито*). Леонидъ Андреичъ!

Гаевъ. Иду, иду... Ложитесь. Отъ двухъ бортовъ въ середину! Кладу чистаго... (*Уходитъ, за нимъ съменяетъ Фирсъ*).

Аня. Я теперь покойна. Въ Ярославль ѣхать не хочется, я не люблю бабушку, но все же я покойна. Спасибо дядѣ. (*Сидится*).

Варя. Надо спать. Пойду. А тутъ безъ тебя было удовольствіе. Въ старой людской, какъ тебѣ извѣстно, живутъ одни старые слуги: Ефимьюшка, Поля, Евстигней, ну и Карпъ. Стали они пускать къ себѣ ночевать какихъ-то проходимцевъ — я промолчала. Только вотъ, слышу, распустили слухъ, будто я велѣла кормить ихъ однимъ только горохомъ. Отъ скудости, видишь ли... И это все Евстигней... Хорошо, думаю. Коли такъ, думаю, то погоди же. Зову я Евстигнея... (*Звываетъ*). Приходитъ... Какъ же ты, говорю, Евстигней... дуракъ ты этакій... (*Поглядѣвъ на Аню*) Анечка!.. (*Пауза*). Заснула... (*Беретъ Аню подъ руку*). Пойдемъ въ постельку... Пойдемъ!.. (*Ведетъ ее*). Душечка моя уснула! Пойдемъ... (*Идутъ*).

Далеко за садомъ пастухъ играетъ на свирѣли.

Трофимовъ идетъ черезъ сцену и, увидѣвъ Варю и Аню, останавливается.

Варя. Тсс... Она спитъ... спитъ... Пойдемъ, родная.

Аня (*тихо, въ полуснѣ*). Я такъ устала... все колокольчики... Дядя... милый... и мама и дядя...

Варя. Пойдемъ, родная, пойдемъ... (*Уходитъ въ комнату Ани*).

Трофимовъ (*въ умиленіи*). Солнышко мое! Весна моя!

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возлѣ нея колодець, большіе камни, когда-то бывшіе, повидимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога въ усадьбу Гаева. Въ сторонѣ, возвышаясь, темнѣютъ тополи: тамъ начинается вишневый садъ. Вдали рядъ телеграфныхъ столбовъ, и далеко-далеко на горизонтѣ неясно обозначается большой городъ, который бываетъ виденъ только въ очень хорошую, ясную погоду. Скоро сядетъ солнце. Шарлотта, Яша и Дуняша сидятъ на скамьѣ; Епиходовъ стоитъ возлѣ и играетъ на гитарѣ; всѣ сидятъ задумавшись. Шарлотта въ старой фуражкѣ; она сняла съ плечъ ружье и поправляетъ пряжку на ремнѣ.

Шарлотта (*въ раздумьѣ*). У меня нѣтъ настоящаго паспорта, я не знаю, сколько мнѣ лѣтъ, и мнѣ все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой дѣвочкой, то мой отецъ и мамаша ѣздили по ярмаркамъ и давали представления, очень хорошія. А я прыгала salto-mortale и разныя штуки. И когда папаша и мамаша умерли, меня

взяла къ себѣ одна нѣмецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потомъ пошла въ гувернантки. А откуда я и кто я — не знаю... Кто мои родители, можетъ, они не вѣщались... не знаю. (*Достаетъ изъ кармана огурецъ и пьетъ*). Ничего не знаю. (*Пауза*). Такъ хочется поговорить, а не съ кѣмъ... Никого у меня нѣтъ.

Епиходовъ (*играетъ на гитарѣ и поетъ*). «Что мнѣ до шумнаго свѣта, что мнѣ друзья и враги...» Какъ приятно играть на мандолинѣ!

Дуняша. Это гитара, а не мандолина. (*Глядится въ зеркальце и пудрится*).

Епиходовъ. Для безумца, который влюбленъ, это мандолина... (*Напѣваетъ*) «Было бы сердце согрѣто жаромъ взаимной любви...»

Яша *подпѣваетъ*.

Шарлотта. Ужасно поютъ эти люди... фуй! Какъ шакалы.

Дуняша (*Яшь*). Все-таки какое счастье побывать за границей.

Яша. Да, конечно. Не могу съ вами не согласиться. (*Зпѣваетъ, потомъ закуриваетъ сигару*).

Епиходовъ. Понятное дѣло. За границей все давно ужъ въ полной комплектціи.

Яша. Само собой.

Епиходовъ. Я развитой человекъ, читаю разныя замѣчательныя книги, но никакъ не могу понять направленія, чего мнѣ собственно хочется, жить мнѣ, али застрѣлиться, собственно говоря, но тѣмъ не менѣе я всегда ношу при себѣ револьверъ. Вотъ онъ... (*Показываетъ револьверъ*).

Шарлотта. Кончила. Теперь пойду. (*Надѣваетъ ружье*). Ты, Епиходовъ, очень умный человекъ и очень страшный; тебя должны безумно любить женщины. Бррр! (*Идетъ*). Эти умники все такіе глупые, не съ кѣмъ мнѣ поговорить... Все одна, одна, никого у меня нѣтъ и... и кто я, зачѣмъ я, неизвѣстно... (*Уходитъ не стѣша*).

Епиходовъ. Собственно говоря, не касаясь другихъ предметовъ, я долженъ выразиться о себѣ, между прочимъ, что судьба относится ко мнѣ безъ сожалѣнія, какъ буря къ небольшому кораблю. Если, допустимъ, я ошибаюсь, тогда зачѣмъ же сегодня утромъ я просыпаюсь, къ примѣру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паукъ... Вотъ такой (*показываетъ обними руками*). И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а тамъ, глядишь, что-нибудь въ высшей степени чеприличное, въ родѣ тара-

кана. *(Пауза)*. Вы читали Бокля? *(Пауза)*. Я желаю по-
безпокоить васъ, Авдотья Федоровна, на пару словъ.

Дуняша. Говорите.

Епиходовъ. Мнѣ бы желательно съ вами наединѣ... *(Вздыхаетъ)*.

Дуняша *(смущенно)*. Хорошо... только сначала принесите мнѣ мою тальмочку... Она около шкапа... тутъ немножко сыро...

Епиходовъ. Хорошо-съ... принесу-съ... Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать съ моимъ револьверомъ... *(Беретъ гитару и уходитъ, напирывая)*.

Яша. Двадцать два несчастья! Глухой человѣкъ, между нами говоря. *(Звываетъ)*.

Дуняша. Не дай Богъ, застрѣлится. *(Пауза)*. Я стала тревожная, все безпокоюсь. Меня еще дѣвочкой взяли къ господамъ, я теперь отвыкла отъ простой жизни, и вотъ руки бѣлыя-бѣлыя, какъ у барышни. Нѣжная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь... Страшно такъ. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будетъ съ моими нервами.

Яша *(цѣлуетъ ее)*. Огурчикъ! Конечно, каждая дѣвушка должна себя помнить, и я больше всего не люблю, ежели дѣвушка дурного поведенія.

Дуняша. Я страстно полюбила васъ, вы образованный, можете обо всемъ разсуждать. *(Пауза)*.

Яша *(звываетъ)*. Да-съ... По-моему такъ: ежели дѣвушка кого любить, то она, значить, безнравственная. *(Пауза)*. Приятно выкурить сигару на чистомъ воздухѣ... *(Прислушивается)* Сюда идутъ... Это господа...

Дуняша *порывисто обнимаетъ его*.

Яша. Идите домой, будто ходили на рѣку купаться, идите этой дорожкой, а то встрѣтятся и подумаютъ про меня, будто я съ вами на свиданіи. Терпѣть этого не могу.

Дуняша *(тихо кашляетъ)*. У меня отъ сигары голова разболѣлась... *(Уходитъ)*.

Яша *остается, сидитъ возлѣ часовни. Входятъ Любовь Андреевна, Гаевъ и Лопяхинъ*.

Лопяхинъ. Надо окончателно рѣшить,—время не ждетъ. Вопросъ вѣдь совсѣмъ пустой. Согласны вы отдать землю подъ дачи, или нѣтъ? Отвѣтите одно слово: да или нѣтъ? Только одно слово!

Любовь Андреевна. Кто это здѣсь куритъ отвратительныя сигары... *(Садится)*.

Гаевъ. Вотъ желѣзную дорогу построили, и стало удобно. *(Садится)*. Съѣздили въ городъ и позавтракали... желтаго въ середину! Мнѣ бы сначала пойти въ домъ, сыграть одну партію...

Любовь Андреевна. Успѣешь.

Лопахинъ. Только одно слово! *(Умолляюще)* Дайте же мнѣ отвѣтъ!

Гаевъ *(звѣая)*. Кого?

Любовь Андреевна *(глядитъ въ свое портмонэ)*. Вчера было много денегъ, а сегодня совсѣмъ мало. Бѣдная моя Варя изъ экономіи кормить всѣхъ молочнымъ супомъ, на кухнѣ старикамъ даютъ одинъ горохъ, а я трачу какъ-то безсмысленно... *(Уронила портмонэ, разсыпала золотые)*. Ну, посыпались... *(Ей досадно)*.

Яша. Позвольте, я сейчасъ подберу. *(Собираетъ монеты)*.

Любовь Андреевна. Будьте добры, Яша. И зачѣмъ я поѣхала завтракать... Дрянной вашъ ресторанъ съ музыкой, скатерти пахнутъ мыломъ... Зачѣмъ такъ много пить, Леня? Зачѣмъ такъ много ѣсть? Зачѣмъ такъ много говорить? Сегодня въ ресторанѣ ты говорилъ опять много и все некстати. О семидесятыхъ годахъ, о декадентахъ. И кому? Половымъ говорить о декадентахъ!

Лопахинъ. Да.

Гаевъ *(махнетъ рукой)*. Я несправимъ, это очевидно... *(Раздраженно Яша)* Чтò такое, постоянно вертись передъ глазами...

Яша *(смѣется)*. Я не могу безъ смѣха вашего голоса слышать.

Гаевъ *(сестрѣ)*. Или я, или онъ...

Любовь Андреевна. Уходите, Яша, ступайте.

Яша *(отдаетъ Любови Андреевнѣ кошелекъ)*. Сейчасъ уйду. *(Едва удерживается отъ смѣха)*. Сію минуту... *(Уходитъ)*.

Лопахинъ. Ваше имѣніе собирается купить богачъ Деригановъ. На торги, говорятъ, пріѣдетъ самъ лично.

Любовь Андреевна. А вы откуда слышали?

Лопахинъ. Въ городѣ говорятъ.

Гаевъ. Ярославская тетюшка обѣщала прислать, а когда и сколько прилетѣтъ, неизвѣстно...

Лопахинъ. Сколько она прилетѣтъ? Тысячъ сто? Двѣсти?

Любовь Андреевна. Ну... Тысячъ десять-пятнадцать, и на томъ спасибо.

Лопахинъ. Простите, такихъ легкомысленныхъ людей,

какъ вы, господа, такихъ недѣловыхъ, странныхъ, я еще не встрѣчалъ. Вамъ говорятъ русскимъ языкомъ: имѣніе ваше продается, а вы точно не понимаете.

Любовь Андреевна. Что же намъ дѣлать? Научите, что?

Лопахинъ. Я васъ каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И вишневый садъ и землю необходимо отдать въ аренду подъ дачи, сдѣлать это теперь же, поскорѣе, — аукціонъ на носу! Поймите! Разъ окончательно рѣшите, чтобъ были дачи, такъ денегъ вамъ дадутъ сколько угодно, и вы тогда спасены.

Любовь Андреевна. Дачи и дачники — это такъ пошло, простите.

Гаевъ. Совершенно съ тобой согласенъ.

Лопахинъ. Я или зарыдаю, или закричу, или въ обморокъ упаду. Не могу! Вы меня замучили! (*Гаеву*) Баба вы! Гаевъ. Кого?

Лопахинъ. Ваба! (*Хочетъ уйти*).

Любовь Андреевна (*испуанно*). Нѣтъ, не уходите, останьтесь, голубчикъ. Прошу васъ. Можетъ-быть, надумаемъ что-нибудь!

Лопахинъ. О чемъ тутъ думать!

Любовь Андреевна. Не уходите, прошу васъ. Съ вами все-таки веселѣе... (*Пауза*). Я все жду чего-то, какъ будто надъ нами долженъ обвалиться домъ.

Гаевъ (*въ глубокомъ раздумьѣ*). Дулетъ въ уголь... Круазе въ середину...

Любовь Андреевна. Ужъ очень много мы грѣшили...

Лопахинъ. Какіе у васъ грѣхи...

Гаевъ (*кладетъ въ ротъ леденецъ*). Говорятъ, что я все свое состояніе проѣлъ на леденцахъ...

Любовь Андреевна. О, мои грѣхи... Я всегда сорила деньгами безъ удержа, какъ сумасшедшая, и вышла замужъ за человѣка, который дѣлалъ одни только долги. Мужъ мой умеръ отъ шампанскаго, — онъ страшно пилъ, — и на несчастье я полюбила другого, сошлась, и какъ разъ въ это время, — это было первое наказаніе, ударъ прямо въ голову, — вотъ тутъ на рѣкѣ... утонулъ мой мальчикъ, и я уѣхала за границу, совсѣмъ уѣхала, чтобы никогда не возвращаться, не видѣть этой рѣки... Я закрыла глаза, бѣжала, себя не помня, а онъ за мной... безжалостно, грубо. Купила я дачу возлѣ Ментоны, такъ какъ онъ заболѣлъ тамъ, и три года я не знала отдыха ни днемъ ни ночью, больной измучилъ меня, душа моя высохла. А въ прошломъ

году, когда дачу продали за долги, я уѣхала въ Парижъ, и тамъ онъ обобралъ меня, бросилъ, сошелся съ другой, я пробовала отравиться... Такъ глупо, такъ стыдно... И потянуло вдругъ въ Россію, на родину, къ дѣвочкѣ моей... (*Утираетъ слезы*). Господи, Господи, будь милостивъ, прости мнѣ грѣхи мои! Не наказывай меня больше! (*Достаетъ изъ кармана телеграмму*) Получила сегодня изъ Парижа... Просить прощенія, умоляетъ вернуться... (*Ветъ телеграмму*). Словно гдѣ-то музыка. (*Прислушивается*).

Гаевъ. Это нашъ знаменитый еврейскій оркестръ. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабасъ.

Любовь Андреевна. Онъ еще существуетъ? Его бы къ намъ зазвать какъ-нибудь, устроить вечерокъ.

Лопухинъ (*прислушивается*). Не слышать... (*Тихо напеваетъ*) «И за деньги русака нѣмцы офранцузять». (*Смѣется*). Какую я вчера пьесу смотрѣлъ въ театрѣ, очень смѣшно.

Любовь Андреевна. И, навѣрное, ничего нѣтъ смѣшнаго. Вамъ не пьесы смотрѣть, а смотрѣть бы почаще на самихъ себя. Какъ вы всѣ сѣро живете, какъ много говорите ненужнаго.

Лопухинъ. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у насъ дурацкая... (*Пауза*). Мой папаша былъ мужикъ, идиотъ, ничего не понималъ, меня не училъ, а только билъ спяна, и все палкой. Въ сущности, и я такой же болванъ и идиотъ. Ничему не обучался, почеркъ у меня скверный, пишу я такъ, что отъ людей совѣстно, какъ свинья.

Любовь Андреевна. Жениться вамъ нужно, мой другъ.

Лопухинъ. Да... Это правда.

Любовь Андреевна. На нашей бы Варѣ. Она хорошая дѣвушка.

Лопухинъ. Да.

Любовь Андреевна. Она у меня изъ простыхъ, работаетъ цѣлый день, а главное, васъ любитъ. Да и вамъ-то давно нравится.

Лопухинъ. Чтѣ же? Я не прочь... Она хорошая дѣвушка. (*Пауза*).

Гаевъ. Мнѣ предлагаютъ мѣсто въ банкѣ. Шестъ тысячъ въ годъ... Слышала?

Любовь Андреевна. Гдѣ тебѣ! Сиди ужъ...

Фирсъ *входитъ; онъ принесъ пальто*.

Фирсъ (*Гаеву*). Извольте, сударь, надѣть, а то сыро.

Гаевъ (*надѣваетъ пальто*). Надоѣлъ ты, братъ.

Фирсь. Нечего тамъ... Утромъ уѣхали, не сказавшись.
(*Оглядываетъ его*).

Любовь Андреевна. Какъ ты постарѣлъ, Фирсь!

Фирсь. Чего изволите?

Лопахинъ. Говорятъ, ты постарѣлъ очень!

Фирсь. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаша еще на свѣтъ не было... (*Смѣется*). А воля вышла, я уже старшимъ камердинеромъ былъ. Тогда я не согласился на волю, остался при господахъ... (*Пауза*). И помню, всѣ рады, а чему рады, и сами не знаютъ.

Лопахинъ. Прежде очень хорошо было. По крайней мѣрѣ, драли.

Фирсь (*не разслышавъ*). А еще бы. Мужики при господахъ, господа при мужикахъ, а теперь всѣ враздробь, не поймешь ничего.

Гаевъ. Помолчи, Фирсь. Завтра мнѣ нужно въ городъ. Обѣщали познакомить съ однимъ генераломъ, который можетъ дать подъ вексель.

Лопахинъ. Ничего у васъ не выйдетъ. И не заплатите вы процентовъ, будьте покойны.

Любовь Андреевна. Это онъ бредитъ. Никакихъ генераловъ нѣтъ.

Входятъ Трофимовъ, Аня и Варя.

Гаевъ. А вотъ и наши идутъ.

Аня. Мама сидитъ.

Любовь Андреевна (*нѣжно*). Идп, иди... Родныя мои... (*Обнимая Аню и Варю*) Если бы вы обѣ знали, какъ я васъ люблю. Садитесь рядомъ, вотъ такъ. (*Всѣ усаживаются*).

Лопахинъ. Нашъ вѣчный студентъ все съ барышнями ходитъ.

Трофимовъ. Не ваше дѣло.

Лопахинъ. Ему 50 лѣтъ скоро, а онъ все еще студентъ.

Трофимовъ. Оставьте ваши дурацкія шутки.

Лопахинъ. Чтò же ты, чудакъ, сердисься?

Трофимовъ. А ты не приставай.

Лопахинъ (*смѣется*). Позвольте васъ спросить, какъ вы обо мнѣ понимаете?

Трофимовъ. Я, Ермолай Алексѣичъ, такъ понимаю: вы богатый человѣкъ, будете скоро миллионеромъ. Вотъ какъ зъ смыслѣ обмена веществъ нуженъ хищный звѣрь, который съѣдаетъ все, чтò попадется ему на пути, такъ и ты нуженъ. (*Всѣ смѣются*).

Варя. Вы, Петя, расскажите лучше о планетахъ.

Любовь Андреевна. Нѣтъ, давайте, продолжимъ вчерашній разговоръ.

Трофимовъ. О чемъ это?

Гаевъ. О гордомъ человѣкѣ.

Трофимовъ. Мы вчера говорили долго, но ни къ чему не пришли. Въ гордомъ человѣкѣ, въ вашемъ смыслѣ, есть что-то мистическое. Быть-можетъ, вы и правы по-своему, но если разсуждать попросту, безъ затѣй, то какая тамъ гордость, есть ли въ ней смыслъ, если человѣкъ физиологически устроенъ неважно, если въ своемъ громадномъ большинствѣ онъ грубъ, неуменъ, глубоко несчастливъ. Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать.

Гаевъ. Все равно умрешь.

Трофимовъ. Кто знаетъ? И что значитъ—умрешь? Быть можетъ, у человѣка сто чувствъ, и со смертью погибаютъ только пять, извѣстныхъ намъ, а остальные девяносто пять остаются живы.

Любовь Андреевна. Какой вы умный, Петя!..

Лопухинъ (*иронически*). Страсть!

Трофимовъ. Человѣчество идетъ впередъ, совершенствуя свои силы. Все, что недосыгаемо для него теперь, когда-нибудь станетъ близкимъ, понятнымъ, только вотъ надо работать, помогать всѣми силами тѣмъ, кто ищетъ истину. У насъ, въ Россіи, работаютъ пока очень немногіе. Громадное большинство той интеллигенціи, какую я знаю, ничего не ищетъ, ничего не дѣлаетъ и къ труду пока неспособно. Называютъ себя интеллигенціей, а прислугѣ говорятъ «ты», съ мужиками обращаются, какъ съ животными, учатся плохо, серьезно ничего не читаютъ, ровно ничего не дѣлаютъ, о наукахъ только говорятъ, въ искусствѣ понимаютъ мало. Всѣ серьезны, у всѣхъ строгія лица, - всѣ говорятъ только о важномъ, философствуютъ, а между тѣмъ громадное большинство изъ насъ, девяносто девять изъ ста, живутъ, какъ дикари, чуть что—сейчасъ зуботычина, брань, ѣдятъ отвратительно, спятъ въ грязи, въ духотѣ, вездѣ клопы, смрадъ, сырость, нравственная нечистота... И, очевидно, всѣ хорошіе разговоры у насъ для того только, чтобы отвести глаза себѣ и другимъ. Укажите мнѣ, гдѣ у насъ ясли, о которыхъ говорятъ такъ много и часто, гдѣ читальни? О нихъ только въ романахъ пишутъ, на дѣлѣ же ихъ нѣтъ совсѣмъ. Есть только грязь, пошлость, азіатчина... Я боюсь и не люблю очень серьез-

ныхъ фizioномій, боюсь серьезныхъ разговоровъ. Лучше помолчимъ!

Лопахинъ. Знаете, я встаю въ пятомъ часу утра, работаю съ утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужія, и я вижу, какіе кругомъ люди. Надо только начать дѣлать что-нибудь, чтобы понять, какъ мало честныхъ, порядочныхъ людей. Иной разъ, когда не спится, я думаю: «Господи, Ты далъ намъ громадныя лѣса, необъятныя поля, глубочайшіе горизонты, и, живя тутъ, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...»

Любовь Андреевна. Вамъ понадобились великаны... Они только въ сказкахъ хороши, а такъ они пугаютъ.

Въ глубинѣ сцены проходитъ Епиходовъ и играетъ на гитарѣ.

Любовь Андреевна (*задумчиво*). Епиходовъ идетъ...

Аня (*задумчиво*). Епиходовъ идетъ.

Гаевъ. Солнце сѣло, господа.

Трофимовъ. Да.

Гаевъ (*негромко, какъ бы декламируя*). О, природа, дивная, ты блещешь вѣчнымъ сіяніемъ, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называемъ матерью, сочетаешь въ себѣ бытіе и смерть, ты живишь и разрушаешь...

Варя (*умоляюще*). Дядечка!

Аня. Дядя, ты опять!

Трофимовъ. Вы лучше желтаго въ середину дуплетомъ.

Гаевъ. Я молчу, молчу.

Всѣ сидятъ, задумались. Тишина. Слышно только, какъ тихо бормочетъ Фирсъ. Вдругъ раздается отдаленный звукъ, точно съ неба, звукъ лопнувшей струны, замирающій, печальный.

Любовь Андреевна. Это что?

Лопахинъ. Не знаю. Гдѣ-нибудь далеко въ шахтахъ сорвалась бадья. Но гдѣ-нибудь очень далеко.

Гаевъ. А можетъ-быть, птица какая-нибудь... въ родѣ цапли.

Трофимовъ. Или филинъ...

Любовь Андреевна (*вздрагиваетъ*). Неприятно почему-то. (*Пауза*).

Фирсъ. Передъ несчастьемъ то же было: и сова кричала и самоваръ гудѣлъ безперечь.

Гаевъ. Передъ какимъ несчастьемъ?

Фирсъ. Передъ волей. *(Пауза)*.

Любовь Андреевна. Знаете, друзья, пойдемте, уже вечерѣтъ. *(Аня)* У тебя на глазахъ слезы... Чтò ты, дѣвочка? *(Обнимаетъ ее)*.

Аня. Это такъ, мама. Ничего.

Трофимовъ. Кто-то идетъ.

Показывается Прохожій въ бѣлой потасканной фуражкѣ, въ пальто; онъ слегка пьянъ.

Прохожій. Позвольте васъ спросить, могу ли я пройти здѣсь прямо на станцію?

Гаевъ. Можете. Идите по этой дорогѣ.

Прохожій. Чувствительно вамъ благодаренъ. *(Кашлянувъ)* Погода превосходная... *(Декламируетъ)* Братъ мой, страдающій братъ... Выдь на Волгу, чей стонъ... *(Варя)* Мадемуазель, позвольте голодному россянину коечекъ тридцать...

Варя испугалась, вскрикиваетъ.

Лопехинъ *(сердито)*. Всякому безобразію есть свое приличіе.

Любовь Андреевна *(оторопѣвъ)*. Возьмите... вотъ вамъ... *(Ищетъ въ портмонѣ)* Серебра нѣтъ... Все равно, вотъ вамъ золотой...

Прохожій. Чувствительно вамъ благодаренъ! *(Уходитъ)*.

Смѣхъ.

Варя *(испуганная)*. Я уйду... я уйду... Ахъ, мамочка, дома людямъ ѣсть нечего, а вы ему отдали золотой.

Любовь Андреевна. Чтò жъ со мной, глупой, дѣлать! Я тебѣ дома отдамъ все, чтò у меня есть. Ермолай Алексѣичъ, дадите мнѣ еще взаймы!..

Лопехинъ. Слушаю.

Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора. А тугъ, Варя, мы тебя совсѣмъ просватали, поздравляю.

Варя *(сквозь слезы)*. Этимъ, мама, шутить нельзя.

Лопехинъ. Охмелія, иди въ монастырь...

Гаевъ. А у меня дрожать руки: давно не игралъ на бильярдѣ.

Лопехинъ. Охмелія, о, нимфа, помини меня въ твоихъ молитвахъ!

Любовь Андреевна. Идемте, господа. Скоро ужинать.

Варя. Напугалъ онъ меня. Сердце такъ и стучить.

Лопехинъ. Напоминаю вамъ, господа: 22-го августа бу-

детъ продаваться вишневыи садъ. Думайте объ этомъ!.. Думайте!..

Уходятъ всѣ, кромѣ Трофимова и Ани.

Аня (*смысь*). Спасибо прохожему, напугалъ Варю, теперь мы одни.

Трофимовъ. Варя боится, а вдругъ мы полюбимъ другъ друга, и цѣлые дни не отходить отъ насъ. Она своей узкой головой не можетъ понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и прозрачное, что мѣшаетъ быть свободнымъ и счастливымъ, вотъ цѣль и смыслъ нашей жизни. Впередъ! Мы идемъ неудержимо къ яркой звѣздѣ, которая горитъ тамъ вдали! Впередъ! Не отставай, друзья!

Аня (*всплескивая руками*). Какъ хорошо вы говорите! (*Пауза*). Сегодня здѣсь дивно!

Трофимовъ. Да, погода удивительная.

Аня. Что вы со мной сдѣлали, Петя, отчего я уже не люблю вишневаго сада, какъ прежде. Я любила его такъ нѣжно, мнѣ казалось, на землѣ нѣтъ лучше мѣста, какъ нашъ садъ.

Трофимовъ. Вся Россія нашъ садъ. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесныхъ мѣстъ. (*Пауза*). Подумайте, Аня: вашъ дѣдъ, прадѣдъ и всѣ ваши предки были крѣпостники, владѣвшіе живыми душами, и неужели съ каждой вишни въ саду, съ cadaго листка, съ cadaго ствола не глядятъ на васъ человѣческія существа, неужели вы не слышите голосовъ... О, это ужасно, садъ вашъ страшенъ, и когда вечеромъ или ночью проходишь по саду, то старая кора на деревьяхъ отсвѣчиваетъ тускло, и, кажется, вишневые деревья видятъ во снѣ то, что было сто, двѣсти лѣтъ назадъ, и тяжелыя видѣнія томятъ ихъ. Что говорить! Мы отстали, по крайней мѣрѣ, лѣтъ на двѣсти, у насъ нѣтъ еще ровно ничего, нѣтъ опредѣленнаго отношенія къ прошлому, мы только философствуемъ, жалуемся на тоску или пьемъ водку. Вѣдь такъ ясно: чтобы начать жить въ настоящемъ, надо сначала искупить наше прошлое, покончить съ нимъ, а искупить его можно только страданіемъ, только необычайнымъ, непрерывнымъ трудомъ. Поймите это, Аня.

Аня. Домъ, въ которомъ мы живемъ, давно уже не нашъ домъ, и я уйду, даю вамъ слово.

Трофимовъ. Если у васъ есть ключи отъ хозяйства, то бросьте ихъ въ колодець и уходите. Будьте свободны, какъ вѣтеръ.

Аня (*съ восторгъ*). Какъ хорошо вы сказали!

Трофимовъ. Вѣрьте мнѣ, Аня, вѣрьте! Мнѣ еще нѣтъ тридцати, я молодецъ, я еще студентъ, но я уже столько вынесъ! Какъ зима, такъ я голоденъ, боленъ, встревоженъ, бѣденъ, какъ нищій, и—куда только судьба ни гоняла меня, гдѣ я только ни былъ! И все же душа моя всегда, во всякую минуту и днемъ и ночью, была полна неизъяснимыхъ предчувствій. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его...

Аня (*задумчиво*). Восходитъ луна.

Слышно, какъ Епиходовъ играетъ на гитарѣ все ту же грустную тѣню. Восходитъ луна. Гдѣ-то около тополей Варя ищетъ Аню и зоветъ: «Аня! Гдѣ ты?»

Трофимовъ. Да, восходитъ луна. (*Пауза*). Вотъ оно, счастье, вотъ оно идетъ, подходитъ все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидимъ, не узнаемъ его, то что за бѣда? Его увидятъ другіе!

Голосъ Вари. Аня! Гдѣ ты?

Трофимовъ. Опять эта Варя! (*Сердито*) Возмутительно! Аня. Что жъ? Пойдемте къ рѣкѣ. Тамъ хорошо.

Трофимовъ. Пойдемте. (*Идутъ*).

Голосъ Вари. Аня! Аня!

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Гостиная, отдѣленная аркой отъ залы. Горитъ люстра. Слышно, какъ въ передней играетъ еврейскій оркестръ, тотъ самый, о которомъ упоминается во II дѣйствіи. Вечеръ. Въ залѣ танцуютъ grand rond. Голосъ Симеонова-Пищика: «Promenade à une paire!». Выходятъ въ гостиную: въ первой парѣ Пищикъ и Шарлотта Ивановна, во второй—Трофимовъ и Любовь Андреевна, въ третьей — Аня съ почтовымъ чиновникомъ, въ четвертой — Варя съ начальникомъ станціи и т. д. Варя тихо плачетъ и, танцуя, утираетъ слезы. Въ послѣдней парѣ Дуныша. Идутъ по гостиной, Пищикъ кричитъ:—«Grand rond, balancez!» и «Les cavaliers à genou et remerciez vos dames!»

Фирсъ со фракъ приноситъ на подносѣ сельтерскую воду.

Входятъ въ гостиную Пищикъ и Трофимовъ.

Пищикъ. Я полнокровный, со мной уже два раза ударъ былъ, танцовать трудно, но, какъ говорится, попалъ въ

стаю, лай не лай, а хвостомъ виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутникъ, царство небесное, насчетъ нашего происхожденія говорилъ такъ, будто древнїй родъ нашъ Симеоновыхъ-Пищиковъ происходитъ будто бы отъ той самой лошади, которую Калигула посадилъ въ сенатъ... *(Садится)*. Но вотъ бѣда: денегъ нѣтъ! Голодная собака вѣруеть только въ мясо... *(Храпитъ и тотчасъ же просыпается)*. Такъ и я... могу только про деньги...

Трофимовъ. А у васъ въ фигурѣ въ самомъ дѣлѣ есть что-то лошадиное.

Пищикъ. Чтò жъ... лошадь хорошїй звѣрь... лошадь продать можно...

Слышно, какъ въ сосѣдней комнатѣ играютъ на бильярдѣ. Въ залъ подѣ аркой показывается Варя.

Трофимовъ *(Оразнитъ)*. Мадамъ Лопахина! Мадамъ Лопахина!..

Варя *(сердито)*. Облѣзлый баринъ!

Трофимовъ. Да, я облѣзлый баринъ и горжусь этимъ!

Варя *(въ иорькомъ раздумь)*. Вотъ наняли музыкантовъ, а чѣмъ платить? *(Уходитъ)*.

Трофимовъ *(Пищику)*. Если бы энергїя, которую вы въ теченїе всей вашей жизни затратили на поиски денегъ для уплаты процентовъ, пошла у васъ на что-нибудь другое, то, вѣроятно, въ концѣ концовъ вы могли бы перевернуть землю.

Пищикъ. Ницше... философъ... величайшїй, знаменитѣйшїй... громаднаго ума человекъ, говоритъ въ своихъ сочиненїяхъ, будто фальшивыя бумажки дѣлать можно.

Трофимовъ. А вы читали Ницше?

Пищикъ. Ну... Мнѣ Дашенька говорила. А я теперь въ такомъ положенїи, что хоть фальшивыя бумажки дѣлай... Послѣзавтра 310 рублей платить... 130 уже досталь... *(Ощупываетъ карманы, встревоженно)* Деньги пропали! Потерялъ деньги! *(Сквозь слезы)* Гдѣ деньги? *(Радостно)* Вотъ онѣ, за подкладкой... Даже въ потъ ударило...

Входятъ Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна.

Любовь Андреевна *(напѣваетъ лезгинку)*. Отчего такъ долго нѣтъ Леонида? Чтò онъ дѣлаетъ въ городѣ? *(Дуняшѣ)* Дуняша, предложите музыкантамъ чаю...

Трофимовъ. Торги не состоялись, по всеї вѣроятности.

Любовь Андреевна. И музыканты пришли некстати, и балъ мы затѣяли некстати... Ну, ничего... (*Садится и тихо напѣваетъ*).

Шарлотта (*подаетъ Пищичку колоду картъ*). Вотъ вамъ колода картъ, задумайте какую-нибудь одну карту.

Пищичъ. Задумалъ.

Шарлотта. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда, о, мой милый господинъ Пищичъ. Ein, zwei, drei! Теперь поищите, она у васъ въ боковомъ карманѣ...

Пищичъ (*достаетъ изъ бокового кармана карту*). Восьмерка пикъ, совершенно вѣрно! (*Удивляясь*) Вы подумайте!

Шарлотта (*держитъ на ладони колоду картъ, Трофимову*). Говорите скорѣе, какая карта сверху?

Трофимовъ. Чтò жъ? Ну, дама пикъ.

Шарлотта. Есть! (*Пищичу*) Ну? Какая карта сверху?

Пищичъ. Тузъ червовый.

Шарлотта. Есть!.. (*Бьетъ по ладони, колода картъ исчезаетъ*). А какая сегодня хорошая погода! (*Ей отвѣчаетъ таинственный женскій голосъ, точно изъ-подъ пола: «О, да, погода великолѣпная, сударыня»*). Вы такой хорошій мой идеаль... (*Голосъ: «Вы, сударыня, мнѣ тоже очень понравился»*).

Начальникъ станціи (*аклодируетъ*). Госпожа чревовѣщательница, bravo!

Пищичъ (*удивляясь*). Вы подумайте! Очаровательнѣйшая Шарлотта Ивановна... я просто влюбленъ...

Шарлотта. Влюбленъ? (*Пожавъ плечами*) Развѣ вы можете любить? Guter Mensch, aber schlechter Musikant.

Трофимовъ (*хлопаетъ Пищича по плечу*). Лошадь вы этакая...

Шарлотта. Прошу вниманія, еще одинъ фокусъ. (*Беретъ со стула пледъ*) Вотъ очень хорошій пледъ, я желаю продавать... (*Встряхиваетъ*) Не желаетъ ли кто покушать?

Пищичъ (*удивляясь*). Вы подумайте!

Шарлотта. Ein, zwei, drei! (*Быстро поднимаетъ опущенный пледъ; за пледомъ стоитъ Аня; она дѣлаетъ реверансъ, бѣжитъ къ матери, обнимаетъ ее и убѣгаетъ назадъ въ залу при общемъ восторгѣ*).

Любовь Андреевна (*аплодируетъ*). Bravo, bravo!..

Шарлотта. Теперь еще! Ein, zwei, drei! (*Поднимаетъ пледъ; за пледомъ стоитъ Варя и кланяется*).

Пищичъ (*удивляясь*). Вы подумайте!

Шарлотта. Конецъ! *(Бросаетъ пледъ на Пищика, дѣлаетъ реверансъ и убѣгаетъ въ залу).*

Пищикъ *(спѣшитъ за ней).* Злодѣйка... какова? Какова? *(Уходитъ).*

Любовь Андреевна. А Леонида все нѣтъ. Чтѣ онъ дѣлаетъ въ городѣ такъ долго, не понимаю! Вѣдь все уже кончено тамъ, имѣнїе продано, или торги не состоялись, зачѣмъ же такъ долго держать въ невѣдѣнїи!

Варя *(стараясь ее утѣшить).* Дядечка купилъ, я въ этомъ увѣрена.

Трофимовъ *(насмѣливо).* Да.

Варя. Бабушка прислала ему довѣренность, чтобы онъ купилъ на ея имя съ переводомъ долга. Это она для Ани. И я увѣрена, Богъ поможетъ, дядечка купить.

Любовь Андреевна. Ярославская бабушка прислала пятнадцать тысячъ, чтобы купить имѣнїе на ея имя, — намъ она не вѣритъ,—а этихъ денегъ не хватило бы даже проценты заплатить. *(Закрываетъ лицо руками).* Сегодня судьба моя рѣшается, судьба...

Трофимовъ *(дразнитъ Варю).* Мадамъ Лопахина!

Варя *(сердито).* Вѣчный студентъ! Уже два раза увольняли изъ университета.

Любовь Андреевна. Чтѣ же ты сердишься, Варя? Онъ дразнить тебя Лопахинымъ, ну чтѣ жъ? Хочешь — выходи за Лопахина, онъ хорошій, интересный человѣкъ. Не хочешь—не выходи: тебя, дуся, никто не неволить...

Варя. Я смотрю на это дѣло серьезно, мамочка, надо прямо говорить. Онъ хорошій человѣкъ, мнѣ нравится.

Любовь Андреевна. И выходи. Чтѣ же ждать, не понимаю!

Варя. Мамочка, не могу же я сама дѣлать ему предложенїе. Вотъ уже два года всѣ мнѣ говорятъ про него, всѣ говорятъ, а онъ или молчитъ, или шутитъ. Я понимаю. Онъ богатѣетъ, займать дѣломъ, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я все, ушла бы подальше. Въ монастырь бы ушла.

Трофимовъ. Благодѣнїе!

Варя *(Трофимову).* Студенту надо быть умнымъ! *(Мяжкимъ тономъ, со слезами)* Какой вы стали некрасивый, Петя, какъ постарѣли! *(Любови Андреевнѣ, уже не плача)* Только вотъ безъ дѣла не могу, мамочка. Мнѣ каждую минуту надо что-нибудь дѣлать.

Входитъ Яша.

Яша (*едва удерживаясь отъ смѣха*). Епиходовъ бильярдный кій сломалъ!.. (*Уходитъ*).

Варя. Зачѣмъ же Епиходовъ здѣсь? Кто ему позволилъ на бильярдѣ играть? Не понимаю этихъ людей... (*Уходитъ*).

Любовь Андреевна. Не дразните ее, Петя, вы видите, она и безъ того въ горѣ.

Трофимовъ. Ужъ очень она усердная, не въ свое дѣло суется. Все лѣто не давала покоя ни мнѣ ни Анѣ, боялась, какъ бы у насъ романа не вышло. Какое ей дѣло? И къ тому же я вида не подавалъ, я такъ далеко отъ пошлости. Мы выше любви!

Любовь Андреевна. А я вотъ, должно-быть, ниже любви. (*Въ сильномъ безпокойствѣ*) Отчего нѣтъ Леонида? Только бы знать: продано имѣнiе или нѣтъ? Несчастье представляется мнѣ до такой степени невѣроятнымъ, что даже какъ-то не знаю, что думать, теряюсь... Я могу сейчасъ крикнуть... могу глупость сдѣлать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите...

Трофимовъ. Продано ли сегодня имѣнiе или не продано— не все ли равно? Съ нимъ давно уже покончено, нѣтъ поворота назадъ, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть разъ въ жизни взглянуть правдѣ прямо въ глаза.

Любовь Андреевна. Какой правдѣ? Вы видите, гдѣ правда и гдѣ неправда, а я точно потеряла зрѣнiе, ничего не вижу. Вы смѣло рѣшаете всѣ важные вопросы, но скажите, голубчикъ, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успѣли перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смѣло смотрите впередъ, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшнаго, такъ какъ жизнь еще скрыта отъ вашихъ молодыхъ глазъ? Вы смѣлѣе, честнѣе, глубже насъ, но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на кончикѣ пальца, пощадите меня. Вѣдь я родилась здѣсь, здѣсь жили мои отецъ и мать, мой дѣдъ, я люблю этотъ домъ, безъ вишневаго сада я не понимаю своей жизни, и если ужъ такъ нужно продавать, то продавайте и меня вмѣстѣ съ садомъ... (*Обнимаетъ Трофимова, цѣлуетъ его въ лобъ*). Вѣдь мой сынъ утонулъ здѣсь... (*Плачетъ*). Пожалуйте меня, хороший, добрый человекъ.

Трофимовъ. Вы знаете, я сочувствую всей душой.

Любовь Андреевна. Но надо иначе, иначе это сказать... (*Вынимаетъ платокъ, на полъ падаетъ телеграмма*). У меня сегодня тяжело на душѣ, вы не можете себѣ пред-

ставить. Здѣсь мнѣ шумно, дрожить душа отъ каждаго звука, я вся дрожу, а уйти къ себѣ не могу, мнѣ одной въ тишинѣ страшно. Не осуждайте меня, Петя... Я васъ люблю, какъ родного. Я охотно бы отдала за васъ Аню, клянусь вамъ, только, голубчикъ, надо же учиться, надо курсъ кончить. Вы ничего не дѣлаете, только судьба бросаетъ васъ съ мѣста на мѣсто, такъ это странно... Не правда ли? Да? И надо же что-нибудь съ бородой сдѣлать, чтобы она росла какъ-нибудь... *(Смѣется)*. Смѣшной вы!

Трофимовъ *(поднимаетъ телеграмму)*. Я не желаю быть красавцемъ.

Любовь Андреевна. Это изъ Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера и сегодня. Этотъ дикій человекъ опять заболѣлъ, опять съ нимъ нехорошо... Онъ проситъ прощенія, умоляетъ прїѣхать, и по-настоящему мнѣ слѣдовало бы съѣздить въ Парижъ, nobyть возлѣ него. У васъ, Петя, строгое лицо, но что же дѣлать, голубчикъ мой, что мнѣ дѣлать, онъ боленъ, онъ одинокъ, несчастливъ, а кто тамъ поглядитъ за нимъ, кто удержитъ его отъ ошибокъ, кто дастъ ему въ-время лѣкарство? И что жъ тутъ скрывать или молчать, я люблю его, это ясно. Люблю, люблю... Это камень на моей шеѣ, я иду съ нимъ на дно, но я люблю этотъ камень и жить безъ него не могу. *(Жметъ Трофимову руку)*. Не думайте дурно, Петя, не говорите мнѣ ничего, не говорите...

Трофимовъ *(сквозь слезы)*. Простите за откровенность Бога ради: вѣдь онъ обобралъ васъ!

Любовь Андреевна. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, не надо говорить такъ... *(Закрываетъ уши)*.

Трофимовъ. Вѣдь онъ негодяй, только вы одна не знаете этого! Онъ мелкій негодяй, ничтожество...

Любовь Андреевна *(разсердившись, но сдержанно)*. Вамъ 26 лѣтъ или 27, а вы все еще гимназистъ второго класса!

Трофимовъ. Пусть!

Любовь Андреевна. Надо быть мужчиной, въ ваши годы надо понимать тѣхъ, кто любить. И надо самому любить... надо влюбляться! *(Сердито)* Да, да! И у васъ нѣтъ чистоты, а вы просто чистюлька, смѣшной чудакъ, уродъ...

Трофимовъ *(въ ужасъ)*. Что она говоритъ!

Любовь Андреевна. «Я выше любви!» Вы не выше любви, а просто, какъ вотъ говоритъ нашъ Фирсъ, вы недотепа. Въ ваши годы не имѣть любовницы!..

Трофимовъ *(въ ужасъ)*. Это ужасно! Что она говоритъ?!

(Идетъ быстро въ залу, схвативъ себя за голову). Это ужасно... Не могу, я уйду... (Уходитъ, но тотчасъ же возвращается). Между нами все кончено! (Уходитъ въ переднюю).

Любовь Андреевна *(кричитъ вслѣдъ)*. Петя, погодите! Смѣшной человѣкъ, я пошутила! Петя!

Слышно, какъ въ передней кто-то быстро идетъ по лѣстницѣ и вдругъ съ грохотомъ падаетъ внизъ. Аня и Варя вскрикиваютъ, но тотчасъ же слышится смѣхъ.

Любовь Андреевна. Чтò тамъ такое?

Вбѣгаетъ Аня.

Аня *(смѣясь)*. Петя съ лѣстницы упалъ! *(Убѣгаетъ)*.

Любовь Андреевна. Какой чудакъ этотъ Петя...

Начальникъ станціи останавливается среди залы и читаетъ «Грѣшницу» А. Толстого. Его слушаютъ, но едва онъ прочелъ нѣсколько строкъ, какъ изъ передней доносятся звуки вальса, и чтеніе обрывается. Въ танцуютъ. Проходятъ изъ передней Трофимовъ, Аня, Варя и Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Ну, Петя... ну, чистая душа... я прощенья прошу... Пойдемте танцовать... *(Танцуетъ съ Петей)*.

Аня и Варя танцуютъ.

Фирсъ входитъ, ставитъ свою палку около боковой двери. Яша тоже вошелъ изъ гостиной, смотритъ на танцы.

Яша. Чтò, дѣдушка?

Фирсъ. Нездоровится. Прежде у насъ на балахъ танцовали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаемъ за почтовымъ чиновникомъ и начальникомъ станціи, да и тѣ не въ охотку идутъ. Чтò-то ослабѣлъ я. Баринъ покойный, дѣдушка, всѣхъ сургучомъ пользовалъ, отъ всѣхъ болѣзней. Я сургучъ принимаю каждый день уже лѣтъ двадцать, а то и больше; можетъ, я отъ него и живъ.

Яша. Надоѣлъ ты, дѣдъ. *(Зѣваетъ)*. Хоть бы ты поскорѣ подохъ.

Фирсъ. Эхъ, ты... недотепя! *(Бормочетъ)*.

Трофимовъ и Любовь Андреевна танцуютъ въ залу, потомъ въ гостиную.

Любовь Андреевна. Мерсі. Я посижу... *(Садится)*. Устала.

Входитъ Аня.

Аня *(взволнованно)*. А сейчасъ на кухнѣ какой-то человѣкъ говорилъ, что вишневый садъ уже проданъ сегодня.

Любовь Андреевна. Кому проданъ?

Аня. Не сказалъ, кому. Ушелъ. (*Танцуетъ съ Трофимовымъ, оба уходятъ въ залу*).

Яша. Это тамъ какой-то старикъ болталъ. Чужой.

Фирсъ. А Леонида Андренча еще иѣтъ, не приѣхалъ. Пальто на немъ легкое, демисезонъ, того гляди простудится. Эхъ, молодо-зелено!

Любовь Андреевна. Я сейчасъ умру. Подите, Яша, узнайте, кому продано.

Яша. Да онъ давно ушелъ, старикъ-то. (*Смѣется*).

Любовь Андреевна (*съ легкой досадою*). Ну, чему вы смѣетесь? Чему рады?

Яша. Очень ужъ Елиходовъ смѣшной. Пустой человѣкъ. Двадцать два несчастья.

Любовь Андреевна. Фирсъ, если продадутъ имѣніе, то куда ты пойдешь?

Фирсъ. Куда прикажете, туда и пойду.

Любовь Андреевна. Отчего у тебя лицо такое? Ты нездоровъ? Шелъ бы, знаешь, спать...

Фирсъ. Да... (*Съ усмѣшкой*) Я уйду спать, а безъ меня тутъ кто подастъ, кто распорядится? Одинъ на весь домъ.

Яша (*Любови Андреевнѣ*). Любовь Андреевна! Позвольте обратиться къ вамъ съ просьбой, будьте такъ добры! Если опять поѣдете въ Парижъ, то возьмите меня съ собой, сдѣлайте милость. Здѣсь мнѣ оставаться положительно невозможно. (*Оглядываясь, спомолоса*) Чтò жъ тамъ говорить, вы сами видите, страна необразованная, народъ безнравственный, при томъ скука, на кухнѣ кормятъ безобразно, а тутъ еще Фирсъ этотъ ходитъ, бормочетъ разными неподходящими слова. Возьмите меня съ собой, будьте такъ добры!

Входитъ Пищикъ.

Пищикъ. Позвольте просить васъ... на вальсишку, прекраснѣйшая... (*Любовь Андреевна идетъ съ нимъ*). Очаровательная, все-таки 180 рубликовъ я возьму у васъ... Возьму... (*Танцуетъ*). 180 рубликовъ... (*Перешли въ залу*).

Яша (*тихо напѣваетъ*). «Поймешь ли ты души моей волненье...»

Въ залъ фигура въ сюрткѣ цилиндръ и въ клѣтчатыхъ панталонахъ машетъ руками и прыгаетъ; крики: «Браво, Шарлотта Ивановна!»

Дуняша (*остановилась, чтобы пошуррнуться*). Барышня

велитъ мнѣ танцовать—кавалеровъ много, а дамъ мало,— а у меня отъ танцевъ кружится голова, сердце бьется, Фирсъ Николаевичъ, а сейчасъ чиновникъ съ почты такое мнѣ сказалъ, что у меня дыханіе захватило.

Музыка стихаетъ.

Фирсъ. Что онъ тебѣ сказалъ?

Дуняша. Вы, говорить, какъ цвѣтокъ.

Яша (*звываетъ*). Невѣжество... (*Уходитъ*).

Дуняша. Какъ цвѣтокъ... Я такая деликатная дѣвушка, ужасно люблю нѣжныя слова.

Фирсъ. Закрутишься ты.

Входитъ Епиходовъ.

Епиходовъ. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видѣть... какъ будто я какое насккомое. (*Вздыхаетъ*) Эхъ, жизнь!

Дуняша. Что вамъ угодно?

Епиходовъ. Несомнѣнно, можетъ, вы и правы. (*Вздыхаетъ*). Но, конечно, если взглянуть съ точки зрѣнія, то вы, позволю себѣ такъ выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня въ состояніе духа. Я знаю свою фортуна, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и къ этому я давно уже привыкъ, такъ что съ улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы дали мнѣ слово, и хотя я...

Дуняша. Прошу васъ, послѣ поговоримъ, а теперь оставьте меня въ покоѣ. Теперь я мечтаю. (*Ираетъ впередъ*).

Епиходовъ. У меня несчастье каждый день, и я, позволю себѣ такъ высказаться, только улыбаюсь, даже смѣюсь.

Входитъ изъ залы Варя.

Варя. Ты все еще не ушелъ, Семень? Какой же ты, право, неуважительный человекъ. (*Дуняша*) Ступай отсюда,

Дуняша. (*Епиходову*) То на бильярдѣ играешь и кій сломалъ, то по гостинной расхаживаешь, какъ гость.

Епиходовъ. Съ меня взыскивать, позвольте вамъ выразиться, вы не можете.

Варя. Я не взыскиваю съ тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь съ мѣста на мѣсто, а дѣломъ не занимаешься. Конторщика держимъ, а неизвѣстно—для чего.

Епиходовъ (*обиженно*). Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярдѣ, про то могутъ разсуждать только люди понимающіе и старшіе.

Варя. Ты смѣешь мнѣ говорить это! (*Вспыливъ*) Ты смѣешь? Значитъ, я ничего не понимаю? Убирайся же вонъ отсюда! Сію минуту!

Епиходовъ (*струсиво*). Прошу васъ выражаться деликатнымъ способомъ.

Варя (*выйдя изъ себя*). Сію же минуту вонъ отюда! Вонъ! (*Онъ идетъ къ двери, она за нимъ*). Двадцать два несчастья! Чтобы духу твоего здѣсь не было! Чтобы глаза мои тебя не видѣли! (*Епиходовъ вышелъ; за дверью его голосъ: «Я на васъ буду жаловаться»*). А, ты назадъ идешь? (*Хватаетъ палку, поставленную около двери Фирсомъ*) Иди... Иди... Иди, я тебѣ покажу... А, ты идешь? Идешь? Такъ вотъ же тебѣ... (*Замахивается, въ это время входитъ Лопахинъ*).

Лопахинъ. Покорнѣйше благодарю.

Варя (*сердито и насмѣшливо*). Виновата.

Лопахинъ. Ничего-съ. Покорно благодарю за пріятное угощеніе.

Варя. Не стѣдить благодарности. (*Отходитъ, потомъ оглядывается и спрашиваетъ мяко*) Я васъ не ушибла?

Лопахинъ. Нѣтъ, ничего. Шишка однако вскочить огромная.

Голоса въ залѣ. Лопахинъ пріѣхалъ! Ермолай Алексѣичъ!

Пищикъ. Видомъ видать, слыхомъ слышать... (*Цѣлуется съ Лопахинымъ*). Конячкомъ отъ тебя попахиваетъ, милый мой, душа моя. А мы тутъ тоже веселимся.

Входитъ Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Это вы, Ермолай Алексѣичъ? Отчего такъ долго? Гдѣ Леонидъ?

Лопахинъ. Леонидъ Андреичъ со мной пріѣхалъ, онъ идетъ...

Любовь Андреевна (*волнуясь*). Ну, что? Были торги? Говорите же!

Лопахинъ (*сконфуженно, боясь обнаружить свою радость*). Торги кончились къ четыремъ часамъ... Мы къ поѣзду опоздали, пришлось ждать до половины десятаго. (*Тяжело вздохнувъ*) Уфъ! У меня немножко голова кружится...

Входитъ Гаевъ; въ правой рукѣ у него покурки, лѣвой онъ утираетъ слезы.

Любовь Андреевна. Леня, чтѣ? Леня, ну? (*Нетерпѣливо, со слезами*) Скорѣй же, Бога ради...

Гаевъ (*ничего ей не отвѣчаетъ, только машетъ рукой; Фирсу, плача*). Вотъ возьми... Тутъ анчоусы, керченскія сельди... Я сегодня ничего не ѣлъ... Столько я выстрадалъ! (*Дверь въ бильярдную открыта; слышенъ стукъ шаровъ и голосъ Яши: «Семь и восемнадцать!»*). У Гаева мѣняется

выраженіе, онъ уже не плачетъ). Усталъ я ужасно. Дашь мнѣ, Фирсъ, переодѣться. (*Уходитъ къ себѣ черезъ залу, за нимъ Фирсъ*).

Пищикъ. Что на торгахъ? Разсказывай же!

Любовь Андреевна. Проданъ вишневый садъ?

Лопухинъ. Проданъ.

Любовь Андреевна. Кто купилъ?

Лопухинъ. Я купилъ. (*Пауза*).

Любовь Андреевна удивлена; она упала бы, если бы не стояла возлѣ кресла и стола. Варя снимаетъ съ пояса ключи, бросаетъ ихъ на полъ, посреди гостиной, и уходитъ.

Лопухинъ. Я купилъ! Погодите, господа, сдѣлайте милость, у меня въ головѣ помутилось, говорить не могу... (*Смѣется*). Пришли мы на торги, тамъ уже Деригановъ. У Леонида Андреевича было только пятнадцать тысячъ, а Деригановъ сверхъ долга сразу надавалъ тридцать. Вижу, дѣло такое, я схватился съ нимъ, надавалъ сорокъ. Онъ сорокъ пять. Я пятьдесятъ пять. Онъ, значитъ, по пяти надбавляетъ, я по десяти... Ну, кончилось. Сверхъ долга я надавалъ девяносто, осталось за мной. Вишневый садъ теперь мой! Мой! (*Хохочетъ*). Боже мой, Господи, вишневый садъ мой! Скажите мнѣ, что я пьянъ, не въ своемъ умѣ, что все это мнѣ представляется... (*Топочетъ ногами*). Не смѣйтесь надо мной! Если бы отецъ мой и дѣдъ встали изъ гробовъ и посмотрѣли на все происшествіе, какъ ихъ Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимою босикомъ бѣгалъ, какъ этотъ самый Ермолай купилъ имѣніе, прекраснѣй котораго ничего нѣтъ на свѣтѣ. Я купилъ имѣніе, гдѣ дѣдъ и отецъ были рабами, гдѣ ихъ не пустили даже въ кухню. Я сплю, это только мерещится мнѣ, это только кажется... Это плодъ вашего воображенія, покрытый мракомъ неизвѣстности... (*Поднимаетъ ключи, ласково улыбаясь*). Бросила ключи, хочеть показать, что она ужъ не хозяйка здѣсь... (*Звенитъ ключами*). Ну, да все равно. (*Слышно, какъ настраивается оркестръ*). Эй, музыканты, играйте, я желаю васъ слушать! Приходите всѣ смотрѣть, какъ Ермолай Лопухинъ хватить топоромъ по вишневому саду, какъ упадутъ на землю деревья! Настроимъ мы дачь, и наши внуки и правнуки увидятъ тутъ новую жизнь... Музыка, играй!

Играетъ музыка. Любовь Андреевна опустилась на стулъ и горько плачетъ.

Лопахинъ (съ укоромъ). Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бѣдная моя, хорошая, не вернешь теперь. (Со слезами) О, скорѣ бы все это прошло, скорѣ бы измѣнилась какъ-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь.

Пищикъ (береть его подг-руку, вполголоса). Она плачетъ. Пойдемъ въ залу, пусть она одна... Пойдемъ... (Береть его подг-руку и уводитъ въ залу).

Лопахинъ. Что жъ такое? Музыка, играй отчетливо! Пускай все, какъ я желаю! (Съ ироніей) Идетъ новый помѣщикъ, владѣлецъ вишневаго сада! (Толкнулъ нечаянно столикъ, едва не опрокинулъ канделябры). За все могу заплатить! (Уходитъ съ Пищикомъ).

Въ залъ и гостиной нѣтъ никого, кромъ Любови Андреевны, которая сидитъ, сжалась вся и горько плачетъ. Тихо играетъ музыка. Быстро входятъ Аня и Трофимовъ. Аня подходитъ къ матери и становится передъ ней на колѣни. Трофимовъ остается у входа въ залу.

Аня. Мама!.. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя. Вишневый садъ продавъ, его уже нѣтъ, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая чистая душа... Пойдемъ со мной, пойдемъ, милая, отсюда, пойдемъ!.. Мы насадимъ новый садъ, роскошнѣе этого, ты увидишь его, поймешь, и радость тихая, глубокая радость опустится на твою душу, какъ солнце въ вечерній часъ, и ты улыбнешься, мама! Пойдемъ, милая! Пойдемъ!..

Занавѣсь.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Декорация перваго дѣйствія. Нѣтъ ни занавѣсей на окнахъ, ни картинъ, осталось немного мебели, которая сложена въ одинъ уголь, точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери и въ глубинѣ сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и т. п. Налѣво дверь открыта, оттуда слышны голоса Вари и Ани. Лопахинъ стоитъ, ждетъ. Яша держитъ подносъ со стаканчиками, налитыми шампанскимъ. Въ передней Епиходовъ увязываетъ ящикъ. За сценой въ глубинѣ гулъ. Это пришли прощаться мужики. Голосъ Гаева: „Спасибо, братцы, спасибо вамъ“

Яша. Простой народъ прощаться пришелъ. Я такого мнѣнія, Ермолай Алексѣичъ: народъ добрый, но мало понимаетъ.

Гуль стихаетъ. Входятъ черезъ переднюю Любовь Андреевна и Гаевъ; она не плачетъ, но блѣдна, лицо ея дрожитъ, она не можетъ говорить.

Гаевъ. Ты отдала имъ свой кошелекъ, Люба. Такъ нельзя! Такъ нельзя!

Любовь Андреевна. Я не смогла! Я не смогла! *(Оба уходятъ).*

Лопахинъ *(въ дверь, имъ вслѣдъ)*. Пожалуйста, покорнѣйше прошу! По стаканчику на прощанье. Изъ города не догадался привезть, а на станціи нашелъ только одну бутылку. Пожалуйста! *(Пауза)*. Чтò жъ, господа! Не желаете? *(Отходитъ отъ двери)*. Зналъ бы — не покупалъ. Ну, и я пить не стану. *(Яша осторожно ставитъ подносъ на стулъ)*. Выпей, Яша, хоть ты.

Яша. Съ отъѣзжающими! Счастливо оставаться! *(Пьетъ)*. Это шампанское не настоящее, могу васъ увѣрить.

Лопахинъ. Восемь рублей бутылка. *(Пауза)*. Холодно здѣсь чертовски.

Яша. Не топили сегодня, все равно уѣзжаемъ. *(Смѣется)*.

Лопахинъ. Чтò ты?

Яша. Отъ удовольствія.

Лопахинъ. На дворѣ октябрь, а солнечно и тихо, какъ лѣтомъ. Строятся хорошо. *(Поглядѣвъ на часы, въ дверь)* Господа, имѣйте въ виду, до поѣзда осталось всего 47 минутъ! Значитъ, черезъ 20 минутъ на станцію ѣхать. Поторопливайтесь.

Трофимовъ въ пальто входитъ со двора.

Трофимовъ. Мнѣ кажется, ѣхать уже пора. Лошади поданы. Чортъ его знаетъ, гдѣ мои калоши. Пропали. *(Въ дверь)* Аня, нѣтъ моихъ калошъ! Не нашеть!

Лопахинъ. А мнѣ въ Харьковъ надо. Поѣду съ вами въ одномъ поѣздѣ. Въ Харьковѣ проживу всю зиму. Я все болтался съ вами, замучился безъ дѣла. Не могу безъ работы, не знаю, чтò вотъ дѣлать съ руками; болтаются такъ-то странно, точно чужія.

Трофимовъ. Сейчасъ уѣдемъ, и вы опять приметесь за свой полезный трудъ.

Лопахинъ. Выпей-ка стаканчикъ.

Трофимовъ. Не стану.

Лопахинъ. Значитъ, въ Москву теперь?

Трофимовъ. Да, провожу ихъ въ городъ, а завтра въ Москву.

Лопахинъ. Да... Чтѣ жь, профессора не читають лекцій, небось, все ждуть, когда прїѣдешь!

Трофимовъ. Не твое дѣло.

Лопахинъ. Сколько лѣтъ, какъ ты въ университетѣ учишься?

Трофимовъ. Придумай что-нибудь поновѣе. Это старо и плоско. (*Ищетъ калоши*). Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше, такъ вотъ позволь мнѣ дать тебѣ на прощанье одинъ совѣтъ: не размахивай руками! Отвыкни отъ этой привычки — размахивать. И тоже вотъ строить дачи, рассчитывать, что изъ дачниковъ со временемъ выйдутъ отдѣльные хозяева, рассчитывать такъ — это тоже значить размахивать... Какъ-никакъ, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкіе, нѣжные пальцы, какъ у артиста, у тебя тонкая, нѣжная душа...

Лопахинъ (*обнимаетъ его*). Прощай, голубчикъ. Спасибо за все. Ежели нужно, возьми у меня денегъ на дорогу.

Трофимовъ. Для чего мнѣ? Не нужно.

Лопахинъ. Вѣдь у васъ нѣтъ!

Трофимовъ. Есть. Благодарю васъ. Я за переводъ получилъ. Вотъ онѣ тутъ, въ карманѣ. (*Тревожно*) А калошъ моихъ нѣтъ!

Варя (*изъ другой комнаты*). Возьмите вашу гадость! (*Выбрасываетъ на сцену пару резиновыхъ калошъ*).

Трофимовъ. Чтѣ же вы сердитесь, Варя? Гм... Да это не мои калоши!

Лопахинъ. Я весной посѣялъ маку тысячу десятинъ и теперь заработалъ сорокъ тысячъ чистаго. А когда мой макъ цвѣлъ, чтѣ это была за картина! Такъ вотъ я, говорю, заработалъ сорокъ тысячъ и, значить, предлагаю тебѣ взаймы, потому что могу. Зачѣмъ же носъ драть? Я мужикъ... попросту.

Трофимовъ. Твой отецъ былъ мужикъ, мой — аптекаръ, и изъ этого не слѣдуетъ рѣшительно ничего. (*Лопахинъ вынимаетъ бумажникъ*). Оставь, оставь... Дай мнѣ хоть двѣсти тысячъ, не возьму. Я свободный человѣкъ. И все, чтѣ такъ высоко и дорого цѣните вы всѣ, богатые и нищіе, не имѣетъ надо мной ни малѣйшей власти, вотъ какъ пухъ, который носится по воздуху. Я могу обходиться безъ васъ, я могу проходить мимо васъ, я силенъ и гордъ. Человѣчество идетъ къ высшей правдѣ, къ высшему счастью, какое только возможно на землѣ, и я въ первыхъ рядахъ!

Лопахинъ. Дойдешь?

Трофимовъ. Дойду. *(Пауза)*. Дойду, или укажу другимъ путь, какъ дойти.

Слышно, какъ вдали стучатъ топоромъ по дереву.

Лопахинъ. Ну, прощай, голубчикъ. Пора ѣхать. Мы другъ передъ другомъ носъ деремъ, а жизнь знай себѣ проходить. Когда я работаю подолгу, безъ устали, тогда мысли полегче, и кажется, будто мнѣ тоже извѣстно, для чего я существую. А сколько, братъ, въ Россіи людей, которые существуютъ неизвѣстно для чего. Ну, все равно, циркуляція дѣла не въ этомъ. Леонидъ Андреичъ, говорятъ, принялъ мѣсто, будетъ въ банкѣ, шесть тысячъ въ годъ... Только вѣдь не усидитъ, лѣнивъ очень...

Аня *(въ дверяхъ)*. Мама васъ проситъ: пока она не уѣхала, чтобъ не рубили сада.

Трофимовъ. Въ самомъ дѣлѣ, неужели не хватаетъ такта... *(Уходитъ черезъ переднюю)*.

Лопахинъ. Сейчасъ, сейчасъ... Экіе, право. *(Уходитъ за нимъ)*.

Аня. Фирса отправили въ больницу?

Яша. Я утромъ говорилъ. Отправили, надо думать.

Аня *(Епиходову, который проходитъ черезъ залу)*. Семень Пантелеечъ, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса въ больницу.

Яша *(обиженно)*. Утромъ я говорилъ Егору. Что жъ спрашивать по десяти разъ!

Епиходовъ. Долголѣтній Фирсъ, по моему окончательному мнѣнію, въ починку не годится, ему надо къ праотцамъ. А я могу ему только завидовать. *(Положилъ чемоданъ на картонку со шляпой и раздавилъ)*. Ну, вотъ, конечно. Такъ и зналъ. *(Уходитъ)*.

Яша *(насмѣшливо)*. Двадцать два несчастья...

Варя *(за дверью)*. Фирса отвезли въ больницу?

Аня. Отвезли.

Варя. Отчего же письмо не взяли къ доктору?

Аня. Такъ надо послать вдогонку... *(Уходитъ)*.

Варя *(изъ соседней комнаты)*. Гдѣ Яша? Скажите, мать его пришла, хочетъ проститься съ нимъ.

Яша *(машетъ рукой)*. Выводятъ только изъ терпѣнія.

Дуняша все время хлопочетъ около вещей; теперь, когда Яша остался одинъ, она подошла къ нему.

Дуняша. Хоть бы взглянули разочекъ, Яша. Вы уѣзжаете... меня покидаете... *(Плачетъ и бросается ему на шею)*.

Яша. Что жъ плакать? *(Пьетъ шампанское)*. Черезъ шесть дней я опять въ Парижъ. Завтра сядемъ въ курьерскій поѣздъ и закатимъ, только насъ и видѣли. Даже какъ-то не вѣрится. Вивъ ла Франсъ!.. Здѣсь не по мнѣ, не могу жить... ничего не подѣлаешь. Насмотрѣлся на невѣжество— будетъ съ меня. *(Пьетъ шампанское)*. Что жъ плакать? Ведите себя прилично, тогда не будете плакать.

Дуняша *(пудрится, глядясь въ зеркальце)*. Пришлите изъ Парижа письмо. Вѣдь я васъ любила, Яша, такъ любила! Я нѣжное существо, Яша!

Яша. Идутъ сюда. *(Хлопочетъ около чемодановъ, тихо напѣваетъ)*.

Входятъ Любовь Андреевна, Гаевъ, Аня и Шарлотта Ивановна.

Гаевъ. Бѣхатъ бы намъ. Уже немного осталось. *(Глядя на Яшу)* Отъ кого это селедкой пахнетъ?

Любовь Андреевна. Минуть черезъ десять давайте уже въ экипажи садиться... *(Окидываетъ взглядомъ комнату)*. Прощай, милый домъ, старый дѣдушка. Пройдетъ зима, настанетъ весна, а тамъ тебя уже не будетъ, тебя сломаютъ. Сколько видѣли эти стѣны! *(Цѣлуетъ горячо дочь)*. Сокровище мое, ты сіяешь, твои глазки играютъ какъ два алмаза. Ты довольна? Очень?

Аня. Очень! Начинается новая жизнь, мама!

Гаевъ *(весело)*. Въ самомъ дѣлѣ, теперь все хорошо. До продажи вишневаго сада мы всѣ волновались, страдали, а потомъ, когда вопросъ былъ рѣшенъ окончательно, безповоротно, всѣ успокоились, повеселѣли даже. Я банковскій служака, теперь я финансистъ... желтаго въ середину, и ты, Люба, какъ-никакъ, выглядишь лучше, это несомнѣнно.

Любовь Андреевна. Да. Нервы мои лучше, это правда. *(Ей подають шляпу и пальто)*. Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша. Пора. *(Ань)* Дѣвочка моя, скоро мы увидимся... Я уѣзжаю въ Парижъ, буду жить тамъ на тѣ деньги, которыя прислала твоя ярославская бабушка на покупку имѣнія, — да здравствуетъ бабушка! — а денегъ этихъ хватить ненадолго.

Аня. Ты, мама, вернешься скоро-скоро... не правда ли? Я подготовлюсь, выдержу экзаменъ въ гимназiи и потомъ буду работать, тебѣ помогать. Мы, мама, будемъ вмѣстѣ читать разныя книги... Не правда ли? *(Цѣлуетъ матери)*

руки). Мы будемъ читать въ осенніе вечера, прочтемъ много книгъ, и передъ нами откроется новый, чудесный міръ... (*Мечтаетъ*) Мама, пріѣзжай...

Любовь Андреевна. Пріѣду, мое золото. (*Обнимаетъ дочь*).

Входитъ Лопехинъ. Шарлотта тихо катъ-ваетъ пѣсенку.

Гаевъ. Счастливая Шарлотта: поеть!

Шарлотта (*беретъ узелъ, похожій на свернутого ребенка*). Мой ребеночекъ, бай, бай... (*Слышится плачь ребенка: уа, уа!..*) Замолчи, мой хорошій, мой милый мальчикъ. (*Уа!.. уа!..*) Мнѣ тебя такъ жалко! (*Бросаетъ узелъ на мѣсто*). Такъ вы, пожалуйста, найдите мнѣ мѣсто. Я не могу такъ.

Лопехинъ. Найдемъ, Шарлотта Ивановна, не безпокойтесь.

Гаевъ. Всѣ насъ бросаютъ, Варя уходитъ... мы стали вдругъ не нужны.

Шарлотта. Въ городѣ мнѣ жить негдѣ. Надо уходить... (*Натъваетъ*). Все равно...

Входитъ Пищикъ.

Лопехинъ. Чудо природы!..

Пищикъ (*затъхавшись*). Ой, дайте отдышаться... заму-чился... Мои почтеннѣйшіе... Воды дайте...

Гаевъ. За деньгами, небось? Слуга покорный, ухожу отъ грѣха... (*Уходитъ*).

Пищикъ. Давненько не былъ у васъ... прекраснѣйшая... (*Лопехину*) Ты здѣсь... радъ тебя видѣть... громаднѣйшаго ума человекъ... возьми... получи... (*Подаетъ Лопехину деньги*) Четыреста рублей... за мной остается восемьсотъ сорокъ...

Лопехинъ (*съ недоумѣніемъ пожимаетъ плечами*). Точно во снѣ... Ты гдѣ же взялъ?

Пищикъ. Постой... Жарко... Событіе необычайнѣйшее. Пріѣхали ко мнѣ англичане и нашли въ землѣ какую-то бѣлую глину... (*Любови Андреевнѣ*) И вамъ четыреста... прекрасная... удивительная... (*Подаетъ деньги*). Остальные потомъ. (*Пьетъ воду*). Сейчасъ одинъ молодой человекъ рассказывалъ въ вагонѣ, будто какой-то... великій философъ совѣтуетъ прыгать съ крышъ... «Прыгай!»—говорить, и въ этомъ вся задача. (*Удивленно*) Вы подумайте! Воды!..

Лопехинъ. Какіе же это англичане?

Пищикъ. Сдалъ имъ участокъ съ глиной на 24 года... А теперь, извините, некогда... надо скакать дальше... Поѣду къ Знойкову... къ Кардамонову... Всѣмъ долженъ... (*Пьетъ*). Желаю здравствовать... Въ четвергъ заѣду...

Любовь Андреевна. Мы сейчас переѣзжаемъ въ городъ, а завтра я за границу...

Пищикъ. Какъ? *(Встревоженно)* Почему въ городъ? То-то я гляжу на мебель... чемоданы... Ну, ничего... *(Сквозь слезы)* Ничего... Величайшаго ума люди... эти англичане... Ничего... Будьте счастливы... Богъ поможетъ вамъ... Ничего... Всему на этомъ свѣтѣ бываетъ конецъ... *(Цѣлуетъ руку Любови Андреевны)*. А дойдетъ до васъ слухъ, что мнѣ конецъ пришелъ, вспомните вотъ эту самую... лошадь и скажите: «былъ на свѣтѣ такой-сякой... Симеоновъ-Пищикъ... царство ему небесное...» Замѣчательная погода... Да... *(Уходитъ въ сильномъ смущеніи, но тотчасъ же возвращается и говоритъ въ дверяхъ)* Кланялась вамъ Дашенька! *(Уходитъ)*.

Любовь Андреевна. Теперь можно и ѣхать. Уѣзжаю я съ двумя заботами. Первая — это больной Фирсъ. *(Взглянувъ на часы)* Еще минутъ пять можно...

Аня. Мама, Фирса уже отправили въ больницу. Яша отправилъ утромъ.

Любовь Андреевна. Вторая моя печаль — Варя. Она привыкла рано вставать и работать, и теперь безъ труда она какъ рыба безъ воды. Похудѣла, поблѣднѣла и плачетъ, ѣдняяжка... *(Пауза)*. Вы это очень хорошо знаете, Ермолай Алексѣичъ; я мечтала... выдать ее за васъ, да и по всему видно было, что вы женитесь. *(Шепчетъ Аннѣ, та киваетъ Шарлоттѣ, и обѣ уходитъ)*. Она васъ любитъ, вамъ она по душѣ, и не знаю, не знаю, почему это вы точно сторонитесь другъ друга. Не понимаю!

Лопехинъ. Я самъ тоже не понимаю, признаться. Какъ-то странно все... Если есть еще время, то я хоть сейчасъ готовъ... Покончимъ сразу — и баста, а безъ васъ я, чувствую, не сдѣлаю предложенія.

Любовь Андреевна. И превосходно. Вѣдь одна минута нужна, только. Я ее сейчасъ позову...

Лопехинъ. Кстати и шампанское есть. *(Поглядывъ на стаканчики)* Пустые, кто-то уже выпилъ. *(Яша кашляетъ)*. Это называется вылакаты...

Любовь Андреевна *(оживленно)*. Прекрасно. Мы выйдемъ... Яша, allez! Я ее позову... *(Въ дверь)* Варя, оставь все, поди сюда. Иди! *(Уходитъ съ Яшей)*.

Лопехинъ *(поглядывъ на часы)*. Да... *(Пауза)*.

За дверью сдержанный смѣхъ, шопотъ, наконецъ входитъ Варя.

Варя (*долго осматриваетъ вещи*). Странно, никакъ не найду...

Лопехинъ. Чтò вы ищете?

Варя. Сама уложила и не помню. (*Пауза*).

Лопехинъ. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?

Варя. Я? Къ Рагулинымъ... Договорилась къ нимъ смотрѣть за хозяйствомъ..., въ экономки, что ли.

Лопехинъ. Это въ Яшнево? Верстъ 70 будетъ. (*Пауза*). Вотъ и кончилась жизнь въ этомъ домѣ...

Варя (*оглядывая вещи*). Гдѣ же это... Или, можетъ, я въ сундукъ уложила... Да, жизнь въ этомъ домѣ кончилась... больше уже не будетъ...

Лопехинъ. А я въ Харьковъ уѣзжаю сейчасъ... вотъ съ этимъ поѣздомъ. Дѣла много. А тутъ во дворѣ оставляю Епиходова... Я его нанялъ.

Варя. Чтò жъ!

Лопехинъ. Въ прошломъ году объ эту пору уже снѣгъ шель, если припомните, а теперь тихо, солнечно. Только что вотъ холодно... Градуса три мороза.

Варя. Я не поглядѣла. (*Пауза*). Да и разбитъ у насъ градусникъ... (*Пауза*).

Голосъ въ дверь со двора. Ермолай Алексѣичъ!..

Лопехинъ (*точно давно ждалъ этого зова*). Сію минуту! (*Быстро уходитъ*).

Варя, сидя на полу, положивъ голову на узелъ съ платьемъ, тихо рыдаетъ. Отворяется дверь, осторожно входитъ Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Чтò? (*Пауза*). Надо ѣхать.

Варя (*уже не плачетъ, вытерла глаза*). Да, пора, мамочка. Я къ Рагулинымъ поспѣю сегодня, не опоздать бы только къ поѣзду...

Любовь Андреевна (*въ дверь*). Аня, одѣвайся!

Входятъ Аня, потомъ Гаевъ, Шарлотта Ивановна. На Гаевѣ теплое пальто съ башлыкомъ. Сходится прислуга, извозчики. Около вещей хлопочетъ Епиходовъ.

Любовь Андреевна. Теперь можно и въ дорогу.

Аня (*радостно*). Въ дорогу!

Гаевъ. Друзья мои, милые, дорогіе друзья мои! Покидая этотъ домъ навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье тѣ чувства, которыя наполняютъ теперь все мое существо...

Аня (*умоляюще*). Дада!

Варя. Дядечка, не нужно!

Гаевъ (*уныло*). Душлетомъ желтаго въ середину... Молчу...

Входитъ Трофимовъ, потомъ Лопихинъ.

Трофимовъ. Что же, господа, пора ѣхать!

Лопихинъ. Епиходовъ, мое пальто!

Любовь Андреевна. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видѣла, какія въ этомъ домѣ стѣны, какіе потолки, и теперь я гляжу на нихъ съ жадностью, съ такой нѣжной любовью...

Гаевъ. Помню, когда мнѣ было шесть лѣтъ, въ Троицынъ день я сидѣлъ на этомъ окнѣ и смотрѣлъ, какъ мой отецъ шелъ въ церковь...

Любовь Андреевна. Всѣ вещи забрали?

Лопихинъ. Кажется, все. (*Епиходову, надвывая пальто*) Ты же, Епиходовъ, смотри, чтобы все было въ порядкѣ.

Епиходовъ (*говоритъ сильнымъ голосомъ*). Будьте покойны, Ермолай Алексѣичъ!

Лопихинъ. Что это у тебя голосъ такой?

Епиходовъ. Сейчасъ воду пилъ, что-то проглотилъ.

Яша (*съ презрѣніемъ*). Невѣжество...

Любовь Андреевна. Уѣдемъ — и здѣсь не останется ни души...

Лопихинъ. До самой весны.

Варя (*выдерживаетъ изъ узла зонтикъ, похоже, какъ будто она замахнулась; Лопихинъ дѣлаетъ видъ, что испугался*). Что вы, что вы... Я и не думала.

Трофимовъ. Господа, идемъ садиться въ экипажи... Уже пора! Сейчасъ поѣздъ придетъ!

Варя. Петя, вотъ онѣ, ваши калоши, возлѣ чемодана. (*Со слезами*) И какія онѣ у васъ грязныя, старыя...

Трофимовъ (*надвывая калоши*). Идемъ, господа!..

Гаевъ (*сильно смущенъ, боится заплакать*). Поѣздъ... станція... Круазе въ середину, бѣлаго душлетомъ въ уголь...

Любовь Андреевна. Идемъ!

Лопихинъ. Всѣ здѣсь? Никого тамъ нѣтъ? (*Запираетъ боковую дверь пальто*). Здѣсь вещи сложены, надо запереть. Идемъ!..

Аня. Прощай, домъ! Прощай, старая жизнь!

Трофимовъ. Здравствуй, новая жизнь!.. (*Уходитъ съ Аней*).

Варя окидываетъ взглядомъ комнату и, не спѣша, уходитъ. Уходятъ Яша и Шарлотта съ собачкой.

Лопихинъ. Значитъ, до весны. Выходите, господа.. До свиданція!.. *(Уходитъ)*.

Любовь Андреевна и Гаевъ остались вдвоемъ. Они точно ждали этого, бросаются на шею другъ другу и рыдаютъ сдержанно, тихо, боясь, чтобы ихъ не услышали.

Гаевъ *(въ отчаяннѣи)*. Сестра моя, сестра моя...

Любовь Андреевна. О, мой милый, мой нѣжный, прекрасный садъ!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..

Голось Ани *(весело, призывающе)*. Мама!..

Голось Трофимова *(весело, возбужденно)*. Ау!..

Любовь Андреевна. Въ послѣдній разъ взглянуть на стѣны, на окна... По этой комнатѣ любила ходить покойная мать...

Гаевъ. Сестра моя, сестра моя!..

Голось Ани. Мама!..

Голось Трофимова. Ау!..

Любовь Андреевна. Мы идемъ!.. *(Уходятъ)*.

Сцена пуста. Слышно, какъ на ключъ запираютъ все двери, какъ потомъ отъезжаютъ экипажи. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стукъ топора по дереву, звучащей одиноко и грустно.

Слышатся шаги. Изъ двери, что направо, показывается Фирсъ. Онъ одѣтъ, какъ всегда, въ пиджакъ и бѣлой жилеткѣ, на ногахъ туфли. Онъ боленъ.

Фирсъ *(подходитъ къ двери, трогаетъ за ручку)*. Заперто. Уѣхали... *(Садится на диванъ)*. Про меня забыли.. Ничего... я тутъ посижу... А Леонидъ Андреичъ, небось, шубы не надѣлъ, въ пальто поѣхалъ... *(Озабоченно вздыхаетъ)*. Я-то не поглядѣлъ... Молодо-зелено! *(Бормочетъ что-то, чего понять нельзя)*. Жизнь-то прошла, словно и не жилъ... *(Ложится)*. Я полежу... Силушки-то у тебя нѣту, ничего не осталось, ничего... Эхъ, ты... недотепа!.. *(Лежитъ неподвижно)*.

Слышится отдаленный звукъ, точно съ неба, звукъ лопнувшей струны, замирающей, печальный. Наступаетъ тишина, и только слышно, какъ далеко въ саду топоромъ стучатъ по дереву.

• Занавѣсъ.

Л Ъ Ш І Й *).

КОМЕДИЯ ВЪ 4-ХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Александръ Владимировичъ Серебряковъ отставной профессоръ.

Елена Андреевна, его жена, 27 лѣтъ.

Софья Александровна (Соня), его дочь отъ перваго брака, 20 лѣтъ.

Марья Васильевна Войницкая, вдова тайнаго совѣтника, мать первой жены профессора.

Егоръ Петровичъ Войницкій, ея сынъ.

Леонидъ Степановичъ Желтухинъ, не кончившій курса технологъ, очень богатый человѣкъ.

Юлія Степановна (Юля), его сестра, 18 лѣтъ.

Иванъ Ивановичъ Орловскій, помѣщикъ.

Федоръ Ивановичъ, его сынъ.

Михаилъ Львовичъ Хрущовъ, помѣщикъ, кончившій курсъ на медицинскомъ факультетѣ.

Илья Ильичъ Дядинъ.

Василій, слуга Желтухина.

Семень, работникъ на мельницѣ.

*) „Лѣшій“, комедія въ 4 дѣйствіяхъ, написана Чеховымъ въ 1889 г. и впервые была поставлена на сценѣ московскаго театра Абрамовой. Она является первообразомъ „Дяди Вани“, но передѣлана настолько, что имѣеть огромный интересъ и какъ совершенно самостоятельная пьеса. Не имѣвшал, по недоразумѣнію и по разнымъ нелитературнымъ обстоятельствамъ, особеннаго успѣха на сценѣ, она возбуждала большой интересъ въ литературныхъ кружкахъ, гдѣ ее пошмали и дѣнили. Невмѣрно строгій къ себѣ Чеховъ осудилъ пьесу, но по приговору кружка, почти единодушному, Чеховъ былъ неправъ по отношенію къ этому облюбованному имъ ранѣе дѣтищу своему, интересному еще и въ смыслѣ исторіи творчества пѣвца хмурыхъ людей.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Садъ въ имѣніи Желтухина. Домъ съ террасою, на площадкѣ передъ домомъ два стола: большой, сервированный для завтрака, и другой, поменьше, для закуски. Третій часъ дня.

I.

Желтухинъ и Юля (*выходятъ изъ дому*).

Юля. Ты бы лучше надѣлъ сѣренькій костюмчикъ. Этотъ тебѣ не къ лицу.

Желтухинъ. Все равно. Пустяки.

Юля. Ленечка, отчего ты такой хмурый? Развѣ можно такъ въ день рожденія? Какой же ты нехорошій!.. (*Кладетъ ему голову на грудь*).

Желтухинъ. Поменьше любви, пожалуйста!

Юля (*сквозь слезы*). Ленечка!

Желтухинъ. Въмѣсто этихъ кислыхъ поцѣлуевъ, разныхъ тамъ любящихъ взглядовъ и башмачковъ для часовъ, которые ни на какой чортъ мнѣ не нужны, ты бы лучше просьбы мои исполняла! Отчего ты не написала Серебряковымъ?

Юля. Ленечка, я написала!

Желтухинъ. Кому ты написала?

Юля. Сонечкѣ. Я просила ее пріѣхать сегодня, непременно, непременно къ часу. Честное слово, написала!

Желтухинъ. Однако ужь третій часъ, а ихъ нѣтъ. Впрочемъ, какъ имъ угодно! И не нужно! Все это нужно оставить, ничего изъ этого не выйдетъ... Одни только униженія, подлое чувство и больше ничего... Она на меня и вниманія не обращаетъ. Я некрасивъ, неинтересенъ, ничего во мнѣ нѣтъ романческаго, и если она выйдетъ за меня, то только по расчету... за деньги!..

Юля. Некрасивъ... Ты о себѣ не можешь понимать.

Желтухинъ. Ну да, точно я слѣпой! Борода растеть отсюда, изъ шеи, не такъ, какъ у людей... Усы какіе-то, чортъ ихъ знаетъ... носъ...

Юля. Что это ты за щеку держишься?

Желтухинъ. Опять болить подъ глазомъ.

Юля. Да и напухло немножко. Дай я поцѣлую, оно и пройдетъ.

Желтухинъ. Глухо! (*Входятъ Орловскій и Войницкій*).

II.

Тѣ же, Орловскій и Войницкій.

Орловскій. Манюня, когда же мы ѣсть будемъ? Ужъ третій часъ!

Юля. Крестненькій, да вѣдь еще Серебряковы не пріѣхали!

Орловскій. До какихъ же поръ ихъ ждатель Я, лапочка, ѣсть хочу. Вотъ и Егоръ Петровичъ хочетъ.

Желтухинъ (*Войницкому*). Ваши пріѣдутъ?

Войницкій. Когда я уѣзжалъ изъ дому, Елена Андреевна одѣвалась.

Желтухинъ. Значитъ, навѣрное будутъ?

Войницкій. Навѣрное ничего нельзя сказать. Вдругъ у нашего генерала подагра, или капризъ какой—вотъ и останутся.

Желтухинъ. Въ такомъ случаѣ давайте ѣсть. Чтò же ждатель? (*Кричитъ*) Илья Ильичъ! Сергій Никодимычъ!

(*Входятъ Дядинъ и два-три гостя*).

III.

Тѣ же, Дядинъ и гости.

Желтухинъ. Пожалуйте закусить. Милости просимъ. (*Около закуски*) Серебряковы не пріѣхали, Ѳедора Иваныча нѣтъ, Лѣшій тоже не пріѣхаль... забыли насъ!

Юля. Крестненькій, выпьете водки?

Орловскій. Самую малость. Вотъ такъ... Достаточно.

Дядинъ (*повязывая на шею салфетку*). А какое у васъ превосходное хозяйство, Юлія Степановна! Ёду ли я по вашему полю, гуляю ли подъ тѣнью вашего сада, смотрю ли на этотъ столъ, всюду вижу могучую власть вашей волшебной ручки. За ваше здоровье!

Юля. Неприятностей много, Илья Ильичъ! Вчера, напри- мѣръ, Назарка не загналъ индюшатъ въ сарайчикъ, ночевали они въ саду на росѣ, а сегодня пять индюшатъ издохло.

Дядинъ. Это нельзя. Индюшка птица нѣжная.

Войницкій (*Дядину*). Вафля, отрѣжь-ка мнѣ ветчины!

Дядинъ. Съ особеннымъ удовольствіемъ. Прекрасная ветчина. Одно изъ волшебствъ тысяча и одной ночи. (*Рѣжетъ*) Я тебѣ, Жорженька, отрѣжу по всѣмъ правиламъ искусства. Бетховень и Шекспиръ такъ не умѣли рѣзать. Только вотъ ножикъ тупой. (*Точитъ ножъ о ножъ*).

Желтухинъ (*вздрагивая*). Ввв!.. Оставь, Вафля! Я не могу этого!

Орловскій. Рассказывайте же, Егоръ Петровичъ. Что у васъ дома дѣлается?

Войницкій. Ничего не дѣлается.

Орловскій. Что новаго?

Войницкій. Ничего. Все старо. Что было въ прошломъ году, то и теперь. Я, по обыкновенію, много говорю и мало дѣлаю. Моя старая галка шапан все еще лепечетъ про женскую эмансипацію; однимъ глазомъ смотритъ въ могилу, а другимъ ищетъ въ своихъ умныхъ книжкахъ зарю новой жизни.

Орловскій. А Саша?

Войницкій. А профессора, къ сожалѣнію, еще не съѣла моль. Попрежнему отъ утра до глубокой ночи сидитъ у себя въ кабинетѣ и пишетъ. «Напрягни умъ, наморщивши чело, все оды пишемъ, пишемъ, и ни себѣ ни имъ похвалъ *нигдѣ* не слышимъ». Бѣдная бумага! Сонечка попрежнему читаетъ умныя книжки и пишетъ очень умный дневникъ.

Орловскій. Милая ты моя, душа моя...

Войницкій. При моей наблюдательности мнѣ бы романъ писать. Сюжетъ такъ и просится на бумагу. Отставной профессоръ, старый сухарь, ученая вобла... Подагра, ревматизмъ, мигрень, печенка и всякія штуки... Ревнивъ, какъ Отелло. Живетъ поневолѣ въ имѣньи своей первой жены, потому что жить въ городѣ ему не по карману. Вѣчно жалуется на свои несчастья, хотя въ то же время самъ необыкновенно счастливъ.

Орловскій. Ну вотъ!

Войницкій. Конечно! Вы только подумайте, какое счастье! Не будемъ говорить о томъ, что сынъ простого дьячка, бурсакъ, добился ученыхъ степеней и каеэдры, что онъ его превосходительство, зять сенатора и проч. Все это не важно. Но вы возьмите вотъ что. Человѣкъ ровно 25 лѣтъ читаетъ и пишетъ объ искусствѣ, ровно ничего не понимая въ искусствѣ. Ровно 25 лѣтъ онъ жуеетъ чужія мысли о реализмѣ, тенденціи и всякомъ другомъ вздорѣ; 25 лѣтъ читаетъ и пишетъ о томъ, что умнымъ давно уже извѣстно, а для глупыхъ неинтересно, значить, ровно 25 лѣтъ переливаетъ изъ пустого въ порожнее. И въ то же время какой успѣхъ! Какая извѣстность! За что? Почему? По какому праву?

Орловскій (*хохочетъ*). Зависть, зависть!

Войницкій. Да, зависть! А какой успѣхъ у женщинъ? Ни одинъ Донъ-Жуанъ не зналъ такого полного успѣха! Его первая жена, моя сестра, прекрасное, кроткое созданіе, чистое, какъ вотъ это голубое небо, благородная, велико-

душная, имѣвшая поклонниковъ больше, чѣмъ онъ учениковъ, любила его такъ, какъ могутъ любить одни только чистые ангелы такихъ же чистыхъ и прекрасныхъ, какъ они сами. Моя мать, его теща, до сихъ поръ обожаетъ его, и до сихъ поръ онъ внушаетъ ей священный ужасъ. Его вторая жена, красавица, умница,—вы ее видѣли,—вышла за него, когда ужъ онъ былъ старъ, отдала ему молодость, красоту, свободу, свой блескъ... За что? Почему? А вѣдь какой талантъ, какая артистка! Какъ чудно играетъ она на роялѣ!

Орловскій. Вообще талантливая семья. Рѣдкая семья.

Желтухинъ. Да, у Софьи Александровны, напимѣрь, великолѣннѣйшій голосъ. Удивительное сопрано! Не слышалъ ничего подобнаго даже въ Петербургѣ. (Но, знаете ли, слишкомъ форсируетъ въ верхнихъ нотахъ. Этакая жалость! Дайте мнѣ верхнія ноты! Дайте мнѣ верхнія ноты! Ахъ, будь эти ноты, ручаюсь вамъ головой, изъ нея получилось бы удивительное, понимаете ли.. Виноватъ, господа, мнѣ нужно сказать Юль два слова. *(Отводитъ Юлю въ сторону)* Пошли къ нимъ верхового. Напиши, что если имъ нельзя сейчасъ прѣхать, то чтобъ хоть къ обѣду. *(Тѣше)* Да не будь душой, не срами меня, пиши пограмотнѣй... Ъхать пишется черезъ ять... *(Громко и ласково)* Пожалуйста, мой другъ.

Юля. Хорошо. *(Уходитъ)*.

Дядинъ. Говорятъ, что супруга профессора, Елена Андреевна, которую я не имѣю чести знать, отличается красотой своихъ не только душевныхъ, но и внѣшнихъ качествъ.

Орловскій. Да, чудесная барыня.

Желтухинъ. Она вѣрна своему профессору?

Войницкій. Къ сожалѣнью, да.

Желтухинъ. Почему же къ сожалѣнью?

Войницкій. Потому что эта вѣрность фальшива отъ начала до конца. Въ ней много риторики, но нѣтъ логики. Измѣнить старому мужу, котораго терпѣть не можешь—это безнравственно; стараться же заглушить въ себѣ бѣдную молодость и живое чувство—это не безнравственно. Гдѣ же тутъ, чортъ возьми, логика?

Дядинъ *(плачущимъ голосомъ)*. Жорженька, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну вотъ, право... Я даже дрожу... Господа, я не обладаю талантомъ и цвѣтами краснорѣчія, но позвольте мнѣ безъ лишнихъ фразъ высказать вамъ по совѣсти... Господа, кто измѣняетъ женѣ, или мужу, тотъ, значить, невѣрный человекъ, тотъ можетъ измѣнить я отечеству!

Войницкій. Заткни фонтанъ!

Дядинь. Позволь, Жорженька... Иванъ Ивановичъ, Ленечка, милые мои друзья, возьмите вы во вниманіе коловратность моей судьбы. Это не секретъ и не покрыто мракомъ неизвѣстности, что жена моя бѣжала отъ меня на другой день послѣ свадьбы съ любимымъ человѣкомъ, по причинѣ моей непривлекательной наружности.

Войницкій. И превосходно сдѣлала.

Дядинь. Позвольте, господа! Послѣ того инцидента я своего долга не нарушалъ. Я до сихъ поръ ее люблю и вѣренъ ей, помогаю, чѣмъ могу, и завѣщаль свое имущество ея дѣточкамъ, которыхъ она прижила съ любимымъ человѣкомъ. Я долга не нарушалъ и горжусь. Я горды! Счастья я лишился, но у меня осталась гордость. А она? Молодость ужъ прошла, красота подъ вліяніемъ законовъ природы поблекла, любимый человѣкъ скончался, царство ему небесное. Чтò же у нея осталось? (*Садится*). Я вамъ серьезно, а вы смѣетесь.

Орловскій. Человѣкъ ты добрый, прекрасная у тебя душа, но ужъ очень длинно говоришь и руками махаешь...

(*Изъ дому выходитъ Федоръ Ивановичъ; онъ въ поддевку изъ отличнаго сукна, въ высокихъ сапогахъ; на груди у него ордена, медали и массивная золотая цепь съ брелоками; на пальцахъ дорогіе перстни*).

IV.

Тѣ же и Федоръ Ивановичъ.

Федоръ Ивановичъ. Здорово, ребята!

Орловскій (*радостно*). Федюша милый, сынъ мой!

Федоръ Ивановичъ (*Желтухину*). Поздравляю съ днемъ рожденія... расти большой... (*Здоровается со всеми*) Родитель! Вафля, здравствуй! Приятнаго вамъ аппетита, хлѣбъ да соль.

Желтухинъ. Гдѣ ты шатался? Нельзя такъ опаздывать.

Федоръ Ивановичъ. Жарко! Водки выпить надо.

Орловскій (*любуясь имъ*). Душа моя, борода ты моя великолѣпная... Господа, вѣдь красавецъ? Поглядите: красавецъ?

Федоръ Ивановичъ. Съ новорожденнымъ! (*Пьетъ*). А Серебряковыхъ нѣтъ?

Желтухинъ. Не пріѣхали.

Федоръ Ивановичъ. Гм... А гдѣ же Юля?

Желтухинъ. Не знаю, чтò она тамъ застряла. Пора бы ужъ и пирогъ подавать. Я сейчасъ ее позову. (*Уходитъ*).

Орловскій. А нашъ Ленечка, новорожденный, сегодня что-то не въ духѣ. Угрюмъ.

Войницкій. Просто скотина.

Орловскій. Нервы разстроены, ничего не подѣлаешь...

Войницкій. Самолюбивъ очень, оттого и нервы. Скажите при немъ, что эта селедка хороша, онъ сейчасъ же обидится: почему не его похвалили. Дрянцо порядочное. Вотъ онъ идетъ. (*Входятъ Юля и Желтухинъ*).

V.

Тѣ же, Желтухинъ и Юля.

Юля. Здравствуй, Оеденька! (*Цѣлуется съ Оедоромъ Ивановичемъ*). Кушай, душечка. (*Ивану Ивановичу*) Посмотрите, крестненькій, какой я сегодня Ленечкѣ подарокъ подарила! (*Показываетъ башмачокъ для часовъ*).

Орловскій. Дусенька моя, дѣвочка моя, башмачокъ! Какая штука...

Юля. Одной золотой канители на восемь съ полтиной пошло. Посмотрите на края: жемчужинки, жемчужинки, жемчужинки... А это буквы: Леонидъ Желтухинъ. Тутъ шелкомъ: кого люблю, того дарю...

Дядинъ. А позвольте мнѣ посмотрѣть! Восхитительно!

Оедоръ Ивановичъ. Бросьте вы это... будетъ вамъ! Юля, велика подать шампанскаго!

Юля. Оеденька, это вечеромъ!

Оедоръ Ивановичъ. Ну, вотъ еще—вечеромъ! Валяй сейчасъ! А то уйду. Честное слово, уйду. Гдѣ оно у тебя стоитъ? Я самъ пойду возьму.

Юля. Всегда ты, Оедя, въ хозяйствѣ безпорядки дѣлаешь. (*Василію*) Василій, на ключъ! Шампанское въ кладовой, знаешь, въ углу около кулька съ изюмомъ, въ корзинѣ. Только смотри, не разбей чего-нибудь.

Оедоръ Ивановичъ. Василій, три бутылки!

Юля. Не выйдетъ изъ тебя, Оеденька, хорошаго хозяина... (*Накладываетъ вѣсмъ тирого*). Кушайте, господа, побольше... Обѣдъ еще не скоро, въ шестомъ часу... Ничего изъ тебя, Оеденька, не выйдетъ... Пропашій ты человекъ.

Оедоръ Ивановичъ. Ну, пошла отчитывать!

Войницкій. Кажется, кто-то подѣхаль... Слышите?

Желтухинъ. Да... Это Серебряковы... Наконецъ-то!

Василій. Господа Серебряковы пріѣхали!

Юля (*вскрикиваетъ*). Сонечка! (*Убѣгаетъ*).

Войницкій *(поетъ)*. Пойдемъ встрѣтимъ, пойдемъ встрѣтимъ... *(Уходитъ)*.

Федоръ Ивановичъ. Эка обрадовались!

Желтухинъ. Какъ въ людяхъ мало такта! Живеть съ профессоршей и не можетъ скрыть этого.

Федоръ Ивановичъ. Кто?

Желтухинъ. Да вотъ Жоржъ. Такъ ее расхваливалъ сейчасъ, когда тебя не было, что даже неприлично.

Федоръ Ивановичъ. Откуда ты знаешь, что онъ съ ней живеть?

Желтухинъ. Точно я слѣпой... Да и весь уѣздъ говоритъ объ этомъ...

Федоръ Ивановичъ. Вздоръ. Пока съ ней никто не живеть, но скоро буду жить я.. Понимаешь? Я!

VI.

Тѣ же, Серебряковъ, Марья Васильевна, Войницкій *подъ руку*, съ Еленой Андреевной, Соня и Юля *(входятъ)*.

Юля *(цѣлуя Соню)*. Милая! Милая!

Орловскій *(идя навстрѣчу)*. Саша, здравствуй, голубушка, здравствуй, матушка! *(Цѣлуется съ профессоромъ)*. Здоровъ? Слава Богу?

Серебряковъ. А ты, кумъ? Ты ничего—молодцомъ! Очень радъ тебя видѣть. Давно пріѣхалъ?

Орловскій. Въ пятницу. *(Марья Васильевна)* Марья Васильевна! Какъ изволите поживать, ваше превосходительство? *(Цѣлуетъ руку)*.

Марья Васильевна. Дорогой мой... *(Цѣлуетъ его въ голову)*.

Соня. Крестненькій!

Орловскій. Сонечка, душа моя! *(Цѣлуетъ ее)*. Голубушка, канареечка моя...

Соня. Лицо попрежнему добренькое, сентиментальное, сладенькое...

Орловскій. И выросла, и похорошѣла, и возмужала, душа моя...

Соня. Ну, какъ вы вообще? Чтò, здоровы?

Орловскій. Страсть какъ здоровы!

Соня. Молодчина, крестненькій! *(Федору Ивановичу)* А слова-то и не примѣтила. *(Цѣлуется съ нимъ)*. Загорѣлъ, обросъ... настоящій паукъ!

Юля. Милая!

Орловскій *(Серебрякову)*. Какъ живешь, кумъ?

Серебряковъ. Да понемножку... Ты какъ?

Орловскій. Что мнѣ дѣлается? Живу! Имѣнье сыну отдалъ, дочекъ за хорошихъ людей выдавалъ, и теперь свободнѣй меня челоуѣка нѣтъ. Знай себѣ гуляю!

Дядинъ (*Серебрякову*). Ваше превосходительство изволили нѣсколько опоздать. Въ пирогѣ ужъ значительно понизилась температура. Позвольте представиться: Илья Ильичъ Дядинъ, или, какъ нѣкоторые весьма остроумно выражаются по причинѣ моего рябого лица, Вафля.

Серебряковъ. Очень пріятно.

Дядинъ. Madame! Mademoiselle! (*Кланяется Еленѣ Андреевнѣ и Сонѣ*). Здѣсь все мои друзья, ваше превосходительство. Когда-то я имѣлъ большое состояніе, но по домашнимъ обстоятельствамъ, или, какъ выражаются въ умственныхъ центрахъ, по причинамъ, отъ редакціи независящимъ, я долженъ былъ уступить свою часть родному моему брату, который по одному несчастному случаю лишился семидесяти тысячъ казенныхъ денегъ. Моя профессія: эксплуатація бурныхъ стихій. Заставляю бурныя волны вращать колеса мельницы, которую я арендую у моего друга Лѣшаго.

Воиницкій. Вафля, заткни фонтанъ!

Дядинъ. Всегда съ благоговѣніемъ преклоняюсь (*преклоняется*) предъ научными свѣтилами, украшающими нашъ отечественный горизонтъ. Простите мнѣ дерзость, съ какою я мечтаю нанести вашему превосходительству визитъ и усладить свою душу бесѣдою о послѣднихъ выводахъ науки.

Серебряковъ. Прошу покорно. Буду радъ.

Соня. Ну, рассказывайте, крестненькій. Гдѣ вы зиму проводили? Куда исчезали?

Орловскій. Въ Гмунденѣ былъ, въ Парижѣ былъ, въ Ниццѣ, въ Лондонѣ, дѣся моя, былъ...

Соня. Хорошо! Счастливичикъ!

Орловскій. Поѣдемъ со мной осенью! Хочешь?

Соня (*поетъ*). Не искушай меня безъ нужды...

Федоръ Ивановичъ. Не пой за завтракомъ, а то у твоего мужа жена будетъ дура.

Дядинъ. Теперь интересно бы взглянуть на этотъ столъ à vol d'oiseaux. Какой восхитительный букетъ! Сочетаніе граціи, красоты, глубокой учености, сла...

Федоръ Ивановичъ. Какой восхитительный языкъ! Чортъ знаетъ что такое! Говоришь ты, точно кто тебя по спинѣ рубанкомъ водить... (*Смѣетъ*).

Орловскій (*Сонъ*). А ты, душа моя, все еще замужь не вышла...

Войницкій. Помилуйте, за кого ей замужь итти? Гумбольдтъ ужь умеръ, Эдисонъ въ Америкѣ, Шопенгауэръ тоже умеръ... Намедни напелъ я на столѣ ея дневникъ: во какой! Раскрываю и читаю: «Нѣтъ, я никогда не люблю... Любовь—это эгоистическое влеченіе моего я къ объекту другого пола»... И чортъ знаетъ, чего только тамъ нѣтъ? Трансцендентально, кульминаціонный пунктъ интегрирующаго начала... тьфу! И гдѣ ты научилась?

Соня. Кто бы другой иронизировалъ, да не ты, дядя Жоржъ.

Войницкій. Чтò же ты сердилась?

Соня. Если скажешь еще хоть одно слово, то кому-нибудь изъ насъ двоихъ придется уѣхать домой. Я или ты...

Орловскій (*хохочетъ*). Ну, характеръ!

Войницкій. Да, характеръ, доложу вамъ... (*Сонъ*) Ну, лапку! Дай лапку! (*Цѣлуетъ руку*). Миръ и согласіе... Не буду больше.

VII.

Тѣ же и Хрущовъ.

Хрущовъ (*выходя изъ дому*). Зачѣмъ я не художникъ? Какая чудная группа!

Орловскій (*радостно*). Миша! Сыночекъ мой крестненькій!

Хрущовъ. Съ новорожденнымъ! Здравствуйте, Юлечка, какая вы сегодня хорошенькая! Крестненькій! (*Цѣлуется съ Орловскимъ*). Софья Александровна... (*Здороваается со всеми*).

Желтухинъ. Ну можно ли такъ поздно пріѣзжать? Гдѣ ты былъ?

Хрущовъ. У больного.

Юля. Пирогъ давно уже простылъ.

Хрущовъ. Ничего, Юлечка, я холоднаго поѣмъ. Гдѣ же мнѣ сѣсть?

Соня. Садитесь сюда... (*Даетъ ему мѣсто рядомъ*).

Хрущовъ. Великолѣпная сегодня погода, и аппетитъ у меня адскій... Постойте, я водки выпью... (*Пьетъ*). Съ новорожденнымъ! Пирожкомъ закушу... Юлечка, поцѣлуйте этотъ пирожокъ, онъ станетъ вкуснѣе... (*Та цѣлуетъ*). Merci. Какъ живете, крестненькій? Давно не видѣлъ васъ.

Орловскій. Да, давненько не видались. Вѣдь я за границей былъ.

Хрущовъ. Слышалъ, слышалъ... Позавидовалъ вамъ. Федоръ, а ты какъ живешь?

Федоръ Ивановичъ. Ничего, вашими молитвами, какъ столбами, подпираемся...

Хрущовъ. Дѣла твои какъ?

Федоръ Ивановичъ. Не могу пожаловаться. Живемъ. Только вотъ, братецъ ты мой, бѣды много. Замучился. Отсюда на Кавказъ, изъ Кавказа сюда, отсюда опять на Кавказъ—и этакъ безъ конца, скачешь какъ угорѣлый. Вѣдь у меня тамъ—два имѣнья!

Хрущовъ. Знаю.

Федоръ Ивановичъ. Колонизаціей занимаюсь и ловлю тарантуловъ и скорпионовъ. Дѣла вообще идутъ хорошо, но насчетъ «уймитесь, волненія страсти»—все обстоитъ попрежнему.

Хрущовъ. Влюбленъ, конечно?

Федоръ Ивановичъ. По этому случаю, Лѣшій, надо выпить. (*Пьетъ*). Господа, никогда не влюбляйтесь въ замужнихъ женщинъ! Честное слово, лучше быть раненымъ въ плечо и въ погу навылеть, какъ вашъ покорнѣйшій слуга, чѣмъ любить замужнюю... Такая бѣда, что просто...

Соня. Безнадежно?

Федоръ Ивановичъ. Ну вотъ еще! Безнадежно... На этомъ свѣтѣ ничего нѣтъ безнадежнаго. Безнадежно, несчастная любовь, охъ, ахъ—все это баловство. Надо только хотѣть... Захотѣлъ я, чтобъ ружье мое не давало осѣчки, оно и не даетъ. Захотѣлъ я, чтобъ барыня меня полюбила—она и полюбитъ. Такъ-то, братъ Соня. Ужъ если я какую намѣчу, то, кажется, легче ей на луну вскочить, чѣмъ отъ меня уйти.

Соня. Какой ты однако страшный!

Федоръ Ивановичъ. Отъ меня не уйдешь, нѣтъ! Я съ нею не сказалъ еще трехъ фразъ, а она ужъ въ моей власти... Да... я ей только сказалъ:—«Сударыня, всякій разъ, когда вы взглянете на какое-нибудь окно, вы должны вспомнить обо мнѣ. Я хочу этого». Значитъ, вспоминаетъ она обо мнѣ тысячу разъ въ день. Мало того, я каждый день бомбардирую ее письмами.

Елена Андреевна. Письма—это ненадежный приемъ: она получаетъ ихъ, но можетъ не читать.

Федоръ Ивановичъ. Вы думаете? Гм... Живу я на этомъ свѣтѣ 35 лѣтъ, а что-то не встрѣчалъ такихъ феноменальныхъ женщинъ, у которыхъ хватало бы мужества не распечатать письмо.

Орловскій (*любуясь имъ*). Какое? Сыночекъ мой, красавецъ! Вѣдь и я такимъ былъ. Точь въ точь такимъ! Только

вотъ на войнѣ не былъ, а водку пилъ и деньги моталъ — страшное дѣло!

Федоръ Ивановичъ. Люблю я ее, Миша, серьезно, аспидски... Пожелай только она, и я отдалъ бы ей все... Увезъ бы я ее къ себѣ на Кавказъ, на горы, жили бы мы припѣваючи... Я, Елена Андреевна, сторожилъ бы ее, какъ вѣрный песъ, и была бы она для меня, какъ вотъ поетъ нашъ предводитель: «и будешь ты царицей міра, подруга вѣрная моя». Эхъ, не знаетъ она своего счастья!

Хрущовъ. Кто же эта счастливица?

Федоръ Ивановичъ. Много будешь знать, скоро составишься... Но довольно объ этомъ. Теперь начнемъ изъ другой оперы. Помню, лѣтъ десять назадъ—Леня тогда еще гимназистомъ былъ—праздновали мы вотъ также день его рожденія. Ъхалъ я отсюда домой верхомъ, и на правой рукѣ сидѣла у меня Соня, а на лѣвой — Юлька, и объ мою бороду держались. Господа, выпьемъ за здоровье друзей юности моей, Сони и Юли!

Дядинъ (*хохочетъ*). Это восхитительно! Это восхитительно!

Федоръ Ивановичъ. Какъ-то разъ послѣ войны пьянствовала я съ однимъ турецкимъ пашой въ Трапезондѣ... Онъ меня и спрашиваетъ...

Дядинъ (*перебивая*). Господа, выпьемъ тостъ за отличныя отношенія! Вивать дружба! Живьо!

Федоръ Ивановичъ. Стопъ, стопъ, стопъ! Соня, прошу вниманія! Держу, чортъ меня возьми, пари! Кладу вотъ на столъ триста рублей! Пойдемъ послѣ завтрака на крокетъ, и я держу пари, что въ одинъ разъ пройду всѣ ворота и обратно.

Соня. Принимаю, только у меня трехсотъ рублей нѣтъ.

Федоръ Ивановичъ. Если проиграешь, то споешь мнѣ сорокъ разъ.

Соня. Согласна.

Дядинъ. Это восхитительно! Это восхитительно!

Елена Андреевна (*глядя на небо*). Какая это птица летитъ?

Желтухинъ. Это ястребъ.

Федоръ Ивановичъ. Господа, за здоровье ястреба!

Соня (*хохочетъ*).

Орловскій. Ну, закатилась наша! Чтѣ ты?

Хрущовъ (*хохочетъ*).

Орловскій. Ты-то чего?

Марья Васильевна. Софи, это неприлично!

Хрущовъ. Охъ, виноватъ, господа... Сейчасъ кончу, сейчасъ...

Орловскій. Это называется—безъ ума смѣяться.

Войницкій. Имъ обоемъ палець покажи, сейчасъ же за хохочуть. Соня! (*Показываетъ палець*). Ну, вотъ...

Хрущовъ. Будетъ вамъ! (*Смотритъ на часы*). Ну, отче Михаиле, поѣлъ, попилъ, теперь и честь знай. Пора ѣхать.

Соня. Куда это?

Хрущовъ. Къ больному. Опротивѣла мнѣ моя медицина, какъ постылая жена, какъ длинная зима...

Серебряновъ. Позвольте однако, вѣдь медицина ваша профессія, дѣло, такъ сказать...

Войницкій (*съ ироніей*). У него есть другая профессія. Онъ на своей землѣ торфъ копаеть.

Серебряновъ. Что?

Войницкій. Торфъ. Одинъ инженеръ вычислилъ, какъ дважды два, что въ его землѣ лежитъ торфу на 720 тысячъ. Не шутите.

Хрущовъ. Я копаю торфъ не для денегъ.

Войницкій. Для чего же вы его копаете?

Хрущовъ. Для того, чтобы вы не рубили лѣсовъ.

Войницкій. Почему же ихъ не рубить? Если васъ послушать, то лѣса существуютъ только для того, чтобы въ нихъ аукали парня и дѣвки.

Хрущовъ. Я этого никогда не говорилъ.

Войницкій. И все, что я до сихъ поръ имѣлъ честь слышать отъ васъ въ защиту лѣсовъ — все старо, несерьезно и тенденціозно. Извините меня, пожалуйста. Я сузу не голословно, я почти наизусть знаю всѣ ваши защитительныя рѣчи... Напримѣръ... (*Приподнятымъ тономъ и жестикулируя, какъ бы подражая Хрущову*) Вы, о, люди, истребляете лѣса, а они украшаютъ землю, они учатъ человѣка понимать прекрасное и внушаютъ ему величавое настроеніе. Лѣса смягчаютъ суровый климатъ. Гдѣ мягче климатъ, тамъ меньше тратится силъ на борьбу съ природой, и потому тамъ мягче и нѣжнѣе человѣкъ. Въ странахъ, гдѣ климатъ мягокъ, люди красивы, гибки, легко возбудимы, рѣчь ихъ пязчна, движенія граціозны. У нихъ процвѣтають науки и искусства, философія ихъ не мрачна, отношенія къ женщинѣ полны изящнаго благородства. И такъ далѣе, и такъ далѣе... Все это мило, но такъ мало убѣдительно, что позвольте мнѣ продолжать топчить печи дровами и строить сараи изъ дерева.

Хрущовъ. Рубить лѣса изъ нужды можно, но пора перестать истреблять ихъ. Всѣ русскіе лѣса трещатъ отъ топоровъ, гибнутъ миллиарды деревьевъ, опустошаются жи-

лица звѣрей и птицъ, мелѣють и сохнутъ рѣки, исчезаютъ безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у лѣниваго человѣка не хватаетъ смысла нагнуться и поднять съ земли топливо. Надо быть безразсуднымъ варваромъ (*показываетъ на деревья*), чтобы жечь въ своей печкѣ эту красоту, разрушать то, чего мы не можемъ создать. Человѣку даны разумъ и творческая сила, чтобы преумножать то, что ему дано, но до сихъ поръ онъ не творилъ, а только разрушалъ. Лѣсовъ все меньше и меньше, рѣки сохнутъ, дичь перевелась, климатъ испорченъ, и съ каждымъ днемъ земля становится все бѣднѣе и безобразнѣе. Вы глядите на меня съ проницей, и все, что я говорю, вамъ кажется старымъ и несерьезнымъ, а когда я прохожу мимо крестьянскихъ лѣсовъ, которые я спасъ отъ порубки, или когда я слышу, какъ шумить мой молодой лѣсъ, посаженный вотъ этими руками, я сознаю, что климатъ немножко и въ моей власти, и что, если черезъ тысячу лѣтъ человѣкъ будетъ счастливъ, то въ этомъ немножко буду виноватъ и я. Когда я сажаю березку и потомъ вижу, какъ она зеленѣетъ и качается отъ вѣтра, душа моя наполняется гордостью отъ сознанія, что, благодаря мнѣ, на этомъ свѣтѣ одною жизнью больше...

Федоръ Ивановичъ (*перебивая*). За твое здоровье, Лѣший! **Войницкій**. Все это прекрасно, но если бы взглянули на дѣло не съ фельетонной точки зрѣнія, а съ научной, то...
Соня. Дядя Жоржъ, у тебя языкъ покрытъ ржавчиной. Замолчи!

Хрущовъ. Въ самомъ дѣлѣ, Егоръ Петровичъ, не будемъ говорить объ этомъ. Прошу васъ.

Войницкій. Какъ угодно.

Марья Васильевна. Ахъ!

Соня. Бабушка, что съ вами?

Марья Васильевна (*Серебрякову*). Забыла я сказать вамъ, Александръ... потеряла память... сегодня получила я письмо изъ Харькова отъ Павла Алексѣевича... Вамъ кланяется...

Серебряковъ. Благодарю, очень радъ.

Марья Васильевна. Прислалъ свою новую брошюру и просилъ показать вамъ.

Серебряковъ. Интересно?

Марья Васильевна. Интересно, но какъ-то странно. Опровергаетъ то, что семь лѣтъ тому назадъ самъ же защищалъ. Это очень, очень типично для нашего времени. Никогда съ такою легкостью не измѣняли своимъ убѣжденіямъ, какъ теперь. Это ужасно!

Войницкій. Ничего нѣтъ ужаснаго. Кушайте, мама, карасей.

Марья Васильевна. Но я хочу говорить!

Войницкій. Но мы уже 50 лѣтъ говоримъ о направле-
ніяхъ и лагеряхъ, пора бы ужъ и кончить.

Марья Васильевна. Тебѣ почему-то неприятно слушать, когда я говорю. Прости, Жоржъ, но въ послѣдній годъ ты такъ измѣнился, что я тебя совершенно не узнаю. Ты былъ человѣкомъ опредѣленныхъ убѣжденій, свѣтлою личностью...

Войницкій. О, да! Я былъ свѣтлою личностью, отъ которой никому не было свѣтло. Позвольте мнѣ встать. Я былъ свѣтлою личностью... Нельзя сострить ядовитѣй! Теперь мнѣ 47 лѣтъ. До прошлаго года я такъ же, какъ вы, нарочно старался отуманивать свои глаза всякими отвлеченностями и схоластикой, чтобы не видѣть настоящей жизни — и думалъ, что дѣлаю хорошо... А теперь, если бъ вы знали, какимъ большимъ дуракомъ я кажусь себѣ за то, что глупо проворонилъ время, когда могъ бы имѣть все, въ чемъ отказывается мнѣ теперь моя старость!

Серебряковъ. Постой. Ты, Жоржъ, точно обвиняешь въ чемъ-то свои прежнія убѣжденія...

Соня. Довольно, папа! Скучно!

Серебряковъ. Постой. Ты точно обвиняешь въ чемъ-то свои прежнія убѣжденія. Но виноваты не они, а ты самъ. Ты забывалъ, что убѣжденія безъ дѣлъ мертвы. Нужно было дѣло дѣлать.

Войницкій. Дѣло? Не всякій способенъ быть пишущимъ *perpetuum mobile*.

Серебряковъ. Чтò ты хочешь этимъ сказать?

Войницкій. Ничего. Прекратимъ этотъ разговоръ. Мы не дома.

Марья Васильевна. Совсѣмъ потеряла память... Забыла вамъ, Александръ, напомнить, чтобы вы передъ завтракомъ приняли капли. Привезла ихъ, а напомнить забыла.

Серебряковъ. Не нужно.

Марья Васильевна. Но вѣдь вы больны, Александръ! Вы очень больны!

Серебряковъ. Зачѣмъ же трезвонить объ этомъ? Старъ, боленъ, старъ, боленъ... только и слышишь! (*Желтухину*) Леонидъ Степанычъ, позвольте мнѣ встать и уйти въ комнаты. Здѣсь немного жарко и кусаютъ комары.

Желтухинъ. Сдѣлайте такое одолженіе. Завтракъ кончился.

Серебряковъ. Благодарю васъ. (*Уходитъ съ домъ; за нимъ идетъ Марья Васильевна*).

Юля (*брату*). Иди за профессоромъ! Неловко!

Желтухинъ (*ей*). Чортъ бы его взял! (*Уходитъ*).

Дядинъ. Юлія Степановна, позвольте васъ поблагодарить отъ глубины души. (*Цѣлуетъ руку*).

Юля. Не за что, Илья Ильичъ! Вы мало фли... (*Ее благодарятъ*). Не за что, господа! Вы всё такъ мало кушали!

Федоръ Ивановичъ. Чтò же, господа, теперь будемъ дѣлать? Пойдемъ сейчасъ на крокетъ пари держать... а потомъ?

Юля. А потомъ обѣдать.

Федоръ Ивановичъ. А потомъ?

Хрущовъ. Потомъ пріѣзжайте всё ко мнѣ. Вечеромъ рыбную ловлю на озерѣ устроимъ.

Федоръ Ивановичъ. Превосходно.

Дядинъ. Восхитительно.

Соня. Такъ позвольте же, господа... Значитъ, сейчасъ мы пойдемъ на крокетъ пари держать... Потомъ пораньше пообѣдаемъ у Юли и этакъ часовъ въ семь поѣдемъ къ Лѣвш... то-есть вотъ къ Михаилу Львовичу. Отлично. Пойдемте, Юлечка, за шарами. (*Уходитъ съ Юлей въ домъ*).

Федоръ Ивановичъ. Василий, неси вино на крокетъ! Будемъ пить за здоровье побѣдителей. Ну, отче, пойдемъ заниматься благородной игрой.

Орловскій. Погоди, роднуша, мнѣ нужно съ профессоромъ минутокъ пять посидѣть, а то неловко. Этикетъ надо соблюсти. Пока поиграй моимъ шаромъ, а я скоро... (*Уходитъ въ домъ*).

Дядинъ. Пойду сейчасъ слушать ученѣйшаго Александра Владимировича. Предвкушая то высокое наслажденіе, кото...

Войницкій. Ты надоѣлъ, Вафля. Иди.

Дядинъ. Иду-съ. (*Уходитъ въ домъ*).

Федоръ Ивановичъ (*идя въ садъ, поетъ*). И будешь ты царицей міра, подруга вѣрная моя... (*Уходитъ*).

Хрущовъ. Я сейчасъ потихоньку уѣду. (*Войничкому*)

Егоръ Петровичъ, убѣдительно прошу васъ, не будемъ никогда говорить ни о лѣсахъ ни о медицинѣ. Не знаю почему, но, когда вы заводите объ этомъ рѣчь, то у меня послѣ этого весь день бываетъ такое чувство, какъ будто я пообѣдалъ изъ нелуженой посуды. Честь имѣю кланяться. (*Уходитъ*).

VIII.

Елена Андреевна и Войницкій.

Войницкій. Узкій человекъ. Всѣмъ позволительно говорить глупости, но я не люблю, когда ихъ говорятъ съ паэсомъ.

Елена Андреевна. А вы, Жоржъ, опять вели себя невозможно! Нужно было вамъ спорить съ Марьей Васильевной и съ Александромъ, говорить о *perpetuum mobile*! Какъ это мелко!

Войницкій. Но если я его ненавижу!

Елена Андреевна. Ненавидѣть Александра не за что, онъ такой же, какъ и всѣ...

(Соня и Юля проходятъ въ садъ съ шарами и молотками для крокета).

Войницкій. Если бъ вы могли видѣть свое лицо, свои движенія... Какая вамъ лѣнь жить! Ахъ, какая лѣнь!

Елена Андреевна. Ахъ, и лѣнь и скучно! *(Пауза).* Всѣ бранятъ моего мужа при мнѣ, не стѣсняясь моимъ присутствіемъ. Всѣ смотрятъ на меня съ сожалѣніемъ: несчастная, у нея старый мужъ! Всѣмъ, даже очень добрымъ людямъ хотѣлось бы, чтобъ я ушла отъ Александра... Это участіе ко мнѣ, всѣ эти сострадательные взгляды и вздохи сожалѣнія клонятся къ одному. Вотъ, какъ сказалъ сейчасъ Лѣшій, всѣ вы безразсудно губите лѣса, и скоро на землѣ ничего не останется; точно такъ вы безразсудно губите человекъ, и скоро по вашей милости на землѣ не останется ни вѣрности, ни чистоты, ни способности жертвовать собой. Почему вы не можете видѣть равнодушно вѣрную жену, если она не ваша? Потому что правъ этотъ Лѣшій, во всѣхъ васъ сидитъ бѣса разрушенія. Вамъ не жаль ни лѣсовъ, ни птицъ, ни женщинъ, ни другъ друга.

Войницкій. Не люблю я этой философіи!

Елена Андреевна. Скажите этому Фёдору Иванычу, что онъ надоѣлъ мнѣ свою наглостью. Это противно наконецъ. Смотрѣть мнѣ въ глаза и громко при всѣхъ говорить о своей любви къ какой-то замужней женщинѣ—удивительно остроумно!

Голоса въ саду. Bravo! bravo!

Елена Андреевна. Но какъ однако милъ этотъ Лѣшій! Онъ бываетъ у насъ часто, но я застѣнчива и ни разу не говорила съ нимъ, какъ слѣдуетъ, не обладала его. Онъ подумаетъ, что я злая или гордая. Вѣроятно, Жоржъ, от-

того мы съ вами такіе друзья, что оба мы нудные, скучные люди! Нудные! Не смотрите на меня такъ, я этого не люблю.

Войницкій. Могу ли я смотрѣть на васъ иначе, если я люблю васъ? Вы мое счастье, жизнь, моя молодость!.. Я знаю, шансы мои на взаимность равны нулю, но мнѣ ничего не нужно, позвольте мнѣ только глядѣть на васъ, слышать вашъ голосъ...

IX.

Тѣ же и Серебряковъ.

Серебряковъ (*въ окнѣ*). Леночка, гдѣ ты?

Елена Андреевна. Здѣсь.

Серебряковъ. Иди посиди съ нами, милая... (*Скрывается*).

Елена Андреевна (*идетъ изъ дому*).

Войницкій (*идя за нею*). Позвольте мнѣ говорить о своей любви, не гоните меня прочь, и это одно будетъ для меня величайшимъ счастьемъ.

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Столовая въ домѣ Серебрякова. Буфетъ, посреди комнаты обѣденный столъ. Второй часъ ночи. Слышно, какъ въ саду стучитъ сторожъ.

I.

Серебряковъ (*сидитъ въ креслѣ передъ открытымъ окномъ и дремлетъ*) и Елена Андреевна (*сидитъ около него и тоже дремлетъ*).

Серебряковъ (*очнувшись*). Кто здѣсь? Соня, ты?

Елена Андреевна. Это я...

Серебряковъ. Ты, Леночка... Невыносимая боль!

Елена Андреевна. У тебя пледъ упалъ на полъ... (*Кутаетъ ему ноги*). Я, Александръ, затворю окно.

Серебряковъ. Нѣтъ, мнѣ душно... Я сейчасъ задремалъ, и мнѣ снилось, будто у меня лѣвая нога чужая... Проснулся отъ мучительной боли. Нѣтъ, это не подагра, скорѣй ревматизмъ. Который теперь часъ?

Елена Андреевна. Двадцать минутъ второго. (*Пауза*).

Серебряковъ. Утромъ поищи въ библиотекѣ Батюшкова. Кажется, онъ есть у насъ.

Елена Андреевна. А?

Серебряковъ. Поищи утромъ Батюшкова. Помнится, онъ былъ у насъ. Но отчего мнѣ такъ тяжело дышать?

Елена Андреевна. Ты усталъ. Вторую ночь не спишь.

Серебряковъ. Говорятъ, у Тургенева отъ подагры сдѣлалась грудная жаба. Боюсь, какъ бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Чортъ бы ее побралъ. Когда я постарѣлъ, я сталъ себѣ противень. Да и вамъ всѣмъ, должно-быть, противно на меня смотрѣть.

Елена Андреевна. Ты говоришь о своей старости такимъ тономъ, какъ будто всѣ мы виноваты, что ты старъ.

Серебряковъ. Тебѣ же первой я противень.

Елена Андреевна. Скучно! *(Отходитъ и садится поодаль)*.

Серебряковъ. Конечно, ты права. Я не глупъ и понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старикъ, почти трупъ. Чтò жъ? Развѣ я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сихъ поръ живъ. Но погодите, скоро я освобожу васъ всѣхъ. Недолго мнѣ еще придется тянуть.

Елена Андреевна. Саша, я изнемогаю. Если за безсонныя ночи я заслуживаю награды, то объ одномъ только прошу: молчи! Бога ради молчи. Больше мнѣ ничего не нужно.

Серебряковъ. Выходить такъ, что, благодаря мнѣ, всѣ изнемогли, скучаютъ, губятъ свою молодость, одинъ только я наслаждаюсь жизнью и доволенъ. Ну да, конечно!

Елена Андреевна. Замолчи! Ты меня замучилъ!

Серебряковъ. Я всѣхъ замучилъ. Конечно!

Елена Андреевна *(плача)*. Невыносимо! Скажи, чего ты хочешь отъ меня?

Серебряковъ. Ничего.

Елена Андреевна. Ну такъ замолчи; я прошу.

Серебряковъ. Странное дѣло, заговорить Жоржъ, или эта старая идіотка Марья Васильевна, — и ничего, всѣ слушаютъ; но скажи я хоть одно слово, какъ всѣ начинаютъ чувствовать себя несчастными. Даже голосъ мой противень. Ну, допустимъ, я противень, я эгоистъ, я деспотъ, но неужели я даже въ старости не имѣю нѣкотораго права на эгоизмъ? Неужели я не заслужилъ? Жизнь моя была тяжела. Я и Иванъ Ивановичъ въ одно время были студентами. Спроси его. Онъ кутилъ, ѣздилъ къ цыганкамъ, былъ моимъ благодѣтелемъ, а я въ это время жилъ въ дешевомъ, грязномъ номерѣ, работалъ день и

ночь, какъ волъ, голодалъ и томился, что живу на чужой счетъ. Потомъ былъ я въ Гейдельбергѣ и не видѣлъ Гейдельберга; былъ въ Парижѣ и не видѣлъ Парижа: все время сидѣлъ въ четырехъ стѣнахъ и работалъ. А получивъ кафедру, я всю свою жизнь служилъ наукѣ, какъ говорится, вѣрой и правдой и теперь служу. Неужели же, я спрашиваю, за все это я не имѣю права на покойную старость, на вниманіе къ себѣ людей?

Елена Андреевна. Никто не оспариваетъ у тебя этого права. *(Окно хлопаетъ отъ вѣтра)*. Вѣтеръ поднялся, я закрою окно. *(Закрываетъ)*. Сейчасъ будетъ дождь. Никто у тебя твоихъ правъ не оспариваетъ. *(Пауза. Сторожъ въ саду стучитъ и поетъ пѣсню)*.

Серебряковъ. Всю жизнь работать для науки, привыкнуть къ своему кабинету, къ аудиторіи, къ почтеннымъ товарищамъ и вдругъ ни съ того ни съ сего очутиться въ этомъ склепѣ, каждый день видѣть тутъ пошлыхъ людей, слушать ничтожные разговоры. Я хочу жить, я люблю успѣхъ, люблю извѣстность, шумъ, а тутъ точно въ ссылкѣ. Каждую минуту тосковать по прошлому, слѣдить за успѣхами другихъ, бояться смерти... Не могу! Нѣтъ силъ! А тутъ еще не хотятъ простить мнѣ моей старости!

Елена Андреевна. Погоди, имѣй терпѣнье: черезъ пять-шесть лѣтъ и я буду стара.

(Входитъ Соня).

II.

Тѣ же и Соня.

Соня. Не знаю, отчего это такъ долго доктора нѣтъ. Я сказала Степану, что если онъ не застанетъ земскаго врача, то чтобъ поѣхалъ къ Лѣшему.

Серебряковъ. На что мнѣ твой Лѣшій? Онъ столько же понимаетъ въ медицинѣ, какъ я въ астрономіи.

Соня. Не выписывать же сюда для твоей подагры цѣлый медицинскій факультетъ.

Серебряковъ. Я съ этимъ юродивымъ и разговаривать не стану.

Соня. Это какъ угодно. *(Садится)*. Мнѣ все равно.

Серебряковъ. Который теперь часъ?

Елена Андреевна. Второй.

Серебряковъ. Душно... Соня, дай мнѣ со стола капли!

Соня. Сейчасъ. *(Подаетъ капли)*.

Серебряковъ (*раздраженно*). Ахъ, да не эти! Ни о чемъ нельзя попросить!

Соня. Пожалуйста, не капризничай! Можетъ-быть, это нѣкоторымъ и нравится, но меня избавь, сдѣлай милость. Я этого не люблю.

Серебряковъ. У этой дѣвочки невозможный характеръ. Чтò же ты сердишься?

Соня. И почему ты говоришь такимъ несчастнымъ тономъ? Пожалуй, кто-нибудь подумаетъ, что ты въ самомъ дѣлѣ несчастливъ. А на землѣ мало такихъ счастливыхъ, какъ ты.

Серебряковъ. Да, конечно! Я очень, очень счастливъ!

Соня. Разумѣется, счастливъ... А если подагра, то вѣдь ты знаешь отлично, что къ утру припадокъ кончится. Чтò же тутъ стонать? Экая важность!

(*Входитъ Войницкій въ халатъ и со свѣчой*).

III.

Тѣ же и Войницкій.

Войницкій. На дворѣ гроза собирается... (*Молнiя*). Вона какъ! Нелѣне и Соня, идите спать, я пришелъ васъ смѣнить.

Серебряковъ (*испуганно*). Нѣтъ, нѣтъ, не оставляйте меня съ нимъ! Нѣтъ! Онъ меня заговорить!

Войницкій. Но надо же дать имъ покой! Онѣ ужъ другую ночь не спять.

Серебряковъ. Пусть идутъ спать, но и ты уходи. Благодарю. Умоляю тебя. Во имя нашей прежней дружбы, не протестуй. Послѣ поговоримъ.

Войницкій. Прежней нашей дружбы... Это, признаюсь, для меня новость.

Елена Андреевна. Замолчите, Жоржъ.

Серебряковъ. Дорогая моя, не оставяй меня съ нимъ! Онъ меня заговорить.

Войницкій. Это становится даже смѣшно.

Голось Хрущова (*за сценой*). Они въ столовой? Здѣсь? Пожалуйста, велите убрать мою лошадь!

Войницкій. Вотъ докторъ пріѣхалъ.

(*Входитъ Хрущовъ*).

IV.

Тѣ же и Хрущовъ.

Хрущовъ. Какова погодка-то? За мной гнался дождь, и я едва ушелъ отъ него. Здравствуйте. (*Здоровается*).

Серебряковъ. Извините, васъ побезпокоили. Я этого вовсе не хотѣлъ.

Хрущовъ. Полноте, чтѣ за важность! Но чтѣ это вы вздумали, Александръ Владимировичъ? Какъ вамъ не стыдно хворать? Э, нехорошо! Чтѣ съ вами?

Серебряковъ. Отчего это доктора обыкновенно говорить съ больными снисходительнымъ тономъ?

Хрущовъ (*смѣется*). А вы не будьте наблюдательны. (*Нѣжно*) Пойдемте въ постель. Здѣсь вамъ неудобно. Въ постели и теплѣй и покойнѣй. Пойдемте... Тамъ я васъ выслушаю, и... и все будетъ прекрасно.

Елена Андреевна. Слушайся, Саша, иди.

Хрущовъ. Если вамъ больно ходить, то мы снесемъ васъ въ креслѣ.

Серебряковъ. Ничего, я могу... я пойду... (*Поднимается*). Только напрасно васъ побезпокоили. (*Хрущовъ и Соня ведутъ его подъ руки*). Къ тому же я не очень-то вѣрю... въ аптеку. Чтѣ вы меня ведете? Я и самъ могу. (*Уходитъ съ Хрущовымъ и Соней*).

V.

Елена Андреевна и Войницкій.

Елена Андреевна. Я замучилась съ нимъ. Едва на ногахъ стою.

Войницкій. Вы съ нимъ, а я съ самимъ собою. Вотъ ужъ третью ночь не сплю.

Елена Андреевна. Неблагополучно въ этомъ домѣ. Ваша мать ненавидитъ все, кромѣ своихъ брошюръ и профессора; профессоръ раздраженъ, мнѣ не вѣритъ, васъ боится; Соня злится на отца и не говоритъ со мною; вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать; я нудная, тоже раздражена и сегодня разъ двадцать принималась плакать. Однимъ словомъ, война всѣхъ противъ всѣхъ. Спрашивается, какой смыслъ въ этой войнѣ, къ чему она?

Войницкій. Оставимъ философію!

Елена Андреевна. Неблагополучно въ этомъ домѣ. Вы,

Жоржъ, образованы и умны и, кажется, должны понимать, что міръ погибаетъ не отъ разбойниковъ и не отъ воровъ, а отъ скрытой ненависти, отъ вражды между хорошими людьми, отъ всѣхъ этихъ мелкихъ дразгъ, которыхъ не видятъ люди, пазывающіе нашъ домъ гнѣздомъ интеллигенціи. Помогите же мнѣ мирить всѣхъ! Одна я не въ силахъ.

Войницкій. Сначала помирите меня съ самимъ собой! Дорогая моя... (*Припадаетъ къ ея рукамъ*).

Елена Андреевна. Оставьте! (*Отнимаетъ руку*). Уходите!

Войницкій. Сейчасъ пройдетъ дождь, и все въ природѣ освѣжится и легко вздохнетъ. Одно только меня не освѣжитъ гроза. Днемъ и ночью, точно домовою, душитъ меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлаго нѣтъ, оно глупо израсходовано на пустыки, а настоящее ужасно по своей нелѣпости. Вотъ вамъ моя жизнь и любовь: куда мнѣ ихъ дѣвать, что мнѣ изъ нихъ дѣлать? Чувство мое гибнетъ даромъ, какъ лучъ солнца, попавшій въ яму, и самъ я гибну...

Елена Андреевна. Когда вы мнѣ говорите о своей любви, я какъ-то тупѣю и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вамъ. (*Хочетъ идти*). Спокойной ночи!

Войницкій (*загораживая ей дорогу*). И если бъ вы знали, какъ я страдаю отъ мысли, что рядомъ со мною въ этомъ же домѣ гибнетъ другая жизнь—ваша! Чего вы ждете? Какал проклятая философія мѣшаетъ вамъ? Поймите же, что высшая нравственность заключается не въ томъ, что вы на свою молодость надѣли колодки и стараетесь заглушить въ себѣ жажду жизни...

Елена Андреевна (*пристально смотритъ на него*). Жоржъ, вы пьяны!

Войницкій. Можетъ-быть, можетъ-быть...

Елена Андреевна. Федоръ Ивановичъ у васъ?

Войницкій. Онъ у меня ночуетъ. Можетъ-быть, можетъ-быть. Все можетъ быть!

Елена Андреевна. И сегодня кутили? Къ чему эго?

Войницкій. Все-таки на жизнь похоже... Не мѣшайте мнѣ, Hélène!

Елена Андреевна. Раньше вы никогда не пили и никогда вы такъ много не говорили, какъ теперь. Идите спать! Мнѣ съ вами скучно. И скажите вашему другу Федору Ивано-

вичу, что если онъ не перестанетъ надѣлать мнѣ, то я приму мѣры. Идите!

Войницкій (*припадая къ ея рукѣ*). Дорогая моя... Чудная!

(*Входитъ Хрущовъ*).

VI.

Тѣ же и Хрущовъ.

Хрущовъ. Елена Андреевна, васъ Александръ Владимировичъ проситъ.

Елена Андреевна (*вырывая отъ Войницкаго руку*). Сію минуту! (*Уходитъ*).

Хрущовъ (*Войницкому*). У васъ нѣтъ ничего святого! Вы и эта милая барыня, что сейчасъ вышла, вспомнили бы, что ея мужъ былъ когда-то мужемъ вашей родной сестры, и что съ вами подъ одной кровлей живетъ молодая дѣвушка! О вашемъ романѣ говорить уже вся губернія. Какое безстыдство! (*Уходитъ къ больному*).

Войницкій (*одинъ*). Ушла... (*Пауза*). Десять лѣтъ тому назадъ я встрѣчалъ ее у покойной сестры. Тогда ей было 17, а мнѣ 37 лѣтъ. Отчего я тогда не влюбился въ нее и не сдѣлалъ ей предложенія? Вѣдь это было такъ возможно! И была бы теперь она моей женой... Да... Теперь оба мы проснулись бы отъ грозы; она испугалась бы грома, а я держалъ бы ее въ своихъ объятіяхъ и шепталъ: «Не бойся, я здѣсь». О, чудныя мысли, какъ хорошо, я даже смѣюсь... Но, Боже мой, мысли путаются въ головѣ... Зачѣмъ я старъ? Зачѣмъ она меня не понимаетъ? Ея риторика, лѣнивая мораль, вздорныя лѣнивыя мысли о гибели міра — все это мнѣ глубоко ненавистно... (*Пауза*). Зачѣмъ я дурно созданъ? Какъ я завидую этому шаяму Федору, или этому глупому Лѣшему! Они непосредственны, искренни, глупы... Они не знаютъ этой проклятой, отравляющей ироніи...

(*Входитъ Федоръ Ивановичъ, окутанный въ одеяло*).

VII.

Войницкій и Федоръ Ивановичъ.

Федоръ Ивановичъ (*въ дверь*). Вы одни здѣсь? Дамъ нѣтъ? (*Входитъ*). А меня гроза разбудила. Важный дождикъ. Который теперь часъ?

Войницкій А чортъ его знаетъ!

Федоръ Ивановичъ. Мнѣ какъ будто послышался голосъ Елены Андреевны.

Войницкій. Сейчасъ она была здѣсь.

Федоръ Ивановичъ. Роскошная женщина! (*Осматриваетъ склянки на столѣ*). Что это! Мятныя лепешки? (*Бстѣ*). Да-съ, роскошная женщина... Профессоръ боленъ, что ли?

Войницкій. Боленъ.

Федоръ Ивановичъ. Не понимаю такого существованія. Говорятъ, что древніе греки бросали слабыхъ и хилыхъ дѣтей въ пропасть съ горы Монблана. Вотъ такихъ бы надо бросать!

Войницкій (*раздраженно*). Не съ Монблана, а съ Тарпейской скалы. Какое грубое невѣжество!

Федоръ Ивановичъ. Ну, со скалы, такъ со скалы... Чортъ ли въ томъ? Что ты сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли?

Войницкій. Оставь меня. (*Пауза*).

Федоръ Ивановичъ. А то, можетъ-быть, въ профессоршу влюбленъ? А? Что жъ! Это можно... Вздохай... Только послушай: если въ сплетняхъ, вотъ что по уѣзду ходятъ, есть хоть одна сотая доля правды, и если я узнаю, то не проси милости, сброшу тебя съ Тарпейской скалы...

Войницкій. Она мой другъ.

Федоръ Ивановичъ. Уже?

Войницкій. Что значить это «уже»?

Федоръ Ивановичъ. Женщина можетъ быть другомъ мужчины только подъ такимъ условіемъ: сначала пріятель, потомъ любовница, а затѣмъ ужъ другъ.

Войницкій. Пошляческая философія.

Федоръ Ивановичъ. По этому случаю надо выпить. Пойдемъ, у меня, кажется, еще шартрѣзъ остался. Выпьемъ. А какъ разсвѣтетъ, ко мнѣ поѣдемъ. Идѣть? У меня есть приказчикъ Лука, который никогда не скажетъ: «идеть», а «идѣть». Мопенникъ страшный... Такъ идѣть? (*Увидавъ входящую Соню*) Батюшки-свѣты, извините, я безъ галстука! (*Убѣгаетъ*).

VIII.

Войницкій и Соня.

Соня. А ты, дядя Жоржъ, опять пилъ шампанское съ Федей и катался на тройкѣ. Подружились ясные соколы. Ну, тотъ ужъ отпѣтый и родился кутилой, а ты-то съ чего? Въ твои годы это совсѣмъ не къ лицу.

Войницкій. Годы тутъ ни при чемъ. Когда нѣтъ настоящей жизни, то живутъ миражами. Все-таки лучше, чѣмъ ничего.

Соня. Сѣно у насъ не убрано; Герасимъ сегодня сказалъ, что оно сгнѣтъ отъ дождя, а ты занимаешься миражами. *(Испуганно)* Дядя, у тебя на глазахъ слезы!

Войницкій. Какія слезы? Ничего нѣтъ... вздоръ... сейчасъ взглянула на меня, какъ покойная твоя мать. Милая моя... *(Жадно цѣлуетъ руки и лицо)*. Сестра моя... милая сестра моя... Гдѣ она теперь? Если бъ она знала! Ахъ, если бъ она знала!

Соня. Что? Дядя, что знала?

Войницкій. Тяжело, нехорошо... Ничего... *(Входитъ Хрущовъ)*. Послѣ... Ничего... Я уйду... *(Уходитъ)*.

IX.

Соня и Хрущовъ.

Хрущовъ. Вашъ батюшка совсѣмъ не хочетъ слушаться. Я ему говорю—подагра, а онъ—ревматизмъ; я прошу его лежать, а онъ сидитъ. *(Беретъ фуражку)*. Нервы.

Соня. Избалованъ. Положите вашу шапку. Дайте дождю кончиться. Хотите закусить?

Хрущовъ. Пожалуй, дайте.

Соня. Я люблю по ночамъ закусывать. Въ буфетѣ, кажется, есть что-то... *(Роется въ буфетѣ)*. Развѣ ему докторъ нуженъ? Ему нужно, чтобы около него сидѣла дюжина дамъ, заглядывала бы ему въ глаза и стонала:— «Профессоры!». Вотъ берите сыръ...

Хрущовъ. Такимъ тономъ не говорятъ о родномъ отцѣ. Согласенъ, онъ тяжелый человекъ, но если сравнить его съ другими, то всѣ эти дяди Жоржи и Иваны Иванны не стоятъ его мизинца.

Соня. Вотъ бутылка съ чѣмъ-то. Я вамъ не объ отцѣ, а о великомъ человекѣ. Отца я люблю, а великіе люди съ нхъ китайскими церемоніями мнѣ наскучили. *(Садятся)*. Дождь-то какой! *(Молнія)*. Вотъ!

Хрущовъ. Гроза идетъ мимо, только краемъ захватить.

Соня *(наливаетъ)*. Пейте.

Хрущовъ. Сто лѣтъ вамъ жить. *(Пьетъ)*.

Соня. Вы сердитесь на насъ за то, что мы побезпокоили васъ ночью?

Хрущовъ. Напротивъ. Если бы вы меня не позвали, то

я бы теперь спать, а видѣть васъ наяву гораздо пріятнѣе, чѣмъ во снѣ.

Соня. Отчего же у васъ такое сердитое лицо?

Хрущовъ. Оттого, что я сердить. Здѣсь никого нѣтъ, и можно говорить прямо. Съ какимъ удовольствіемъ, Софья Александровна, я увезъ бы васъ отсюда сію минуту. Не могу я дышать этимъ вашимъ воздухомъ, и мнѣ кажется, что онъ отравляетъ васъ. Вашъ отецъ, который весь упелъ въ свою подагру и въ книги и знать больше ничего не хочетъ, этотъ дядя Моржъ, наконецъ ваша мачеха...

Соня. Что мачеха?

Хрущовъ. Нельзя обо всемъ говорить... нельзя! Великолѣпная моя, я многого не понимаю въ людяхъ. Въ человѣкѣ должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли... Часто я вижу прекрасное лицо и такую одежду, что кружится голова отъ восторга, но душа и мысли, Боже мой! Въ красивой оболочкѣ прячется иногда душа такая черная, что не затрешь ее никакими бѣлилами... Простите мнѣ, я волнуюсь... Вѣдь вы мнѣ безконечно дороги...

Соня (*роняетъ ножъ*). Уронила...

Хрущовъ (*поднимаетъ*). Ничего... (*Пауза*). Бываетъ, что идешь темной ночью по лѣсу, и если въ это время свѣтитъ вдали огонекъ, то на душѣ почему-то такъ хорошо, что не замѣчаешь ни утомленія, ни потемокъ, ни колючихъ вѣтвочекъ, которыя бьютъ тебя прямо въ лицо. Я работаю отъ утра до глубокой ночи, зиму и лѣто не знаю покою, воюю съ тѣми, кто меня не понимаетъ, страдаю иногда невыносимо... но вотъ наконецъ я нашелъ свой огонекъ. Я не буду хвастать, что люблю васъ больше всего на свѣтѣ. Любовь у меня не все въ жизни... она моя награда! Моя хорошая, славная, нѣтъ выше награды для того, кто работаетъ, борется, страдаетъ...

Соня (*сзволнованная*). Виновата... Одинъ вопросъ, Михаилъ Львовичъ.

Хрущовъ. Чтò? Говорите скорѣе...

Соня. Видите ли... Вотъ вы часто бываете у насъ, и я тоже иногда бываю у васъ со своими. Сознайтесь, что вы этого никакъ не можете простить себѣ...

Хрущовъ. То-есть?

Соня. То-есть я хочу сказать, что ваше демократическое чувство оскорблено тѣмъ, что вы коротко знакомы съ нами. Я институтка, Елена Андреевна аристократка, одѣваемся мы по модѣ, а вы демократъ...

Хрущовъ. Ну... ну... не будемъ говорить объ этомъ! Не время!

Соня. Главное, что вы сами копаете торфъ, сажаете лѣсъ... какъ-то странно... Однимъ словомъ, вы народникъ...

Хрущовъ. Демократъ, народникъ... Софья Александровна, да неужели объ этомъ можно говорить серьезно и даже съ дрожью въ голосъ?

Соня. Да, да, серьезно, тысячу разъ серьезно.

Хрущовъ. Да нѣтъ, нѣтъ...

Соня. Увѣряю васъ и клянусь, чѣмъ угодно, что если бы у меня, положимъ, была сестра, и если бы вы ее полюбили и сдѣлали ей предложеніе, то вы бы этого никогда себѣ не простили, и вамъ было бы стыдно показаться на глаза вашимъ земскимъ докторамъ и женщинамъ-врачамъ, стыдно, что вы полюбили институтку, кисейную барышню, которая не была на курсахъ и одѣвается по модѣ. Знаю я очень хорошо... По вашимъ глазамъ я вижу, что это правда! Однимъ словомъ, короче говоря, эти ваши лѣса, торфъ, вышитая сорочка—все рисовка, кривлянье, ложь и больше ничего.

Хрущовъ. За что? Дитя мое, за что вы меня оскорбили? Впрочемъ, я глупецъ. Такъ мнѣ и нужно: не въ свои сани не садись! Прощайте! *(Идетъ къ двери)*.

Соня. Прощайте... Я была рѣзка, прошу извиненія.

Хрущовъ *(возвращаясь)*. Если бы вы знали, какъ здѣсь у васъ тяжело и душно! Среда, гдѣ къ каждому человѣку подходятъ бокомъ, смотрятъ на него искоса и ищутъ въ немъ народника, психопата, фразера—все, что угодно, но только не человѣка! «О, это, говорятъ, психопатъ!» — и рады. «Это фразеръ!» — и довольны, точно открыли Америку! А когда меня не понимаютъ и не знаютъ, какой ярлыкъ прилѣпить къ моему лбу, то винятъ въ этомъ не себя, а меня же, и говорятъ:—«Это странный человѣкъ, странный!» Вамъ еще только 20 лѣтъ, но ужъ вы стары и разсудительны, какъ вашъ отецъ и дядя Жоржъ, и я нисколько бы не удивился, если бы вы пригласили меня лѣчить васъ отъ подагры. Такъ жить нельзя! Кто бы я ни былъ, глядите мнѣ въ глаза прямо, ясно, безъ заднихъ мыслей, безъ программы, и ищите во мнѣ прежде всего человѣка, иначе въ вашихъ отношеніяхъ къ людямъ никогда не будетъ мира. Прощайте! И попомните мое слово, съ такими хитрыми, подозрительными глазами, какъ у васъ, вы никогда не полюбите!

Соня. Неправда!

Хрущовъ. Правда!

Соня. Неправда! Вотъ на зло же вамъ... я люблю! Люблю, и мнѣ больно, больно! Оставьте меня! Уходите, умоляю... не бывайте у насъ... не бывайте...

Хрущовъ. Честь имѣю кланяться! (*Уходитъ*).

Соня (*одна*). Разозлился. Не дай Богъ имѣть такой характеръ, какъ у этого человѣка! (*Пауза*). Онъ прекрасно говорить, но кто поручится мнѣ, что это не фразерство? Онъ постоянно думаетъ и говоритъ только о своихъ лѣсахъ, сажаетъ деревья... Это хорошо, но вѣдь очень можетъ быть, что это психопатія... (*Закрываетъ лицо руками*). Ничего не понимаю! (*Плачетъ*). Учился на медицинскомъ факультетѣ, а занимается совсѣмъ не медициной... Это все странно, странно... Господи, да помоги же мнѣ все это обдумать!

(*Входитъ Елена Андреевна*).

Х.

Соня и Елена Андреевна.

Елена Андреевна (*открываетъ окна*). Прошла гроза! Какой хорошей воздухъ! (*Пауза*). Гдѣ Лѣшій?

Соня. Ушелъ. (*Пауза*).

Елена Андреевна. Софи!

Соня. Что?

Елена Андреевна. До какихъ поръ вы будете дуться на меня? Другъ другу мы не сдѣлали никакого зла. Зачѣмъ же намъ быть врагами? Полноге...

Соня. Я сама хотѣла... (*Обнимаетъ ее*). Милая!

Елена Андреевна. И отлично... (*Объ взволнованы*).

Соня. Папа легъ?

Елена Андреевна. Нѣтъ, сидитъ въ гостиной. Не говоримъ мы другъ съ другомъ по цѣлому мѣсяцу и Богъ знаетъ изъ-за чего. Пора наконецъ... (*Смотритъ на столъ*)
Что это?

Соня. Лѣшій ужиналъ.

Елена Андреевна. И вино есть... Давайте выпьемъ брудершафтъ.

Соня. Давайте.

Елена Андреевна. Изъ одной рюмки... (*Наливаетъ*). Этакъ лучше. Ну, значитъ—ты?

Соня. Ты. (*Пьетъ и целуются*). Я давно ужъ хотѣла мириться, да все какъ-то совѣстно было... (*Плачетъ*).

Елена Андреевна. Что же ты плачешь?

Соня. Ничего, это я такъ.

Елена Андреевна. Ну, будетъ, будетъ... *(Плачетъ)*. Чудачка, и я черезъ тебя заплакала! *(Пауза)*. Ты на меня сердита за то, что я будто вышла за твоего отца по расчету. Если вѣришь клятвамъ, то, клянусь тебѣ, я вышла за него по любви. Я увлеклась имъ, какъ ученымъ и извѣстнымъ человѣкомъ. Любовь была не настоящая, искусственная, но вѣдь мнѣ казалось тогда, что она настоящая! Я не виновата. А ты съ самой нашей свадьбы казнила меня своими хитрыми, подозрительными глазами...

Соня. Ну, миръ, миръ! Забудемъ. Я ужъ второй разъ сегодня слышу, что у меня хитрые, подозрительные глаза.

Елена Андреевна. Не надо смотрѣть такъ хитро. Тебѣ это не идетъ. Надо всѣмъ вѣрить, иначе жить нельзя.

Соня. Пуганая ворона куста боится. Мнѣ такъ часто приходилось разочаровываться.

Елена Андреевна. Въ комъ? Отецъ твой хорошій, честный человѣкъ, труженикъ. Ты сегодня попрекнула его счастьемъ. Если онъ въ самомъ дѣлѣ былъ счастливъ, то за трудами онъ не замѣчалъ этого своего счастья. Я не сдѣлала умышленно зла ни отцу ни тебѣ. Дядя твой Жоржъ очень добрый, честный, но несчастный, неудовлетворенный человѣкъ... Кому же не вѣришь? *(Пауза)*.

Соня. Скажи мнѣ по совѣсти, какъ другу... Ты счастлива?

Елена Андреевна. Нѣтъ.

Соня. Я это знала. Еще одинъ вопросъ. Скажи откровенно, ты хотѣла бы, чтобы у тебя былъ молодой мужъ?

Елена Андреевна. Какая ты еще дѣвочка... Конечно, хотѣла бы! *(Смѣется)*. Ну, спроси еще что-нибудь, спроси...

Соня. Тебѣ Лѣшій нравится?

Елена Андреевна. Да, очень.

Соня *(смѣется)*. У меня глупое лицо... да? Вотъ онъ ушелъ, а я все еще слышу его голосъ и шаги, а посмотрю на темное окно—тамъ мнѣ представляется его лицо... Дай мнѣ высказаться... Но я не могу говорить такъ громко, мнѣ стыдно. Пойдемъ ко мнѣ въ комнату, тамъ поговоримъ. Я тебѣ кажусь глупой? Сознайся... Онъ хорошій человѣкъ?

Елена Андреевна. Очень, очень...

Соня. Мнѣ кажутся странными его лѣса, торфъ... Я не понимаю.

Елена Андреевна. Да развѣ въ лѣсахъ дѣло? Милая моя, пойми, вѣдь это талантъ! Ты знаешь, что значитъ талантъ?

Смѣлость, свободная голова, широкій размахъ... посадить дерево, или выкопаетъ какой-нибудь пудъ торфа—и ужъ загадываетъ, что будетъ отъ этого черезъ тысячу лѣтъ, ужъ снится ему счастье человѣчества. Такіе люди дороги, и ихъ любить нужно. Дай вамъ Богъ. Оба вы чистые, смѣлые, честные. Онъ взбалмошный, ты разсудительная, умная... Будете отлично дополнять другъ друга... (*Встаетъ*). А я нудная, эпизодическое лицо... И въ музыкѣ, и въ домѣ мужа, и во всѣхъ вашихъ романахъ—ведѣ я была только эпизодическимъ лицомъ. Собственно говоря, Соня, если вдуматься, то, вѣроятно, я очень, очень несчастна! (*Ходитъ съ волнами по сценѣ*). Нѣтъ мнѣ счастья на этомъ свѣтѣ! Нѣтъ! Что ты смѣешься?

Соня (*смѣется, закрывая лицо*). Я такъ счастлива! Какъ я счастлива!

Елена Андреевна (*ломая руки*). Въ самомъ дѣлѣ, какъ я несчастна!

Соня. Я счастлива... счастлива.

Елена Андреевна. Мнѣ хочется играть... Я сыграла бы теперь что-нибудь...

Соня. Сыграй. (*Обнимаетъ ее*). Я не могу спать... Сыграй.

Елена Андреевна. Сейчасъ. Твой отецъ не спитъ. Когда онъ боленъ, его раздражаетъ музыка. Поди спроси. Если онъ ничего, то сыграю... поди...

Соня. Сейчасъ. (*Уходитъ*).

(*Въ саду стучитъ сторожъ*).

Елена Андреевна. Давно ужъ я не играла. Буду играть и плакать, какъ дура... (*Въ окно*) Это ты стучишь, Ефимъ?

Голось сторожа. Эге!

Елена Андреевна. Не стучи, панъ нездоровъ.

Голось сторожа. Сейчасъ уйду! (*Подсвистываетъ*) Жучка! Трезоръ! Жучка! (*Пауза*).

Соня (*вернувшись*). Нелзя!

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Гостиная въ домѣ Серебрякова. Три двери: направо, налево и по-
серединѣ. День. Слышно, какъ за сценой Елена Андреевна играетъ
на роялѣ арію Ленскаго передъ дуэлью изъ „Евгенія Онѣгина“.

I.

Орловскій, Войницкій и Федоръ Ивановичъ (*послѣдній съ
черкесскомъ костюмъ съ папахой съ рукавъ*).

Войницкій (*слушая музыку*). Это она играетъ, Елена
Андреевна... моя любимая вещь... (*Музыка за сценой умол-
каетъ*). Да... хорошая вещь... Кажется, никогда еще у насъ
такъ скучно не было...

Федоръ Ивановичъ. Не видалъ ты, душа моя, настоящей
скуки. Когда я былъ въ Сербіи добровольцемъ, такъ вотъ
гдѣ была скука! Жарко, душно, грязно, голова трещитъ съ
похмелья... Сижу я разъ, помню, въ грязномъ сараишкѣ...
Со мною капитанъ Кашкинази... Все ужъ переговорили,
итти некуда, дѣлать нечего, пить не хочется — тошно, по-
нимаешь ли, просто хоть въ петлю! Сидимъ, какъ аспиды,
и другъ на друга глядимъ... Онъ на меня глядитъ, а я на
него... я на него, а онъ на меня... глядимъ и сами не
знаемъ, чего... Проходитъ, понимаешь ли, часъ, другой, а
мы все глядимъ. Вдругъ онъ ни съ того ни съ сего вска-
киваетъ, выхватываетъ пашку и на меня... Здравствуйте...
Я, конечно, сейчасъ—вѣдь убьетъ же!—вынимаю свою пашку,
и пошла писать: чикъ-чакъ, чикъ-чакъ, чикъ-чакъ... насилу
розняли. Я потомъ ничего, а капитанъ Кашкинази до сихъ
поръ съ шрамомъ на щекѣ ходить. Такъ вотъ до какой
степени люди балдѣютъ иногда...

Орловскій. Да, бываетъ. (*Входитъ Соня*).

II.

Тѣ же и Соня.

Соня (*въ сторону*). Не нахожу себѣ мѣста... (*Идетъ и
сѣдется*).

Орловскій. Кисанька, куда ты? Посиди съ нами.

Соня. Федя, поди сюда... (*Отводитъ Федора Ивановича
въ сторону*). Поди сюда...

Федоръ Ивановичъ. Чтò тебѣ? Отчего у тебя лицо такое
лучезарное?

Соня. Одея, дай слово, что исполнишь!

Федоръ Ивановичъ. Ну?

Соня. Поѣзжай... къ Лѣшему.

Федоръ Ивановичъ. Зачѣмъ?

Соня. Да такъ... просто поѣзжай... спроси, отчего онъ у насъ такъ долго не былъ... Ужъ двѣ недѣли.

Федоръ Ивановичъ. Покраснѣла! Стыдно! Господа, Соня влюблена!

Всѣ. Стыдно! Стыдно!

Соня (*закрываетъ лицо и убѣгаетъ*).

Федоръ Ивановичъ. Слоняется, какъ тѣнь, изъ комнаты въ комнату и мѣста себѣ не находитъ. Въ Лѣшаго влюблена.

Орловскій. Славная дѣвочка... Люблю. Мечталъ я, Одеяша, что ты на ней женишься, лучшей невесты не скоро найдешь, ну, да, значить, такъ Богу угодно.. А какъ бы мнѣ пріятно и умирительно было! Приѣхалъ бы я къ тебѣ, а у тебя молодая жена, семейный очагъ, самоварчикъ кипить...

Федоръ Ивановичъ. Неграмотенъ я по этой части. Если бы когда-нибудь пришла мнѣ въ голову блажь жениться, то во всякомъ случаѣ я женился бы на Юлѣ. Эта, по крайности, маленькая, а изъ всѣхъ золь надо всегда выбирать меньшее. Да и хозяйка... (*Хлопаетъ себя по лбу*) Идея!

Орловскій. Что такое?

Федоръ Ивановичъ. Давайте шампанскаго выпьемъ!

Войницкій. Рано еще да и жарко... погоди...

Орловскій (*мобуясь*). Сыночекъ мой, красавецъ... Шампанскаго захотѣлъ, дуся моя...

(*Входитъ Елена Андреевна*).

III.

Тѣ же и Елена Андреевна.

Елена Андреевна (*идетъ черезъ сцену*).

Войницкій. Полюбуйтесь: идетъ и отъ лѣни шатается. Очень мило! Очень!

Елена Андреевна. Перестаньте, Жоржъ. И безъ вашего жужжанья скучно.

Войницкій (*загораживая ей дорогу*). Талантъ, артистка! Ну, похожи ли вы на артистку? Апатія, Обломовъ, вахлакъ... Столько добродѣтели, что, извините, даже глядѣтъ противно...

Елена Андреевна. Не глядите... пустите меня...

Войницкій. Что томитесь? (*Живо*) Ну, дорогая мод, рос-

кошь, будьте умницей! Въ вапихъ жилахъ течеть русалочья кровь, будьте же русалкой!

Елена Андреевна. Пустите!

Войницкій. Дайте себѣ волю хоть разъ въ жизни, влюбитесь поскорѣе по самыя уши въ какого-нибудь водяного...

Федоръ Ивановичъ. И бултыхъ съ головою въ омутъ съ нимъ вмѣстѣ такъ, чтобы герръ профессоръ и всѣ мы только руками развели!

Войницкій. Русалка, а? Люби, покуда любится!

Елена Андреевна. И чтѣ вы меня учите? Точно я безъ васъ не знаю, какъ бы я жила, если бѣ моя воля! Я бы улетѣла вольной птицей подальше отъ всѣхъ васъ, отъ вапихъ сонныхъ физиономій, скучныхъ, постылыхъ разговоровъ, забыла бы, что всѣ вы существуете на свѣтѣ, и никто бы не посмѣлъ тогда учить меня. Но нѣтъ у меня своей воли. Я труслива, застѣнчива, и мнѣ все кажется, что если бы я измѣнила, то всѣ жены взяли бы съ меня примѣръ и побросали бы своихъ мужей, что меня накажетъ Богъ и замучитъ совѣсть, а то бы я показала вамъ, какъ живутъ на волѣ! (*Уходитъ*).

Орловскій. Душа моя, красавица...

Войницкій. Я, кажется, скоро начну презирать эту женщину! Застѣнчива, какъ дѣвчонка, и философствуетъ, какъ старый, преукрашенный добродѣтелями дьячокъ! Кислота! Простокваша!

Орловскій. Полно, полно... Гдѣ теперь профессоръ?

Войницкій. У себя въ кабинетѣ. Пишетъ.

Орловскій. Онъ вызвалъ меня сюда письмомъ по какому-то дѣлу. Вамъ не извѣстно, какое дѣло?

Войницкій. Никакихъ у него нѣтъ дѣлъ. Пишетъ чепуху, брюзжитъ и ревнуетъ, больше ничего.

(*Входятъ изъ правой двери Желтухинъ и Юля*).

IV.

Тѣ же, Желтухинъ и Юля.

Желтухинъ. Здравствуйте, господа. (*Здоровается*).

Юля. Здравствуйте, крестневъскій! (*Цѣлуется*). Здравствуй, Еденька! (*Цѣлуется*). Здравствуйте, Егоръ Петровичъ! (*Цѣлуется*).

Желтухинъ. Александръ Владимировичъ дома?

Орловскій. Дома. Въ кабинетѣ сидитъ.

Желтухинъ. Надо пойти къ нему. Онъ писалъ мнѣ, что дѣло какое-то есть... (*Уходитъ*).

Юля. Егоръ Петровичъ, вы вчера получили ячмень по вашей запискѣ?

Войницкій. Благодарю, получилъ. Сколько вамъ слѣдуетъ? Мы еще что-то брали у васъ весной, не помню чтѣ... надо намъ счесться. Терпѣть не могу путать и запускать счеты.

Юля. Брали весной восемь четвертей ржи, Егоръ Петровичъ, двухъ телушекъ, одного бычка, и изъ вашего хутора присылали за масломъ.

Войницкій. Сколько же вамъ слѣдуетъ?

Юля. Какъ же я могу? Я безъ счетовъ не могу, Егоръ Петровичъ.

Войницкій. Счеты я вамъ сейчасъ принесу, если нужно...

(*Уходитъ и тотчасъ же возвращается со счетами*).

Орловскій. Манюня, братѣнь здоровъ?

Юля. Слава Богу. Крестненькій, гдѣ это вы купили такой галстукъ?

Орловскій. Въ городѣ, у Кирпичева.

Юля. Славненькій. Надо будетъ Ленечкѣ такой купить.

Войницкій. Вотъ вамъ и счеты.

Юля (*садится и щелкаетъ на счетахъ*).

Орловскій. Какую Ленѣ Богъ хозяйку послалъ! Пупсикъ, отъ земли не видно, а гляди, какъ работаетъ! Ишь ты!

Федоръ Ивановичъ. Да, а онъ только ходитъ да за щеку держится. Свистунъ.

Орловскій. Салопница моя милая... Знаете, вѣдь она въ салопѣ ходитъ. Ъду я въ пятницу по базару, а она ходитъ около возовъ въ салопѣ...

Юля. Вотъ вы меня и сбили.

Войницкій. Пойдемте, господа, куда-нибудь въ другое мѣсто. Въ залу, что ли. Надоѣло мнѣ здѣсь... (*Зъваетъ*).

Орловскій. Въ залу, такъ въ залу... мнѣ все равно...

(*Уходятъ въ лѣвую дверь*).

Юля (*одна; послѣ паузы*). Фединька чеченцемъ нарядился... Чтѣ значить—родители направленія хорошаго не дали... Красивѣйшій мужичины во всей губерніи нѣтъ, умный, богатый, а никакого толку... Дуракъ дуракомъ... (*Щелкаетъ на счетахъ. Входитъ Соня*).

V.

Юля и Соня.

Соня. Вы у насъ, Юлечка? А я не знала...

Юля (*цѣлуется*). Милая!

Соня. Что вы тутъ дѣлаете? Считаете? Какая вы хорошая хозяйка, даже смотрѣть завидно. Юлечка, отчего вы замужъ не выходите?

Юля. Такъ... Меня прѣзжали сватать, да я отказала. За меня не посватается настоящій женихъ! (*Вздыхаетъ*) Нѣтъ!

Соня. Почему же?

Юля. Я необразованная дѣвушка. Меня вѣдь изъ второго класса гимназiи взяли!

Соня. Зачѣмъ же васъ взяли, Юлечка?

Юля. За неспособности.

Соня (*смѣется*).

Юля. Что вы смѣетесь, Сонечка?

Соня. У меня въ головѣ какъ-то странно... Юлечка, я сегодня такъ счастлива, такъ счастлива, что даже скучно отъ счастья... Мѣста себѣ не найду... Ну, давайте говорить о чемъ-нибудь, давайте... Вы были когда-нибудь влюблены?

Юля (*утвердительно киваетъ головой*).

Соня. Да? Онъ интересный?

Юля (*шепчетъ ей на ухо*).

Соня. Въ кого? Въ Федора Иваныча?

Юля (*утвердительно киваетъ головой*). А вы?

Соня. И я тоже... только я не въ Федора Иваныча. (*Смѣется*). Ну, еще скажите что-нибудь.

Юля. Мнѣ давно ужъ нужно поговорить съ вами, Сонечка.

Соня. Пожалуйста.

Юля. Я хочу объяснить. Видите ли... Я всегда къ вамъ душевно расположена... У меня много знакомыхъ дѣвушекъ, но вы изъ всѣхъ самая лучшая... Если бъ вы мнѣ сказали:— «Юлечка, дайте мнѣ десять лошадей, или, положимъ, двѣсти овецъ». Съ удовольствiемъ... Для васъ бы ничего не пожалѣла...

Соня. Что же вы сконфузились, Юлечка?

Юля. Мнѣ совѣстно... Я... я душевно къ вамъ расположена. Изъ всѣхъ вы самая лучшая... не гордая... Какой у васъ миленькiй ситчикъ!

Соня. Про ситчикъ послѣ... Говорите...

Юля (*вставая*). Не знаю, какъ это по-умному... Позвольте

предложить вамъ... осчастливить... то-есть... то-есть... то-есть... выходите замужъ за Ленечку. (*Закрываетъ лицо*).

Соня (*вставая*). Не будемъ говорить объ этомъ, Юлечка... Не надо, не надо...

(*Входитъ Елена Андреевна*).

VI.

Тѣ же и Елена Андреевна.

Елена Андреевна. Положительно дѣваться некуда. Оба Орловскіе и Жоржъ ходятъ по всѣмъ комнатамъ, и куда ни войдешь, вездѣ они. Просто даже тоска беретъ. Чтѣ имъ здѣсь надо? Ъхали бы куда-нибудь.

Юля (*сквозь слезы*). Здравствуйте, Елена Андреевна! (*Хочетъ цѣловаться*).

Елена Андреевна. Здравствуйте, Юлечка. Простите, я не люблю часто цѣловаться. Соня, чтѣ отецъ дѣлаеть? (*Пауза*). Соня, чтѣ же ты мнѣ не отвѣчаешь? Я спрашиваю: чтѣ отецъ дѣлаеть? (*Пауза*). Соня, отчего ты не отвѣчаешь?

Соня. Вамъ хочется знать? Идите сюда... (*Отводитъ ее немного въ сторону*). Извольте, я скажу... Слишкомъ чисто у меня сегодня на душѣ, чтобы я могла говорить съ вами и продолжать скрывать. Вотъ возьмите! (*Подаетъ письмо*). Это я нашла въ саду. Юлечка, пойдемте! (*Уходитъ съ Юлей въ лѣвую дверь*).

VII.

Елена Андреевна, потомъ Федоръ Ивановичъ.

Елена Андреевна (*одна*). Чтѣ такое? Письмо Жоржа ко мнѣ! Но чѣмъ же я виновата? О, какъ это рѣзко, безбожно... У нея такъ чисто на душѣ, что она не можетъ говорить со мной... Боже мой, такъ оскорблять... Голова кружится, я сейчасъ упаду...

Федоръ Ивановичъ (*выходитъ изъ лѣвой двери и идетъ черезъ сцену*). Чтѣ это вы все вздрагиваете, когда видите меня? (*Пауза*). Гм... (*Беретъ у нея изъ рукъ письмо и рветъ его на клочки*). Все это вы бросьте. Вы должны думать только обо мнѣ. (*Пауза*).

Елена Андреевна. Это чтѣ значить?

Федоръ Ивановичъ. А это значить, что если я кого разъ намѣтилъ, тому ужъ не вырваться изъ этихъ рукъ.

Елена Андреевна. Нѣтъ, это значить, что вы глупы и наглы.

Федоръ Ивановичъ. Сегодня въ семь съ половиною часовъ вечера вы должны быть за садомъ около мостика и ждать меня... Ну-съ? Больше я ничего не имѣю вамъ сказать... Итакъ, мой ангелъ, до семи съ половиною часовъ. *(Хочетъ взять ее за руку)*.

Елена Андреевна *(даетъ ему пощечину)*.

Федоръ Ивановичъ. Сильно сказано...

Елена Андреевна. Ступайте прочь!

Федоръ Ивановичъ. Слушаю-съ... *(Идетъ и возвращается)*. Я тронуть... Будемъ разсуждать мирно. Видите ли... на этомъ свѣтѣ я все испыталъ, даже уху изъ золотыхъ рыбокъ два раза ѣлъ... Только вотъ еще на шарахъ не леталъ и ни разу еще у ученыхъ профессоровъ женъ не увозилъ...

Елена Андреевна. Ступайте...

Федоръ Ивановичъ. Сейчасъ уйду... Все испыталъ... И столько у меня отъ этого наглости, что просто дѣваться некуда. То-есть все это я къ тому говорю, что если вамъ когда-нибудь понадобится другъ или вѣрный песь, то обратитесь ко мнѣ... Я тронуть...

Елена Андреевна. Никакихъ мнѣ псовъ не надо... Ступайте.

Федоръ Ивановичъ. Слушаю... *(Растроганный)* Тѣмъ не менѣе все-таки я тронуть... Конечно, тронуть... Да... *(Нерешительно уходитъ)*.

Елена Андреевна *(одна)*. Голова болитъ... Каждую ночь я вижу нехорошіе сны и предчувствую что-то ужасное... Какая однако мерзость! Молодежь родилась и воспиталась вмѣстѣ, другъ съ другомъ на ты, всегда цѣлуются, жить бы имъ въ мирѣ и въ согласіи, но, кажется, скоро всѣ съѣдятъ другъ друга... Лѣса спасаетъ Лѣпій, а людей некому спасать. *(Идетъ къ лѣвой двери, но, увидавъ идущихъ навстрѣчу Желтухина и Юлю, уходитъ въ среднюю)*.

VIII.

Желтухинъ и Юля.

Юля. Какъ мы съ тобой несчастны, Ленечка, ахъ, какъ несчастны!

Желтухинъ. Кто же уполномочивалъ тебя говорить съ нею? Непрошенная сваха, баба! Ты мнѣ все дѣло испортила! Она подумаетъ, что я самъ не умѣю говорить, и... и какое мѣщанство! Тысячу разъ говорилъ я, что все это надо оставить. Ничего, кромѣ униженія и этихъ всякихъ наме-

ковъ, низостей, подлостей... Старикъ, вѣроятно, догадался, что я люблю ее, и ужъ эксплуатируетъ мое чувство! Хочеть, чтобы я купилъ у него это имѣнїе.

Юля. А сколько онъ просить?

Желтухинъ. Тссс!.. Идутъ...

(Входятъ изъ лѣвой двери Серебряковъ, Орловскій и Марья Васильевна; послѣдняя читаетъ на ходу брошюрку).

IX.

Тѣ же, Серебряковъ, Орловскій и Марья Васильевна.

Орловскій. Я п самъ, душа моя, что-то не совсѣмъ здоровъ. Вотъ ужъ два дня голова болитъ и все тѣло ломить...

Серебряковъ. Гдѣ же остальные? Не люблю я этого дома. Какой-то лабиринтъ. Двадцать шесть громадныхъ комнатъ, разбредутся всѣ, и никого никогда не найдешь. *(Звонитъ).* Пригласите сюда Егора Петровича и Елену Андреевну.

Желтухинъ. Юля, тебѣ нечего дѣлать, поди поищи Егора Петровича и Елену Андреевну.

Юля *(уходитъ)*.

Серебряковъ. Съ нездоровьемъ еще можно мириться, куда ни шло, но чего я не могу переварить, такъ этого своего теперешняго настроенія. У меня такое чувство, какъ будто я уже умеръ или съ земли свалился на какую-то чужую планету.

Орловскій. Оно съ какой точки взглянуть...

Марья Васильевна *(читая)*. Дайте мнѣ карандашъ... Опять противорѣчїе! Надо отмѣтить.

Орловскій. Извольте, ваше превосходительство! *(Подаетъ карандашъ и цѣлуетъ руку).*

(Входитъ Войницкій).

X.

Тѣ же, Войницкій, потомъ Елена Андреевна.

Войницкій. Я вамъ нуженъ?

Серебряковъ. Да, Жоржъ.

Войницкій. Чтò вамъ отъ меня угодно?

Серебряковъ. Вамъ... Чтò же ты сердисься? *(Пауза).* Если я въ чемъ виноватъ передъ тобой, то извини, пожа-луйста...

Войницкій. Оставь этотъ тонъ... Приступимъ къ дѣлу...
Что тебѣ нужно?

(Входитъ Елена Андреевна).

Серебряковъ. Вотъ и Леночка... Садитесь, господа. *(Пауза).*
Я пригласилъ васъ, господа, чтобы объявить вамъ, что къ намъ ѣдетъ ревизоръ. Впрочемъ, шутки въ сторону. Дѣло серьезное. Я, господа, собралъ васъ, чтобы попросить у васъ помощи и совѣта, и, зная всегдашнюю вашу любезность, надѣюсь, что получу ихъ. Человѣкъ я ученый, книжный и всегда былъ чуждъ практической жизни. Обойтись безъ указаній свѣдущихъ людей я не могу и прошу тебя, Иванъ Ивановичъ, вотъ васъ, Леонидъ Степановичъ, и тебя, Жоржъ... Дѣло въ томъ, что *manet omnes una vox*, то-есть всѣ мы подъ Богомъ ходимъ; я старъ, боленъ и потому нахожу своевременнымъ регулировать свои имущественныя отношенія постольку, поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена, о себѣ я не думаю, но у меня молодая жена, дочь-дѣвушка. Продолжать жить въ деревнѣ имъ невозможно.

Елена Андреевна. Мнѣ все равно.

Серебряковъ. Мы для деревни не созданы. Жить же въ городѣ на тѣ средства, какія мы получаемъ съ этого имѣнья, невозможно. Третьяго-дня я продалъ на четыре тысячи лѣсу, но это мѣра экстраординарная, которою нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такія мѣры, которыя гарантировали бы намъ постоянную, болѣе или менѣе опредѣленную цифру дохода. Я придумалъ одну такую мѣру и имѣю честь предложить ее на ваше обсужденіе. Минуя детали, изложу ее въ общихъ чертахъ. Наше имѣніе даетъ въ среднемъ размѣръ не болѣе двухъ процентовъ. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы обратимъ въ процентныя бумаги, то будемъ получать отъ четырехъ до пяти процентовъ. Я думаю, что будетъ даже излишекъ въ нѣсколько тысячъ, который намъ позволитъ купить въ Финляндіи небольшую дачу...

Войницкій. Постой, мнѣ кажется, что мнѣ измѣняетъ мой слухъ. Повтори, что ты сказалъ...

Серебряковъ. Деньги обратить въ процентныя бумаги и купить дачу въ Финляндіи.

Войницкій. Не Финляндія... Ты еще что-то другое сказалъ.

Серебряковъ. Я предлагаю продать имѣніе.

Войницкій. Вотъ это самое... Ты продашь имѣніе... Пре-

восходно, богатая идея... А куда прикажешь дѣваться мнѣ со старухой-матерью?

Серебряковъ. Все это своевременно мы обсудимъ... Не сразу же...

Войницкій. Постой... Очевидно, до сихъ поръ у меня не было ни капли здраваго смысла. До сихъ поръ я имѣлъ глупость думать, что это имѣніе принадлежитъ Сонѣ. Мой покойный отецъ купилъ это имѣніе въ приданое для моей сестры. До сихъ поръ я былъ наивенъ, понималъ законы не по-турецки и думалъ, что имѣніе отъ сестры перешло къ Сонѣ.

Серебряковъ. Да, имѣніе принадлежитъ Сонѣ... Кто спорить? Безъ согласія Сони я не рѣшусь продать его. Къ тому же это я дѣлаю для блага Сони.

Войницкій. Это непостижимо, непостижимо! Или я съ ума сошелъ, или... или...

Марья Васильевна. Жоржъ, не противорѣчь профессору! Онъ лучше насъ знаетъ, что хорошо и что дурно.

Войницкій. Нѣтъ, дайте мнѣ воды... (*Пьетъ воду*). Говорите, что хотите! Что хотите!

Серебряковъ. Я не понимаю, отчего ты волнуешься, Жоржъ? Я не говорю, что мой проектъ идеаленъ. Если всѣ найдутъ его негоднымъ, то я не буду настаивать.

(*Входитъ Дядинъ; онъ во фракъ, въ бѣлыхъ перчаткахъ и съ широкополымъ цилиндромъ*).

XI.

Тѣ же и Дядинъ.

Дядинъ. Честь имѣю кланяться. Прошу прощенія, что осмѣливаюсь входить безъ доклада. Виновенъ, но заслуживаю снисхожденія, такъ какъ у васъ въ передней нѣтъ ни одного domestika.

Серебряковъ (*смущенно*). Очень радъ... Прошу...

Дядинъ (*расшаркиваясь*). Ваше превосходительство! Mesdames! Мое вторженіе въ ваши предѣлы имѣетъ двоякую цѣль. Во-первыхъ, я пришелъ сюда, чтобы нанести визитъ и засвидѣтельствовать свое благоговѣнное уваженіе, во-вторыхъ, чтобы пригласить всѣхъ васъ, по случаю прекрасной погоды, совершить экспедицію въ мою область. Обитаю я на водяной мельницѣ, которую арендую у нашего общаго друга Лѣшаго. Это укромный поэтический уголокъ земли, гдѣ ночью слышится плескъ русалокъ, а днемъ...

Войницкій. Постой, Вафля, мы о дѣлѣ... Погоди, послѣ...
(Серебрякову) Вотъ спроси ты у него... Это имѣніе куплено у его дяди.

Серебряковъ. Ахъ, да зачѣмъ мнѣ спрашивать? Къ чему?

Войницкій. Это имѣніе было куплено по тогдашнему времени за 95 тысячъ. Отецъ уплатилъ только 70, и осталось долгу 25 тысячъ. Теперь слушайте... Имѣніе это не было бы куплено, если бы я не отказался отъ наслѣдства въ пользу сестры, которую любилъ. Мало того, я десять лѣтъ работалъ, какъ волъ, и выплатилъ весь долгъ.

Орловскій. Чего же вы, душа моя, хотите?

Войницкій. Имѣніе чисто отъ долговъ и не разстроено только благодаря моимъ личнымъ усиліямъ. И вотъ, когда я сталъ старъ, меня хотятъ выгнать отсюда въ шею!

Серебряковъ. Я не понимаю, чего ты добиваешься?

Войницкій. 25 лѣтъ я управлялъ этимъ имѣніемъ, работалъ, высылалъ тебѣ деньги, какъ самый добросовѣстный приказчикъ, и за все время ты ни разу не поблагодарилъ меня! Все время, и въ молодости и теперь, я получалъ отъ тебя жалованья пятьсотъ рублей въ годъ—нищенскія деньги!—и ты ни разу не догадался прибавить мнѣ хоть одинъ рубль!

Серебряковъ. Жоржъ, почему же я зналъ! Я человекъ непрактическій и ничего не понимаю. Ты могъ бы самъ прибавить себѣ, сколько угодно.

Войницкій. Зачѣмъ я не кралъ? Отчего вы всѣ не презираете меня за то, что я не кралъ? Это было бы справедливо, и теперь я не былъ бы нищимъ!

Марья Васильевна (строго). Жоржъ!

Дядинъ (волнуясь). Жорженька, не надо, не надо... Я дрожу... Зачѣмъ портить хорошія отношенія? (Цѣлуетъ его). Не надо...

Войницкій. 25 лѣтъ я вотъ съ ней, вотъ съ этой матерью, какъ кротъ, сидѣлъ въ четырехъ стѣнахъ... Всѣ наши мысли и чувства принадлежали тебѣ одному. Днемъ мы говорили о тебѣ, о твоихъ работахъ, гордились твоей извѣстностью, съ благоговѣніемъ произносили твое имя; ночи мы губили на то, что читали журналы и книги, которыя я глубоко презираю!

Дядинъ. Не надо, Жорженька, не надо... Не могу...

Серебряковъ. Я не понимаю, что тебѣ нужно?

Войницкій. Ты для насъ былъ существомъ высшаго порядка, а твои статьи мы знали наизусть... Но теперь у

меня открылись глаза. Я все вижу! Пишешь ты объ искусствѣ, но ничего не понимаешь въ искусствѣ! Всѣ твои работы, которыя я любилъ, не стоятъ гроша мѣднаго!

Серебряковъ. Господа! Да уймите же его наконецъ! Я уйду!

Елена Андреевна. Жоржъ, я требую, чтобы вы замолчали! Слышите?

Войницкій. Не замолчу! *(Загораживая Серебрякову дорогу)* Постой, я не кончилъ! Ты погубилъ мою жизнь! Я не жилъ, не жилъ! По твоей милости я истребилъ, уничтожилъ лучшіе годы своей жизни! Ты мой злѣйшій врагъ!

Дядинъ. Я не могу... не могу... Я уйду въ другую комнату... *(Въ сильномъ волненіи уходитъ въ правую дверь)*.

Серебряковъ. Чтѣ ты хочешь отъ меня? И какое ты имѣешь право говорить со мной такимъ тономъ? Ничтожество! Если имѣнье твое, то бери его, я не нуждаюсь въ немъ!

Желтухинъ *(въ сторону)*. Ну, заварилась каша!.. Уйду! *(Уходитъ)*.

Елена Андреевна. Если не замолчите, то я сію минуту уйду изъ этого ада! *(Кричитъ)* Я не могу долѣше выносить!

Войницкій. Пропала жизнь! Я талантливъ, уменъ, смѣлъ... Если бъ я жилъ нормально, то изъ меня могъ бы выйти Шопенгауэръ, Достоевскій... Я зарантовался! Я съ ума схожу... Матушка, я въ отчаяніи! Матушка!

Марья Васильевна. Слушайся профессора!

Войницкій. Матушка! Чтѣ мнѣ дѣлать? Не нужно, не говорите! Я самъ знаю, чтѣ мнѣ дѣлать! *(Серебрякову)* Будешь ты меня помнить! *(Уходитъ въ среднюю дверь)*.

Марья Васильевна *(идетъ за нимъ)*.

Серебряковъ. Господа, чтѣ же это наконецъ такое? Уберите отъ меня этого сумасшедшаго!

Орловскій. Ничего, ничего, Саша, пусть у него душа уляжется. Ты не волнуйся такъ.

Серебряковъ. Не могу я жить съ нимъ подъ одной крышей! Живетъ тутъ *(указываетъ на среднюю дверь)*, почти рядомъ со мной... Пусть перебирается въ деревню, во флигель, или я переберусь отсюда, но оставаться съ нимъ я не могу...

Елена Андреевна *(мужу)*. Если повторится еще что-нибудь подобное, то я уйду!

Серебряковъ. Ахъ, не пугай, пожалуйста!

Елена Андреевна. Я не пугаю, но всё вы точно условились сдѣлать изъ моей жизни адъ... Я уѣду...

Серебряковъ. Всё отлично знаютъ, что ты молода, я старъ, и что ты дѣлаешь большое одолженіе, что живешь здѣсь...

Елена Андреевна. Продолжай, продолжай...

Орловскій. Ну, ну, ну... Друзья мои... (*Быстро входитъ Хрущовъ*).

ХІІ.

Тѣ же и Хрущовъ.

Хрущовъ (*волнуясь*). Очень радъ, что застаю васъ дома, Александръ Владимировичъ... Простите, быть-можетъ, я пришелъ не въ-время и помѣшалъ вамъ... Но не въ этомъ дѣло. Здравствуйте...

Серебряковъ. Что вамъ угодно?

Хрущовъ. Извините, я взволнованъ—это оттого, что сейчасъ я быстро ѣхалъ верхомъ... Александръ Владимировичъ, я слышалъ, что третьяго-дня вы продали Кузнецову свой лѣсъ на срубъ. Если это правда, а не простая сплетня, то, прошу васъ, не дѣлайте этого.

Елена Андреевна. Михаилъ Львовичъ, мужъ сейчасъ не расположенъ говорить о дѣлахъ. Пойдемте въ садъ.

Хрущовъ. Но мнѣ сейчасъ нужно говорить!

Елена Андреевна. Какъ знаете... Я не могу... (*Уходитъ*).

Хрущовъ. Позвольте мнѣ съѣздить къ Кузнецову и сказать ему, что вы раздумали... Да? Позволяете? Повалить тысячу деревьевъ, уничтожить ихъ ради какихъ-нибудь двухъ-трехъ тысячъ, ради женскихъ тряпокъ, прихоти, роскоши... Уничтожить, чтобы въ будущемъ потомство проклинали наше варварство! Если вы, ученый, знаменитый человекъ, рѣшаетесь на такую жестокость, то что же должны дѣлать люди, стоящіе много ниже васъ? Какъ это ужасно!

Орловскій. Миша, послѣ объ этомъ!

Серебряковъ. Пойдемъ, Иванъ Ивановичъ, это никогда не кончится.

Хрущовъ (*загораживая Серебрякову дорогу*). Въ такомъ случаѣ вотъ что, профессоръ... Погодите, черезъ три мѣсяца я получу деньги и куплю у васъ самъ.

Орловскій. Извини, Миша, но это даже странно... Ну, ты, положимъ, идейный человекъ... покорѣйше тебя благодаримъ за это, кланяемся тебѣ низко (*кланяется*), но зачѣмъ же стулья ломать?

Хрущовъ (*вспыхнувъ*). Всеобщій крестный! Много добродушныхъ людей на свѣтѣ, и это всегда казалось мнѣ подозрительнымъ! Добродушны они всѣ оттого, что равнодушны!

Орловскій. Вотъ ты соориться сюда прѣхаль, душа моя... Нехорошо! Идея-то идей, но надо, братъ, имѣть еще и эту штуку... (*показываетъ на сердце*). Безъ этой штуки, душа моя, всѣмъ твоимъ лѣсамъ и торфамъ цѣна грошъ мѣдный... Не обижайся, но зеленый ты еще, ухъ, какой зеленый!

Серебряковъ (*рѣзко*). И въ другой разъ потрудитесь не входить безъ доклада, и прошу васъ избавить меня отъ вашихъ психопатическихъ выходовъ! Всѣмъ вамъ хотѣлось вывести меня изъ терпѣнія, и это удалось вамъ... Извольте меня оставить! Всѣ эти ваши лѣса, торфы я считаю бредомъ и психопатіей — вотъ мое мнѣніе! Пойдемъ, Иванъ Ивановичъ! (*Уходитъ*).

Орловскій (*идя за нимъ*). Это, Саша, ужъ слишкомъ... За чѣмъ такъ рѣзко? (*Уходитъ*).

Хрущовъ (*одинъ, послѣ паузы*). Бредъ, психопатія... Значитъ, по мнѣнію знаменитаго ученаго и профессора, я сумасшедшій... Преклоняюсь передъ авторитетомъ вашего превосходительства и поѣду сейчасъ домой, обрею себѣ голову. Нѣтъ, сумасшедшая земля, которая еще держитъ васъ!

(Быстро идетъ къ правой двери; изъ лѣвой входитъ Соня, которая подслушивала у двери въ продолженіе всего 12-го явленія).

ХІІІ.

Хрущовъ и Соня.

Соня (*бѣжитъ за нимъ*). Пойдите... я все слышала... Говорите же... Говорите скорѣе, а то я не выдержу и сама начну говорить!

Хрущовъ. Софья Александровна, я сказалъ уже все, что мнѣ нужно. Я умолялъ вашего отца пощадить лѣсъ, я былъ правъ, а онъ оскорбилъ меня, назвалъ сумасшедшимъ... Я сумасшедшій!

Соня. Довольно, довольно...

Хрущовъ. Да, не сумасшедшіе тѣ, которые подъ ученостью прячутъ свое жестокое, каменное сердце и свое бездушіе выдаютъ за глубокую мудрость! Не сумасшедшіе тѣ, которыя выходятъ за стариковъ замужъ только для того,

чтобы у всѣхъ на глазахъ обманывать ихъ, чтобы покупать себѣ модныя, щегольскія платья на деньги, вырученныя отъ порубки лѣсовъ!

Соня. Слушайте меня, слушайте... *(Сжимаетъ ему руки)*.
Дайте мнѣ сказать вамъ...

Хрущовъ. Перестанемъ. Кончимъ. Я для васъ чужой, ваше мнѣніе о себѣ я уже знаю, и дѣлать мнѣ тутъ больше нечего. Прощайте. Жалѣю, что послѣ нашего короткаго знакомства, которымъ я такъ дорожилъ, у меня останутся въ памяти только подагра вашего отца и ваши разсужденія о моемъ демократизмѣ... Но не я въ этомъ виноватъ... Не я...

Соня *(плачетъ, закрываетъ лицо и быстро уходитъ въ лѣвую дверь)*.

Хрущовъ. Я имѣлъ неосторожность полюбить здѣсь, это послужить для меня урокомъ! Вонъ изъ этого погреба! *(Идетъ къ правой двери; изъ лѣвой выходитъ Елена Андреевна)*.

XIV.

Хрущовъ и Елена Андреевна.

Елена Андреевна. Вы еще здѣсь? Пойдите... Сейчасъ Иванъ Ивановичъ сказалъ мнѣ, что мужъ былъ рѣзокъ съ вами... Простите, онъ сегодня сердитъ и не понялъ васъ... Что же касается меня, то моя душа принадлежитъ вамъ, Михаилъ Львовичъ! Вѣрьте въ искренность моего уваженія, я сочувствую, тронута, и позвольте мнѣ отъ чистаго сердца предложить вамъ мою дружбу! *(Протягиваетъ обѣ руки)*.

Хрущовъ *(брезгливо)*. Отойдите отъ меня... Я презираю вашу дружбу! *(Уходитъ)*.

Елена Андреевна *(одна, стонетъ)*. За что? За что?
(За сценой выстрѣлъ).

XV.

Елена Андреевна, Марья Васильевна, потомъ Соня, Серебряновъ, Орловскій и Желтухинъ.

Марья Васильевна *(выходитъ, пошатываясь, изъ средней двери, вскрикиваетъ и падаетъ безъ чувствъ)*.

Соня *(выходитъ и бѣжитъ въ среднюю дверь)*.

Серебряновъ.	} Что такое?
Орловскій.	
Желтухинъ.	

(Слышно, какъ вскрикиваетъ Соня; она возвращается и кричитъ: — «Дядя Жоржъ застрѣлся!». Она, Орловскій, Серебряковъ и Желтухинъ *бьютъ въ среднюю дверь).*

Елена Андреевна *(стонетъ)*. За что? За что?

(Въ правой двери показывается Дядинь).

XVI.

Елена Андреевна, Марья Васильевна и Дядинь.

Дядинь *(въ дверяхъ)*. Что такое?

Елена Андреевна *(ему)*. Увезите меня отсюда! Вросьте меня въ глубокую пропасть, убейте, но здѣсь я не могу оставаться! Скорѣе, умоляю васъ! *(Уходитъ съ Дядинымъ)*.
Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Лѣсъ и домъ при мельницѣ, которую арендуетъ Дядинь у Хрущова.

I.

Елена Андреевна и Дядинь *сидятъ на скамьѣ подѣ окномъ*.

Елена Андреевна. Голубчикъ Илья Ильичъ, завтра вы опять съѣздите на почту.

Дядинь. Всенепремѣнно.

Елена Андреевна. Погожу еще три дня. Если не получу отъ брата отвѣта на свое письмо, то возьму у васъ денегъ займы и сама поѣду въ Москву. Не вѣкъ же мнѣ жить тутъ у васъ на мельницѣ.

Дядинь. Оно конечно... *(Пауза)*. Не смѣю я учить васъ, многоуважаемая, но всѣ ваши письма, телеграммы, и что я каждый день ѣзжу на почту—все это, извините, напрасныя хлопоты. Какой бы отвѣтъ ни прислалъ вамъ братецъ, вы все равно вернетесь къ супругу.

Елена Андреевна. Не вернусь я... Надо разсуждать, Илья Ильичъ. Мужа я не люблю. Молодежь, которую я любила, была несправедлива ко мнѣ отъ начала до конца. Зачѣмъ же я туда вернусь? Вы скажете—долгъ... Это я и сама знаю отлично, но, повторяю, надо разсуждать... *(Пауза)*.

Дядинь. Такъ-съ... Величайшій русскій поэтъ Ломоносовъ убѣждалъ изъ Архангельской губерніи и нашелъ свою фор-

туну въ Москвѣ. Это, конечно, благородно съ его стороны... А вы-то зачѣмъ бѣжали? Вѣдь вашего счастья, ежели разсуждать по совѣсти, нигдѣ нѣту... Положено канареечкѣ въ клѣткѣ сидѣть и на чужое счастье поглядывать, ну, и сиди весь вѣкъ.

Елена Андреевна. А можетъ-быть, я не канарейка, а вольный воробей!

Дядинь. Эва! Видно птицу по полету, многоуважаемая... За эти двѣ недѣли другая дама успѣла бы въ десяти городахъ побывать и всѣмъ въ глаза пыль пустить, а вы позволили добѣжать только до мельницы, да и то у васъ вся душа измучилась... Нѣтъ, куда ужъ! Поживете у меня еще нѣкоторый періодъ времени, сердце ваше успокоится, и поѣдете къ супругу. *(Прислушивается)* Кто-то ѣдетъ въ коляскѣ. *(Встаетъ)*.

Елена Андреевна. Я уйду.

Дядинь. Не смѣю дольше утруждать васъ своимъ присутствіемъ... Пойду къ себѣ на мельницу и засну немножко... Нынче я всталъ раньше Авроры.

Елена Андреевна. Когда проснетесь, приходите, вмѣстѣ чай будемъ пить. *(Уходитъ въ домъ)*.

Дядинь *(одинъ)*. Если бы я жилъ въ умственномъ центрѣ, то съ меня могли бы нарисовать въ журналѣ карикатуру съ презабавною сатирическою надписью. Помилуйте, будучи уже въ пожилыхъ лѣтахъ и съ непривлекательною наружностью, я увезъ у знаменитаго профессора молодую жену! Это восхитительно! *(Уходитъ)*.

II.

Семень *(несетъ ведра)* и Юля *(входитъ)*.

Юля. Здравствуй, Сенька, Богъ въ помощь! Илья Шлычъ дома?

Семень. Дома. Пошелъ на мельницу.

Юля. Поди позови.

Семень. Сейчасъ. *(Уходитъ)*.

Юля *(одна)*. Спать, должно-быть... *(Садится на лавочку подъ окномъ и глубоко вздыхаетъ)*. Одни спятъ, другіе гуляютъ, а я цѣлый день мыкаюсь, мыкаюсь... не посылаетъ Богъ смерти. *(Вздыхаетъ еще глубже)*. Господи, есть же такіе глупые люди, какъ этотъ Вафля! Ёду я сейчасъ мимо его амбара, а изъ дверей черненькій поросенокъ выходитъ... Встѣ какъ порвутъ ему свиньи чужіе мѣшки, тогда и будетъ знать... *(Входитъ Дядинь)*.

III.

Юля и Дядинь.

Дядинь (*надъваетъ сюртукъ*). Это вы, Юлія Степановна? Винавать, я дезабилье... Хотѣлъ уснуть немножко въ объятіяхъ Морфея.

Юля. Здравствуйте.

Дядинь. Извините, я не приглашаю васъ въ компаты... Тамъ у меня не прибрано и прочее... Ежели угодно, то пожалуйста на мельницу...

Юля. Я и тутъ посижу. Вотъ я зачѣмъ къ вамъ пріѣхала, Илья Ильичъ. Ленечка и профессоръ, чтобъ развлечься, хотятъ сегодня здѣсь у васъ на мельницѣ пикникъ устроить, чаю напиться...

Дядинь. Весьма приятно.

Юля. Я впередъ пріѣхала... Скоро и они будутъ. Распорядитесь, чтобы поставили тутъ столъ, ну и самоваръ, конечно... Велите Сенькѣ, чтобъ онъ вынулъ изъ моей коляски корзины съ провизіей.

Дядинь. Это можно. (*Пауза*). Ну что? Какъ у васъ тамъ?

Юля. Плохо, Илья Ильичъ... Вѣрите ли, такая забота, что я даже заболѣла. Вы знаете, вѣдь профессоръ и Сонечка теперь у насъ живутъ!

Дядинь. Знаю.

Юля. Послѣ того, какъ Егоръ Петровичъ руки на себя наложилъ, они не могутъ жить въ своемъ домѣ... Боятся. Днемъ все-таки еще ничего, а какъ вечеръ, сойдутся всѣ въ одной комнатѣ и сидятъ до самаго разсвѣта. Страшно всѣмъ. Боятся, какъ бы въ потемкахъ Егоръ Петровичъ не представился...

Дядинь. Предразсудки... А про Елену Андреевну вспоминаютъ?

Юля. Конечно, вспоминаютъ. (*Пауза*). Укатила!

Дядинь. Да, сюжетъ, достойный кисти Айвазовскаго... Взяла и укатила.

Юля. И теперь неизвѣстно гдѣ... Можетъ, уѣхала, а можетъ, съ отчаянія...

Дядинь. Богъ милостивъ, Юлія Степановна! Все будетъ благополучно.

(*Входитъ Хрущовъ съ панкой и съ ящичкомъ для рисовальныхъ принадлежностей*).

IV.

Тѣ же и Хрущовъ.

Хрущовъ. Эй! Кто здѣсь есть? Семень!

Дядинъ. Взгляни сюда!

Хрущовъ. А!.. Здравствуйте, Юлечка!

Юля. Здравствуйте, Михаилъ Львовичъ.

Хрущовъ. А я, Илья Ильичъ, опять къ тебѣ пришелъ работать. Не сидится дома. Вели по-вчерашнему поставить подъ это дерево мой столъ, да и скажи, чтобы двѣ лампы приготовили. Ужъ начинается смеркаться...

Дядинъ. Слушаю, ваше благородіе. *(Уходитъ)*.

Хрущовъ. Какъ живете, Юлечка?

Юля. Такъ себѣ... *(Пауза)*.

Хрущовъ. Серебряковы у васъ живутъ?

Юля. У насъ.

Хрущовъ. Гм... А вашъ Ленечка что дѣлаетъ?

Юля. Дома сидитъ... Все съ Сонечкой...

Хрущовъ. Еще бы! *(Пауза)*. Ему бы жениться на ней.

Юля. Что жъ? *(Вздыхаетъ)*. Дай Богъ! Онъ человѣкъ образованный, благородный, она тоже изъ хорошаго семейства... Я всегда ей желала...

Хрущовъ. Дура она...

Юля. Ну, не скажите.

Хрущовъ. И вашъ Ленечка тоже умникъ... Вообще вся ваша публика, какъ на подборъ. Ума палата!

Юля. Вы, должно-быть, сегодня не обѣдали.

Хрущовъ. Почему вы это думаете?

Юля. Сердиты вы ужъ очень.

(Входятъ Дядинъ и Семень; оба несутъ небольшой столъ).

V.

Тѣ же, Дядинъ и Семень.

Дядинъ. А у тебя, Миша, губа не дура. Прекрасное мѣсто выбралъ ты себѣ для работы. Это оазись! Именно оазись! Вообрази, что это вокругъ все пальмы, Юлечка—кроткая лань, ты—левъ, я—тигръ.

Хрущовъ. Хорошій ты, душевный человѣкъ, Илья Ильичъ, но что у тебя за манеры? Какія-то мармеладныя слова, ногами шаркаешь, плечами дергаешь... Если кто посторон-

ній увидить, то подумаетъ, что ты не человѣкъ, а чортъ знаетъ что... Досадно...

Дядинъ. Значить, на роду у меня такъ написано... Фатальное предопредѣленіе.

Хрущовъ. Ну вотъ, фатальное предопредѣленіе. Брось все это. (*Фиксируетъ на столѣ чертёжъ*). Я сегодня останусь у тебя ночевать.

Дядинъ. Чрезвычайно радъ... Вотъ ты, Миша, сердисься, а у меня на душѣ невыразимо отрадно! Какъ будто сидить у меня въ груди птичка и пѣсенку поетъ.

Хрущовъ. Радуйся. (*Пауза*). У тебя въ груди птичка, а у меня жаба. Двадцать тысячъ скандаловъ! Шиманскій продалъ свой лѣсъ на срубъ... Это разъ! Елена Андреевна бѣжала отъ мужа, и теперь никто не знаетъ, гдѣ она. Это два! Я чувствую, что съ каждымъ днемъ становлюсь все глупѣе, мелочнѣе и бездарнѣе... Это три! Вчера я хотѣлъ рассказать тебѣ, но не могъ, не хватило храбрости. Можешь меня поздравить. Послѣ покойнаго Егора Петровича остался дневникъ. Этотъ дневникъ на первыхъ порахъ попалъ въ руки Ивана Иваныча, я былъ у него и прочелъ разъ десять...

Юля. Наши тоже читали.

Хрущовъ. Романъ Жоржа съ Еленой Андреевной, о которомъ трезвонилъ весь уѣздъ, оказывается подлой, грязной сплетней... Я вѣрилъ этой сплетнѣ и клеветалъ заодно съ другими, ненавидѣлъ, презиралъ, оскорблялъ.

Дядинъ. Конечно, это нехорошо.

Хрущовъ. Первый, кому я повѣрилъ, былъ вашъ братъ, Юлечка! Хорошо тоже и я! Повѣрилъ вашему брату, котораго не уважаю, и не вѣрилъ этой женщицѣ, которая на моихъ же глазахъ жертвовала собой. Я охотнѣе вѣрю злу, чѣмъ добру, и не вижу дальше своего носа. А это значитъ, что я бездаренъ, какъ всѣ.

Дядинъ (*Юль*). Пойдемте, дѣтка, на мельницу. Пускай онъ, злюка, тутъ работаетъ, а мы съ вами погуляемъ. Пойдемте... Работай, Мишенька. (*Уходитъ съ Юлей*).

Хрущовъ (*одино; разводитъ въ блюдечкѣ краску*). Разъ почью я видѣлъ, какъ онъ прижался лицомъ къ ея рукѣ. У него въ дневникѣ подробно описана эта ночь, описано, какъ я пріѣхалъ туда, что говорилъ ему. Онъ приводитъ мои слова и называетъ меня глупцомъ и узкимъ человѣкомъ. (*Пауза*). Слишкомъ густо... Надо освѣтлѣе... А дальше онъ бранить Соню за то, что она меня полюбила...

Никогда она меня не любила... Кляксу сдѣлала... *(Скоблитъ бумагу ножомъ)*. Даже если допустить, что это немножко вѣрно, то все-таки нечего ужъ объ этомъ думать... Глупо началось, глупо кончилось... *(Семень и рабочіе несутъ большой столъ)*. Что это вы? Къ чему это?

Семень. Илья Ильичъ велѣлъ. Господа изъ Желтухина пріѣдутъ чай пить.

Хрущовъ. Покорно благодарю. Значить, насчетъ работы придется отложить попеченіе... Соберу все и уйду домой.

(Входитъ Желтухинъ подъ-руку съ Соней).

VI.

Хрущовъ, Желтухинъ и Соня.

Желтухинъ *(поетъ)*. «Неволью къ этимъ грустнымъ берегамъ меня влечетъ невѣдомая сила»...

Хрущовъ. Кто это тамъ? А! *(Стышитъ уложить въ ящики рисовальныя принадлежности)*.

Желтухинъ. Еще одинъ вопросъ, дорогая Софи... Помните, въ день рожденія вы завтракали у насъ? Сознайтесь, что вы хохотали тогда надъ моей наружностью.

Соня. Полноте, Леонидъ Степанычъ. Можно ли это говорить? Хохотала я безъ причины.

Желтухинъ *(увидѣвъ Хрущова)*. А. кого вижу! И ты здѣсь? Здравствуй.

Хрущовъ. Здравствуй.

Желтухинъ. Работашь? Отлично... Гдѣ Вафля?

Хрущовъ. Тамъ...

Желтухинъ. Гдѣ тамъ?

Хрущовъ. Я, кажется, ясно говорю... Тамъ, на мельницѣ.

Желтухинъ. Пойти позвать его. *(Идетъ и напѣваетъ)*
«Неволью къ этимъ грустнымъ берегамъ...» *(Уходитъ)*.

Соня. Здравствуйте...

Хрущовъ. Здравствуйте. *(Пауза)*.

Соня. Что это вы рисуете?

Хрущовъ. Такъ... неинтересно.

Соня. Это планъ?

Хрущовъ. Нѣтъ, лѣсная карта нашего уѣзда. Я составилъ. *(Пауза)*. Зеленая краска означаетъ мѣста, гдѣ были лѣса при нашихъ дѣдахъ и раньше; свѣтло-зеленая — гдѣ вырубленъ лѣсъ въ послѣднія 25 лѣтъ, ну, а голубая — гдѣ еще уцѣлѣлъ лѣсъ... Да... *(Пауза)*. Ну, а вы что? Счастливы?

Соня. Теперь, Михайль Львовичъ, не время думать о счастьеѣ.

Хрущовъ. О чемъ же думать?

Соня. И горе наше произошло только оттого, что мы слишкомъ много думали о счастьеѣ...

Хрущовъ. Такъ-съ. *(Пауза)*.

Соня. Нѣтъ худа безъ добра. Горе научило меня. Надо, Михайль Львовичъ, забыть о своемъ счастьеѣ и думать только о счастьеѣ другихъ. Нужно, чтобъ вся жизнь состояла изъ жертвъ.

Хрущовъ. Ну да... *(Пауза)*. У Марьи Васильевны застрѣлился сынъ, а она все еще ищетъ противорѣчій въ своихъ брошюркахъ. Надъ вами стряслось несчастье, а вы тѣшите свое самолюбіе: стараетесь исковеркать свою жизнь и думаете, что это похоже на жертвы... Ни у кого нѣтъ сердца... Нѣтъ его ни у васъ ни у меня... Дѣлается совсѣмъ не то, что нужно, и все идетъ прахомъ... Я сейчасъ уйду и не буду мѣшать вамъ и Желтухину. Что же вы плачете? Я этого вовсе не хотѣлъ.

Соня. Ничего, ничего... *(Утираетъ глаза)*.

(Входятъ Юля, Дядинъ и Желтухинъ).

VII.

Тѣ же, Юля, Дядинъ, Желтухинъ, потомъ Серебряковъ и Орловскій.

Голосъ Серебрякова. Ау! Гдѣ вы, господа?

Соня *(кричитъ)*. Папа, здѣсь!

Дядинъ. Самоваръ несутъ! Восхитительно! *(Хлопочетъ съ Юлей около стола)*.

(Входятъ Серебряковъ и Орловскій).

Соня. Сюда, папа!

Серебряковъ. Вижу, вижу...

Желтухинъ *(громко)*. Господа, объявляю засѣданіе открытымъ! Вафля, откупоривай наливку!

Хрущовъ *(Серебрякову)*. Профессоръ, забудемъ все, что между нами произошло! *(Протягиваетъ руку)* Я прошу у васъ извиненія...

Серебряковъ. Благодарю. Очень радъ. Вы тоже простите меня. Когда я послѣ того случая на другой день старался обдумать все происшедшее и вспомнилъ о нашемъ разговорѣ, мнѣ было очень непріятно... Будемъ друзьями. *(Беретъ его подъ-руку и идетъ къ столу)*.

Орловскій. Вотъ такъ бы давно, душа моя. Худой миръ лучше доброй ссоры.

Дядинъ. Ваше превосходительство, я счастливъ, что вы изволили пожаловать въ мой оазисъ. Неизъяснимо пріятно!

Серебряковъ. Благодарю, почтеннѣйшій. Здѣсь въ самомъ дѣлѣ прекрасно. Именно оазисъ.

Орловскій. А ты, Саша, любишь природу?

Серебряковъ. Весьма. *(Пауза)*. Не будемъ, господа, молчать, будемъ говорить. Въ нашемъ положеніи это самое лучшее. Надо глядѣть несчастьямъ въ глаза смѣло и прямо. Я гляжу бодрѣ васъ всѣхъ, и это оттого, что я больше всѣхъ несчастливъ.

Юля. Господа, я сахару класть не буду; пейте съ вареньемъ.

Дядинъ *(суетится около гостей)*. Какъ я радъ, какъ я радъ!

Серебряковъ. Въ послѣднее время, Михаилъ Львовичъ, я такъ много пережилъ и столько передумалъ, что, кажется, могъ бы написать въ назиданіе потомству цѣлый трактатъ о томъ, какъ надо жить. Вѣкъ живи, вѣкъ учись, а несчастья учатъ насъ.

Дядинъ. Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ. Богъ милостивъ, все обойдется благополучно.

Соня *(вздракиваетъ)*.

Желтухинъ. Чтò это вы такъ вздрогнули?

Соня. Кто-то крикнулъ.

Дядинъ. Это на рѣкѣ мужики раковъ ловятъ. *(Пауза)*.

Желтухинъ. Господа, мы вѣдь условились, что проведемъ этотъ вечеръ такъ, какъ будто ничего не случилось... Право, а то напряженіе какое-то...

Дядинъ. Я, ваше превосходительство, питаю къ наукѣ не только благоговѣніе, но даже родственныя чувства. Брата моего Григорія Ильича жены братъ, можетъ-быть, изволите знать, Константинъ Гаврилычъ Новоселовъ былъ магистромъ иностранной словесности.

Серебряковъ. Знакомъ не былъ, но знаю. *(Пауза)*.

Юля. Завтра ровно 15 дней, какъ умеръ Егоръ Петровичъ.

Хрущовъ. Юлечка, не будемъ говорить объ этомъ.

Серебряковъ. Бодро, бодро! *(Пауза)*.

Желтухинъ. Все-таки чувствуется какое-то напряженіе...

Серебряковъ. Природа не терпитъ пустоты. Она лишила меня двухъ близкихъ людей и, чтобы пополнить этотъ де-

фектъ, скоро послала мнѣ новыхъ друзей. Пью ваше здорье, Леонидъ Степановичъ!

Желтухинъ. Благодарю васъ, дорогой Александръ Владимировичъ! Въ свою очередь позвольте мнѣ выпить за вашу плодотворную ученую дѣятельность.

Сѣйте разумное, доброе, вѣчное,
Сѣйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное
Русскій народъ!

Серебряковъ. Цѣню ваше привѣтствіе. Отъ души желаю, чтобы скорѣе наступило время, когда наши дружескія отношенія перейдутъ въ болѣе короткія.

(*Входитъ Федоръ Ивановичъ*).

VIII.

Тѣ же и Федоръ Ивановичъ.

Федоръ Ивановичъ. Вотъ оно что! Пикникъ!

Орловскій. Сыночекъ мой... красавецъ!

Федоръ Ивановичъ. Здравствуйте. (*Цѣлуется съ Соней и Юлей*).

Орловскій. Цѣлыя двѣ недѣли не видались. Гдѣ былъ? Что видѣлъ?

Федоръ Ивановичъ. Поѣхалъ я сейчасъ къ Ленѣ, тамъ мнѣ сказали, что вы здѣсь, ну, я и поѣхалъ сюда.

Орловскій. Гдѣ шатался?

Федоръ Ивановичъ. Три ночи не спалъ... Вчера, отецъ, въ карты пять тысячъ проигралъ. И пилъ, и въ карты игралъ, и въ городъ разъ пять былъ... Совсѣмъ очумѣлъ.

Орловскій. Молодчина. Стало-быть, теперь выпивши?

Федоръ Ивановичъ. Ни въ одномъ глазѣ. Юлька, чаю! Только съ лимономъ, покислѣй... А каковъ Жоржъ-то, а? Взялъ ни съ того ни съ сего и чпикнулъ себѣ въ лобъ! И нашелъ тоже изъ чего: изъ Лефоше! Не могъ взять Смита и Вессона!

Хрущовъ. Замолчи ты, скотина!

Федоръ Ивановичъ. Скотина, но только породистая. (*Разглаживаетъ себѣ бороду*) Одна борода чего стѣдить... Вотъ я и скотина, и дуракъ, и каналья, а стѣдить мнѣ только захотѣтъ — и за меня любая невѣста пойдетъ. Соня, выходи за меня замужъ! (*Хрущову*) Впрочемъ, виноватъ... Pardon...

Хрущовъ. Перестань дурака ломать.

Юля. Пропавцій ты человекъ, Ѳеденька! Во всей губернии нѣтъ другого такого пьяницы и мотыги, какъ ты. Даже глядѣть на тебя жалко. Фараонъ фараономъ — чистое наказаніе!

Ѳедоръ Ивановичъ. Ну, заплѣла Лазаря! Иди, сядь рядомъ со мной... Вотъ такъ. Я къ тебѣ на двѣ недѣли прїѣду жить... Отдохнуть надо. *(Плѣчетъ ее).*

Юля. Отъ людей за тебя совѣстно. Ты долженъ отца своего подъ старость утѣшать, а ты его только срамишь. Дурацкая жизнь и больше ничего.

Ѳедоръ Ивановичъ. Бросаю пить! Баста! *(Наливаетъ себѣ наливки).* Это сливянка или вишневка?

Юля. Не пей же, не пей.

Ѳедоръ Ивановичъ. Одну рюмку можно. *(Пьетъ).* Дарю тебѣ, Лѣшій, пару лошадей и ружье. Къ Юлѣ поѣду жить... Проживу у нея недѣльки двѣ.

Хрущовъ. Тебѣ бы въ дисциплинарномъ батальонѣ пожить.

Юля. Пей, пей чай!

Дядинъ. Ты съ сухариками, Ѳеденька.

Орловскій *(Серебрякову)*. Я, братъ Саша, до сорока лѣтъ вель такую же вотъ жизнь, какъ мой Ѳедоръ. Разъ я, дѣша моя, сталъ считать, сколько женщинъ на своемъ вѣку я сдѣлалъ несчастными? Считалъ, считалъ, дошелъ до семидесяти и бросилъ. Ну-съ, а какъ только исполнилось мнѣ сорокъ лѣтъ, вдругъ на меня, братъ Саша, что-то нашло. Тоска, мѣста себѣ нигдѣ не найду, однимъ словомъ, разладъ въ душѣ, да и шабашъ. Я туда-сюда, и книжки читаю, и работаю, и путешествую—не помогаетъ! Ну-съ, дѣша моя, поѣхалъ я какъ-то въ гости къ покойному куму моему, свѣтлѣйшему князю Дмитрію Павловичу. Закусили, пообѣдали. Послѣ обѣда, чтобы не спать, затѣяли на дворѣ стрѣльбу въ цѣль. Народу собралось видимо-невидимо. И нашъ Вафля тутъ былъ.

Дядинъ. Былъ, былъ... помню.

Орловскій. Тоска у меня, понимаешь ли — Господи! Не выдержалъ. Вдругъ слезы брызнули изъ глазъ, зашатался и какъ крикну на весь дворъ, что есть мочи: «Друзья мои, люди добрые, простите меня ради Христа!» Въ ту же самую минуту стало на душѣ у меня чисто, ласково, тепло, и съ той поры, дѣша моя, во всемъ уѣздѣ нѣтъ счастливѣй меня человека. И тебѣ это самое надо сдѣлать.

Серебряковъ. Что?

(На небѣ показывается зарево).

Орловскій. Вотъ это самое. На капитуляцію сдаться надо.

Серебряковъ. Образчикъ туземной философіи. Ты совѣтуешь мнѣ прощенія просить. За что? Пусть у меня прощенія попросятъ!

Соня. Папа, но вѣдь *мы* виноваты!

Серебряковъ. Да? Господа, очевидно, въ настоящую минуту всѣ вы имѣете въ виду мои отношенія къ женѣ. Неужели, по-вашему, я виноватъ? Это даже смѣшно, господа. Она нарушила свой долгъ, оставила меня въ тяжелую минуту жизни...

Хрущовъ. Александръ Владимировичъ, выслушайте меня... Вы 25 лѣтъ были профессоромъ и служили наукѣ, я сажаю лѣса и занимаюсь медициной, но къ чему, для кого все это, если мы не шадимъ тѣхъ, для кого работаемъ? Мы говоримъ, что служимъ людямъ, и въ то же время безчеловѣчно губимъ другъ друга. Напримѣръ, сдѣлали ли мы съ вами что-нибудь, чтобы спасти Жоржа? Гдѣ ваша жена, которую всѣ мы оскорбляли? Гдѣ вашъ покой, гдѣ покой вашей дочери? Все погибло, разрушено, все идетъ прахомъ. Вы, господа, называете меня Лѣшимъ, но вѣдь не я одинъ, во всѣхъ васъ сидитъ лѣшій, всѣ вы бродите въ темномъ лѣсу и живете опущью. Ума, знаній и сердца у всѣхъ хватаетъ только на то, чтобы портить жизнь себѣ и другимъ.

(Елена Андреевна выходитъ изъ дому и садится на скамью подъ окномъ).

IX.

Тѣ же и Елена Андреевна.

Хрущовъ. Я считалъ себя идейнымъ, гуманнымъ человекомъ и на ряду съ этимъ не прощалъ людямъ малѣйшихъ ошибокъ, вѣрилъ сплетнямъ, клеветалъ заодно съ другими, и когда, напримѣръ, ваша жена довѣрчиво предложила мнѣ свою дружбу, я выпалилъ ей съ высоты своего величія: «Отойдите отъ меня! Я презираю вашу дружбу!» Вотъ каковъ я. Во мнѣ сидитъ лѣшій, я мелокъ, бездаренъ, слѣпъ, но и вы, профессоръ, не орелъ! И въ то же время весь уѣздъ, всѣ женщины видятъ во мнѣ героя, передового человека, а вы знамениты на всю Россію. А если такихъ, какъ я, серьезно считаютъ героями, и если такіе, какъ вы, серьезно знамениты, то это значитъ, что на безлюдь и Ома дворяннѣ, что нѣтъ истинныхъ героевъ, нѣтъ талантовъ, нѣтъ людей, которые выводили бы насъ изъ этого

темнаго лѣса, исправляли бы то, что мы портимъ, нѣтъ настоящихъ орловъ, которые по праву пользовались бы почетной извѣстностью...

Серебряковъ. Винавать... Я пріѣхалъ сюда не для того, чтобы полемизировать съ вами и защищать свои права на извѣстность.

Желтухинъ. Вообще, Миша, прекратимъ этотъ разговоръ.

Хрущовъ. Я сейчасъ кончу и уйду. Да, я мелокъ, но и вы, профессоръ, не орелъ! Мелокъ Жоржъ, который ничего не нашелъ умнѣе сдѣлать, какъ только пустить себѣ пулю въ лобъ. Всѣ мелки! Что же касается женщинъ...

Елена Андреевна (*перебивая*). Что же касается женщинъ, то и онѣ не крупнѣе. (*Идетъ къ столу*). Елена Андреевна ушла отъ своего мужа, и, вы думаете, она сдѣлаетъ что-нибудь путное изъ своей свободы? Не безпокойтесь... Она вернется... (*Садится за столъ*). Вотъ ужъ и вернулась...

(*Общее замѣшательство*).

Дядинъ (*хохочетъ*). Это восхитительно! Господа, не велите казнить, велите слово вымолвить! Ваше превосходительство, это я похитилъ у васъ супругу, какъ нѣкогда нѣкій Парисъ Прекрасную Елену! Я! Хотя рябые Парисы и не бываютъ, но, другъ Горацио, на свѣтѣ есть много такого, что не снилось нашимъ мудрецамъ!

Хрущовъ. Ничего не понимаю... Это вы, Елена Андреевна?

Елена Андреевна. Эти двѣ недѣли я прожила у Ильи Ильича... Что вы на меня всѣ такъ смотрите? Ну, здравствуйте... Я сидѣла у окна и все слышала. (*Обнимаетъ Соню*). Давайте мириться. Здравствуй, милая дѣвочка... Миръ и согласіе!

Дядинъ (*потирая руки*). Это восхитительно!

Елена Андреевна (*Хрущову*). Михаилъ Львовичъ (*даетъ руку*), кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ. Здравствуйте, Федоръ Ивановичъ... Юлечка...

Орловскій. Душа моя, профессорша наша славная, красавица... Она вернулась, опять пришла къ намъ...

Елена Андреевна. Я соскучилась по васъ. Здравствуй, Александръ! (*Протягиваетъ мужу руку, тотъ отворачивается*). Александръ!

Серебряковъ. Вы нарушили вашъ долгъ.

Елена Андреевна. Александръ!

Серебряковъ. Не скрою, я очень радъ видѣть васъ и

готовъ говорить съ вами, но не здѣсь, а дома... (*Отходитъ отъ стола*).

Орловскій. Саша! (*Пауза*).

Елена Андреевна. Такъ... Значить, Александръ, нашъ вопросъ рѣшается очень просто: никакъ. Ну, такъ тому и быть! Я эпизодическое лицо, счастье мое канареечное, бабье счастье... Сиди сидемъ весь вѣкъ дома, ѣшь, пей, спи и слушай каждый день, какъ говорятъ тебѣ о подагрѣ, о своихъ правахъ, о заслугахъ. Чтò вы всѣ опустили головы, точно сконфузились? Давайте пить паливку, что ли? Эхъ!

Дядинъ. Все обойдется, исправится, все будетъ хорошо и благополучно.

Федоръ Ивановичъ (*подходитъ къ Серебрякову, взволнованный*). Александръ Владимировичъ, я тронуть... Прошу васъ, приласкайте вашу жену, скажите ей хоть одно доброе слово, и, честное слово благороднаго человѣка, я всю жизнь буду вашимъ вѣрнымъ другомъ, подарю вамъ лучшую свою тройку.

Серебряковъ. Благодарю, но, извините, я васъ не понимаю...

Федоръ Ивановичъ. Гм... не понимаете... Иду я разъ съ охоты, смотрю — на деревѣ филинъ сидитъ... я въ него трахъ бекасинникомъ! Онъ сидитъ... я въ него девятымъ номеромъ... сидитъ... Ничто его не беретъ. Сидитъ и только глазами хлопаетъ.

Серебряковъ. Къ чему же это относится?

Федоръ Ивановичъ. Къ филину. (*Возвращается къ столу*).

Орловскій (*прислушивается*). Позвольте, господа... Тише... Кажется, гдѣ-то въ набатъ бьютъ...

Федоръ Ивановичъ (*увидѣвъ зарево*). Ой-ой-ой! Поглядите на небо! Какое зарево!

Орловскій. Батюшки, а мы сидимъ тутъ и не видимъ!

Дядинъ. Ловко.

Федоръ Ивановичъ. Те-те-те! Вотъ такъ иллюминація! Это около Алексѣевского.

Хрущовъ. Нѣтъ, Алексѣевское будетъ правѣе... Скорѣе это въ Ново-Петровскомъ.

Юля. Какъ страшно! Боюсь я пожаровъ:

Хрущовъ. Конечно, въ Ново-Петровскомъ.

Дядинъ (*кричитъ*). Семень, сбѣгай на плотину, погляди отсюда, чтò горитъ. Можетъ, видно!

Семень (*кричитъ*). Это Телибѣевскій лѣсъ горитъ.

Дядинъ. Чтò?

Семень. Телибѣвскій лѣсъ!

Дядинь. Лѣсъ... *(Продолжительная пауза)*.

Хрущовъ. Мнѣ надо итти туда... на пожаръ. Прощайте... Извините, я былъ рѣзокъ—это оттого, что никогда я себя не чувствовалъ въ такомъ угнетенномъ состояннн, какъ сегодня... У меня тяжело на душѣ... Но все это не бѣда... Надо быть человѣкомъ и твердо стоять на ногахъ. Я не застрѣлюсь и не брошусь подъ колеса мельницы... Пусть я не герой, но я сдѣлаюсь имъ! Я отрошу себѣ крылья орла, и не испугаютъ меня ни это зарево ни самъ чортъ! Пусть горять лѣса—я поѣмъ новые! Пусть меня не любятъ, я полюблю другую! *(Быстро уходитъ)*.

Елена Андреевна. Какой онъ молодець!

Орловскій. Да... «Пусть меня не любятъ—я полюблю другую». Какъ сіе понимать прикажете?

Соня. Увезите меня отсюда... Домой хочу...

Серебряковъ. Да, пора уже ѣхать. Сырость здѣсь невозможная. Гдѣ-то были мой пледъ и пальто...

Желтухинъ. Пледъ въ коляскѣ, а пальто здѣсь. *(Подаетъ пальто)*.

Соня *(въ сильномъ волненнн)*. Увезите меня отсюда... Увезите...

Желтухинъ. Я къ вашимъ услугамъ...

Соня. Нѣтъ, я съ крестненькимъ поѣду. Возьмите меня съ собой, крестненькій...

Орловскій. Поѣдемъ, душа моя, поѣдемъ. *(Помогаетъ ей одѣться)*.

Желтухинъ *(въ сторону)*. Чортъ знаетъ... Ничего кромѣ подлостей и униженія.

(Федоръ Ивановичъ и Юля укладываютъ въ корзину посуду и салфетки).

Серебряковъ. Лѣвая нога болитъ въ ступнѣ... Ревматизмъ, должно-быть... Опять придется всю ночь не спать.

Елена Андреевна *(застегивая мужу пальто)*. Милый Илья Ильичъ, принесите мнѣ изъ дому мою шляпу и тальму!

Дядинь. Сію минуту! *(Уходитъ въ домъ и возвращается съ шляпой и тальмой)*.

Орловскій. Зарева, душа моя, испугалась! Не бойся, оно стало меньше. Пожаръ потухаегъ...

Юля. Поль-банки кизиловаго варенья осталось... Ну, это пусть Илья Ильичъ скушаетъ. *(Брату)* Ленечка, бери корзину.

Елена Андреевна. Я готова. (*Мужу*) Ну, бери меня, статуя командора, и проваливайся со мной въ свои 26 унылыхъ комнатъ! Туда мнѣ и дорога!

Серебряковъ. Статуя командора... Я посмѣялся бы этому сравненію, но мнѣ мѣшаетъ боль въ ногѣ. (*Встѣмъ*) До свиданія, господа! Благодарю васъ за угощеніе и за приятное общество... Великолѣпный вечеръ, отличный чай—все прекрасно, но, простите, только одного я не могу признать у васъ — это вашей туземной философіи и взглядовъ на жизнь. Надо, господа, дѣло дѣлать. Такъ нельзя! Надо дѣло дѣлать... Да-съ... Прощайте. (*Уходитъ съ женой*).

Федоръ Ивановичъ. Пойдемъ, салопница! (*Отцу*) Прощай, отче! (*Уходитъ съ Юлей*).

Желтухинъ (*съ корзиной, идя за ними*). Тяжелая корзина, чортъ бы ее побрала... Терпѣть не могу этихъ пикниковъ. (*Уходитъ и кричитъ за сценой*) Алексѣй, подавай!

Х.

Орловскій, Соня и Дядинъ.

Орловскій (*Сонѣ*). Ну, что же съла? Пойдемъ, манюся... (*Идетъ съ Соней*).

Дядинъ (*съ стороны*). А со мной никто не простился... Это восхитительно! (*Тушитъ свѣчи*).

Орловскій (*Сонѣ*). Что же ты?

Соня. Не могу я итти, крестненькій... Силъ нѣтъ! Я въ отчаяніи, крестненькій... я въ отчаяніи! Мнѣ невыносимо тяжело!

Орловскій (*встревоженно*). Что такое? Душа моя, красавица...

Соня. Останемся... Побудемъ здѣсь немного.

Орловскій. То увезите, то останемся... Тебя не поймешь...

Соня. Здѣсь я потеряла сегодня свое счастье... Не могу... Ахъ, крестненькій, зачѣмъ я еще не умерла! (*Обнимаетъ его*). Ахъ, если бъ вы знали, если бъ вы знали!

Орловскій. Тебѣ водипы... Пойдемъ сядемъ... иди...

Дядинъ. Что такое? Софья Александровна, матушка... я не могу, я весь дрожу... (*Слезливо*) Не могу я видѣть этого... Дѣточка моя...

Соня. Илья Ильичъ, родной мой, свезите меня на пожаръ! Умоляю васъ!

Орловскій. Зачѣмъ тебѣ на пожаръ? Что ты тамъ будешь дѣлать?

Соня. Умоляю васъ, свезите, а то я сама пойду. Я въ отчаяніи... Крестненькій, мнѣ тяжело, невыносимо тяжело. Свезите меня на пожаръ.

(Быстро входитъ Хрущовъ).

ХІ.

Тѣ же и Хрущовъ.

Хрущовъ *(кричитъ)*. Илья Ильичъ!

Дядинъ. Здѣсь! Чтò тебѣ?

Хрущовъ. Я не могу итти пѣшкомъ, дай мнѣ лошадь.

Соня *(узнавъ Хрущова, радостно вскрикиваетъ)*. Михаилъ Львовичъ! *(Идетъ къ нему)*. Михаилъ Львовичъ! *(Орловскому)* Уйдите, крестненькій, мнѣ поговорить съ нимъ нужно. *(Хрущову)* Михаилъ Львовичъ, вы сказали, что полюбите другую... *(Орловскому)* Уйдите, крестненькій... *(Хрущову)* Я теперь другая... Я хочу одну только правду... Ничего, ничего, кромѣ правды! Я люблю, люблю васъ... люблю...

Орловскій. Вотъ такъ исторія съ географіей. *(Хохочетъ)*.

Дядинъ. Это восхитительно!

Соня *(Орловскому)*. Уйдите, крестненькій. *(Хрущову)* Да, да, одной только правды и больше ничего... Говорите же, говорите... Я все сказала...

Хрущовъ *(обнимая ее)*. Голубка моя!

Соня. Не уходите, крестненькій... Когда ты объяснялся мнѣ, я всякій разъ задыхалась отъ радости, но я была скована предразсудками; отвѣчать тебѣ правду мнѣ мѣшало то же самое, чтò теперь мѣшаетъ моему отцу улыбаться Еленѣ. Теперь я свободна...

Орловскій *(хохочетъ)*. Спѣлись-таки наконецъ! Выкарабкались на берегъ! Честь имѣю васъ поздравить. *(Низко кланяется)*. Ахъ, вы, безстыдники, безстыдники! Канителили, другъ дружку за фалды ловили!

Дядинъ *(обнимая Хрущова)*. Мишенька, голубчикъ, какъ ты меня обрадовалъ! Мишенька!

Орловскій *(обнимая и цѣлуя Соню)*. Дуся, канареечка моя... Дочка моя крестненькая... *(Соня хохочетъ)*. Ну, закатилась!

Хрущовъ. Позвольте, я никакъ не могу опомниться... Дайте мнѣ еще поговорить съ нею... Не мѣшайте... Умоляю васъ, уходите...

(Входятъ Федоръ Ивановичъ и Юля).

XII.

Тѣ же, Федоръ Ивановичъ и Юля.

Юля. Но вѣдь ты, Феденька, все врешь! Ты все врешь!
Орловскій. Тссс! Тише, ребятки! Мой разбойникъ идетъ.
Спрячемся, господа, поскорѣе! Пожалуйста.

(Орловскій, Дядинъ, Хрущовъ и Соня прячутся).

Федоръ Ивановичъ. Я забылъ тутъ свой кнутъ и перчатку.

Юля. Но вѣдь ты все врешь!

Федоръ Ивановичъ. Ну, вру... что жъ изъ этого? Не хочу я сейчасъ ѣхать къ тебѣ... Погуляемъ, тогда и поѣдемъ.

Юля. Забота мнѣ съ тобой! Чистое наказаніе! (*Всплескиваетъ руками*). Ну, не дуракъ ли этотъ Вафля! До сихъ поръ со стола не убралъ! Вѣдь самоваръ украсть могутъ... Ахъ, Вафля, Вафля, кажется, ужъ старый, а ума меньше, чѣмъ у дитя!

Дядинъ (*съ стороны*). Благодаримъ покорно.

Юля. Когда мы шли, тутъ кто-то смѣялся...

Федоръ Ивановичъ. Это бабы кушаются... (*Поднимаетъ перчатку*). Чья-то перчатка... Сонина... Сегодня Соню точно муха укусила. Въ Лѣшаго влюблена. Она въ него по уши вѣззалась, а онъ, болванъ, не видитъ.

Юля (*сердито*). Куда же это мы идемъ?

Федоръ Ивановичъ. На, плотину... Пойдемъ погуляемъ... Лучшаго мѣста во всемъ уѣздѣ нѣтъ... Красота!

Орловскій (*съ стороны*). Сыночекъ мой, красавецъ, борода широкая...

Юля. Я сейчасъ слышала чей-то голосъ.

Федоръ Ивановичъ. «Тутъ чудеса, тутъ лѣпшій бродитъ, русалка на вѣтвяхъ сидитъ...» Такъ-то, дядя! (*Хлопаетъ ее по плечу*).

Юля. Я не дядя.

Федоръ Ивановичъ. Будемъ разсуждать мирно. Слушай, Юлечка. Я прошелъ сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы... Мнѣ ужъ 35 лѣтъ, а у меня никакого званія, кромѣ какъ поручикъ сербской службы и унтеръ-офицеръ русскаго запаса. Болтаюсь между небомъ и землей... Нужно мнѣ образъ жизни перемѣнить, и знаешь... понимаешь, у меня теперь въ головѣ такая фантазія, что если я женюсь, то въ моей

жизни произойдет круговоротъ... Выходи за меня, а? Лучшей мнѣ не надо...

Юля (*смущенно*). Гм... Видишь ли... Сначала исправься, Феденька.

Федоръ Ивановичъ. Да ну, не цыганы! Говори прямо!

Юля. Мнѣ совѣстно... (*Оглядывается*). Постой, какъ бы кто не вошелъ, или не подслушалъ... Кажется, Вафля въ окно смотреть.

Федоръ Ивановичъ. Никого нѣтъ.

Юля (*бросается ему на шею*). Феденька!

(*Соня хохочетъ; Орловскій, Дядинъ и Хрущовъ хохочутъ, хлопаютъ въ ладоши и кричатъ: «Браво! браво!»*).

Федоръ Ивановичъ. Тьфу! Испугали! Откуда вы взялись?

Соня. Юлечка, поздравляю! И я тоже, и я тоже! (*Смѣхъ, поцѣлуи, шумъ*).

Дядинъ. Это восхитительно! Это восхитительно!

Занавѣсъ.



INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAI
BIBLIOTEKA
ul. Nowy Świat
Tel. 26-68-63

Оглавленіе

XXI ТОМА.

Невѣста	5
Кто виновать?	24
Новогодіе великомученики	28
Бесѣда пьянаго съ трезвымъ чортомъ	31
Мой разговоръ съ почтмейстеромъ	33
Грачь	36
Предложеніе. Разсказъ для дѣвиць	38
Нытье	40
О брениости. Масленичная тема для проповѣди	44
Встрѣча	45
Рано!	57
Казакъ	62
Удавъ и кроликъ	67
Критикъ	71
Обыватели	76
Одинъ изъ многихъ	82
Непріятная исторія	89
Докторъ	96
Передъ затменіемъ. Отрывокъ изъ фееріи	101
Добрый нѣмецъ	104
Злоумышленники. Разсказъ очевидцевъ	108
У знакомыхъ	112
Новогодняя пытка. Очеркъ новѣйшей инквизиціи	130
Весной. Сцена-монологъ	135
Разстройство компенсаціи. Неоконченный разсказъ	137
Наброски:	
I. У Зелениныхъ	145
II. Калѣка	147
III. Волкъ	148
По Сибири	156
Вишневый садъ. Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ	189
Лѣшій. Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ	236

F

24.113/
24